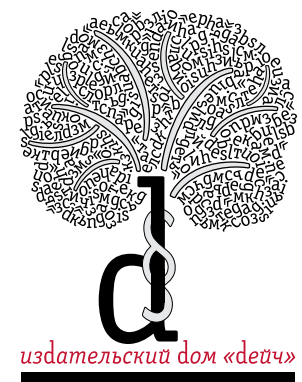




МИР
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ГЕРОЕВ



Коллекция
«Фантастика»



Об авторе

Кобо Абэ (1924—1993) — японский писатель, драматург, режиссер, фотограф, один из лидеров послевоенного японского авангарда в искусстве — признавался: «Не люблю людей. Я — один. И преимущество мое в том, что в отличие от многих я хорошо это понимаю».

Абэ считается элитарным автором и певцом одиночества и разобщения. Его темы — это отчуждение, безысходность и трагическое одиночество во враждебном человеку обществе, социальная критика. Настоящее имя Абэ — Кимифуса («Кобо» — так оно звучит по-китайски). Детство и юность он провел в Манчжурии, затем поступил на медицинский факультет Токийского университета, а в 1947 году, еще студентом, женился на художнице Мати Абэ — впоследствии жена оформляла книги мужа и декорации к его театральным постановкам. В том же году Абэ напечатал на мимеографе свой поэтический сборник «Анонимные стихи»: их строки были полны отчаяния, свойственного японской молодежи после поражения страны во Второй мировой войне. Ни дня не проработав врачом (он неудовлетворительно сдал выпускные экзамены), молодой Абэ избрал литературное поприще. Тем же 1947 годом датируется написание его первого сочинения крупной формы, получившего название «Глиняные стены».

В 1951 году в журнале «Современная литература» была опубликована повесть «Стена. Преступление S. Кармы», которая принесла Абэ известность и высшую литературную награду Японии — Премию Акутагавы. «Четвертый ледниковый период» (1958) соединил в себе черты научной фантастики, детектива и интеллектуального романа. А всемирная слава пришла к Кобо Абэ после выхода трех его культовых романов — «Женщина в песках» (1960), «Чужое лицо» (1964) и «Сожженная карта» (1967). Об Абэ заговорили как о вершителе судеб японской — да и мировой — литературы. Большое влияние на творчество Абэ оказало прекрасное знакомство с русской прозой. Он считал своими учителями Гоголя и Достоевского.

В 1973 году Абэ создал и возглавил собственный театр «Студия Абэ Кобо». Начался период его плодотворного драматургического творчества. В 1992 году писатель был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, и только скоростная смерть от остановки сердца лишила его этой награды.

Прелюдия

Толстые пласты ноздреватого ила на пятикилометровой глубине, неподвижные и мертвые, косматые, словно шкура допотопного зверя, вдруг вспучились, поднялись и сейчас же распались, обращаясь в кипящие темные тучи, гася бесчисленные звездочки планктона, роившиеся в прозрачном мраке.

Обнажилось изрезанное трещинами скальное основание подводной равнины. Из трещин, выбрасывая обильную пену, полезла вязкая, светящаяся бурым блеском масса и протянула на несколько километров скрюченные, как корни старой сосны, отростки. Продуктов извержения становилось все больше, исчезло темное сияние магмы, и уже только исполинский столб пара, бешено крутясь и разбухая, беззвучно и стремительно поднимался сквозь тучи взбаламученного ила. Но даже этот столб бесследно исчезал задолго до поверхности, растворяясь в невероятной водной толще.

Как раз в это время в двух милях к западу проходило курсом на Йокогаму грузопассажирское судно. Когда корпус его внезапно содрогнулся и заскрипел, это обстоятельство не вызвало ни у команды, ни у пассажиров никакой тревоги. Они ощутили лишь мимолетное недоумение. Вахтенный офицер на мостике не без удивления отметил стаю дельфинов, испуганно выпрыгнувших из воды, а также мгновенное, хотя

и незначительное, изменение цвета моря, но и эти явления не показались ему заслуживающими специального упоминания в судовом журнале. В небе расплавленной ртутью сверкало июньское солнце.

Между тем неуловимое колебание воды — зародыш гигантского цунами — уже катилось в океанских глубинах к материку волнами невероятной длины и со скоростью в двести семьдесят километров в час.

Часть первая

Программная карта

номер один

Электронно-счетная машина есть своего рода думающая машина. Она способна думать, но не может ставить проблемы. Чтобы машина думала, нужно ввести в нее так называемую программную карту — лист вопросов, написанных на машинном языке.

1

Когда я вошел, мой ассистент Ёрики, копавшийся в запоминающем устройстве, обернулся ко мне и спросил:

— Ну что там, в комиссии?

Видимо, лицо мое выражало полное отчаяние, потому что он, не дожидаясь ответа, шепотом выругался и отшвырнул инструменты.

— Веди себя прилично! — сказал я.

Он нехотя нагнулся и подобрал отвертку. Затем, подбрасывая ее на ладони, он осведомился, выпячивая челюсть:

— Так когда же все-таки можно приступить к работе?

— Почему я знаю!

Я был зол и не мог без раздражения видеть, как сердятся другие. Стащив с себя пиджак, я швырнул его на панель управления. В тот же момент мне почудилось, будто машина включилась. Заработала по своей воле, сама собой. Этого, конечно, быть не могло. Галлюцинация. Но в эту секунду в голове моей мелькнула какая-то необычайная мысль. Я попытался удержать ее — и не смог. Забыл. Вот мерзость, до чего же жарко...

— Они предложили какой-нибудь другой план?

— Они предложат, держи карман!

Ёрики помолчал, затем сказал тихо:

— Я спущусь вниз на минутку.

— Ступай. Делать все равно нечего.

Я сел на стул и закрыл глаза. Стук деревянных каблучков Ёрики удалялся. Любопытно, почему в Японии почти все молодые научные работники носят сандалии на деревянных каблучках? Вот странная манера. По мере удаления шаги становились быстрее... Вероятно, воспылал решимостью что-то предпринять.

Я открыл глаза и сразу, как нечто необыкновенно значительное, увидел на полке перед собой четыре папки с вырезками из газет и журналов. Статьи за эти три года, начиная с того дня, когда была пущена в ход знаменитая «МОСКВА-1». Все статьи о машинах-предсказателях. Это путь, пройденный мною. И там, на последней странице в последней папке, мой путь закончится.

2

А первой страницей в первой папке была статья одного научного обозревателя, того самого, который потом столь радикально изменил свои взгляды. В этом было что-то циничное.

Статья начиналась словами: «Ученые, откройте глаза!» Как если бы автор и был создателем предсказывающей машины.

«Машина времени Уэллса, — продолжал он, — оказывается наивной выдумкой лишь потому, что Уэллс рассматривал передвижение по времени в пространственном смысле. Человек наблюдает микроорганизмы исключительно при посредстве микроскопа. Но кто осмелится сказать, что он не наблюдает микроорганизмы, поскольку не видит их невооруженным глазом? Совершенно аналогично человечество получило возможность своими глазами заглянуть в будущее при посредстве машины-предсказателя „МОСКВА-1“. Машина времени наконец существует! Мы стоим перед новым поворотом в истории цивилизации!»

Да, пожалуй, сказать так было можно. Но до чего в этой статье все было преувеличено! Если бы спросили меня, я сказал бы, что никакого будущего автор статьи не видел. Видел он всего несколько кадров из кинохроники.

Вот что тогда демонстрировали: сначала часы, показывающие полдень, и огромная раскрытая ладонь. Рядом телевизор, на его экране то же самое изображение. Подается команда: ровно в час сжать руку в кулак. Инженер у панели управления поворачивает верньеры, часы на экране телевизора показывают час. С момента подачи команды проходит всего тридцать секунд, но на экране прошел час, и рука на экране твердо сжимается, в то время как ладонь возле телевизора остается раскрытой.

Затем демонстрировались такие эксперименты. Когда отдавался приказ напугать через час спящую птицу, птица на телеэкране испуганно вспархивала. Когда отдавался приказ через час разжать пальцы, сжимающие стакан, стакан на телеэкране падал на пол и разбивался вдребезги...

Не мудрено, что это поражало воображение. Я и сам вначале был порядком ошеломлен. Но дело не в этом. Прошло три года... другими словами, пошла четвертая папка вырезок, и тот же самый обозреватель запел по-иному.

«В истинном смысле предсказания в нашей Вселенной, по-видимому, не могут осуществляться. (Даже в фразеологии его ощущалась какая-то подлость.) Давайте предположим, что некоему человеку предсказали, что через час он свалится в яму. Но разве найдется такой идиот, который свалится, если его предупредили об этом? А если и найдется, то это будет, несомненно, весьма простодушный и в высшей степени подверженный внушению человек. И в этом случае мы будем иметь дело не с предсказанием, а с внушением. Так давайте же откажемся от этой блестящей лжи, именуемой машиной-предсказателем, давайте прямо и честно назовем ее машиной-гипнотизером, использующей человеческие слабости...»

Вот до чего мы договорились! Что же, называйте как вам благоугодно. Кто украл булавку, тот и топор украдет. Да он и не один такой. Все вдруг отвернулись от моего дела. Я стал опасным человеком.

3

Вторая вырезка в первой папке — статья с фотографией. На фотографии я еще улыбаюсь. Это мое интервью по поводу «МОСКВЫ-1».

«Нет, я не думаю, что это утка. Теоретически такая машина вполне возможна. И я не думаю, что она существенно отличается от обычных электронно-счетных машин», — говорит профессор Кацуми из Центрального научно-исследовательского института счетной техники. Профессор говорил спокойно и сдержанно, как полагается специалисту».

Это ложь. Я просто сгорал от зависти. Я отвечал весьма холодно, и один из корреспондентов, разозлившись, спросил:

— Вы хотите сказать, сэнсэй¹, что построить такую же штуку вам ничего не стоит?

— Ну что же, если бы было время и деньги... — Это я говорил уже чуть ли не от чистого сердца. — Вообще способностью предсказывать будущее обладают в принципе все электронно-счетные машины. Главная проблема не в самой машине, а в уровне технических навыков, необходимых для ее использования. Программировать, то есть формулировать вопросы на языке, понятном для машины, — вот что трудно. До сих пор это необходимо должен был делать человек. Но вот эта самая «МОСКВА-1» как раз, по-видимому, такая машина, которая способна сама себя программировать.

— А что можно делать на такой машине? Не поведаете ли вы нам что-нибудь этакое, из области мечты?

— Гм... Обычно эффективность предположений обратно пропорциональна величине минувшего промежутка времени и теряется ускоренно. Как вы сами могли убедиться, область предсказаний вопреки ожиданиям ограничена, не так ли? Если стакан уронить, он разобьется. Для того чтобы узнать это, нам не приходится прибегать к помощи предсказывающей машины, не правда ли? Это и школьнику известно. Ну что же, возможно, найдутся пути применения ее в качестве учебного пособия. Но мне представляется, что следует воздержаться от слишком радужных надежд.

А ведь в действительности я места себе тогда не находил от ревности. Если я буду сидеть сложа руки, то безнадежно отстану. Нет, не будет мне покоя, пока я не попробую построить такую машину сам, своими руками. И я бросился к директору института, побежал к знакомым. Ни один человек не проявил к моему предложению ничего, кроме любопытства. И уж

¹ Сэнсэй — почтительное обращение к ученому или учителю.

окончательно я был добит одним писателем, статью которого, в качестве выступления моего единомышленника, поместили рядом с интервью. (Нет ничего более утрашающего, нежели невежество.)

«Весьма возможно, что утратившие свободу коммунисты имеют только такое будущее, которое можно предсказывать машинами. Но нам, строящим свое будущее на основе свободной воли, эти машины ни к чему. Попробуйте отразить наше будущее в таком машинном зеркале, и вы увидите, что зеркало это станет прозрачным, как оконное стекло. Больше всего я опасаясь, что вера в возможность предсказаний подорвет нашу нравственность...»

Но в конце концов случай все же улыбнулся мне. Откроем вторую папку. «МОСКВА-1» принялась показывать, на что она способна. Я готов был жизнь отдать за такие возможности. Что мечты! Из нее, как из рога изобилия, одно за другим посыпались предсказания, пресные, сухие, страшно реальные. Для начала это были поразительно точные прогнозы погоды, затем прогнозы состояния производства и экономики...

Растерянность тех дней одним словом не выразишь. Внезапно Япония получила прогноз на урожай риса. К прогнозу отнеслись пренебрежительно: ладно, через полгода проверим. Но тут...

Расчеты всех банков страны за первые два квартала.

Количество неоплаченных векселей в будущем месяце.

Предполагаемая выручка одного из универсальных магазинов.

Индексы цен в розничной торговле города Нагоя в будущем месяце.

Степень заполненности пакгаузов порта Токио.

Эти прогнозы были получены один за другим; и было поразительно, как они начали сбываться с точностью, сводившей к нулю поправки на случайные отклонения и ошибки. Поражало и заявление в конце списка прогнозов.

«Кроме того, „МОСКВА-1“ способна предсказать для вашей страны индексы цен на акции, а также соотношение между производством и потреблением. Однако из опасения вызвать у вас экономические трудности мы воздержимся от этого. Мы всегда будем преследовать только одну цель: честное мирное соревнование».

Уныние было настолько сильным, что даже газеты ограничили лишь самыми необходимыми комментариями. Другие страны «свободного мира» тоже, видимо, получали соответствующие прогнозы и тоже помалкивали. Это плачевное молчание длилось довольно долго. Но правительства не просто молчали и сидели сложа руки. Под давлением финансовых кругов вынуждено было зашевелиться и наше правительство.

Первым делом, чтобы сохранить престиж, арестовали по подозрению в шпионаже нескольких коммунистов. Затем, наконец, при нашем Центральном научно-исследовательском институте счетной техники учредили лабораторию — как было объявлено, для того чтобы разработать свою оригинальную машину-предсказатель. Меня назначили начальником этой лаборатории, и это было естественно, поскольку я являюсь лучшим в Японии специалистом по программированию. Мое желание исполнилось, теперь я мог с головой погрузиться в исследования, связанные с машинными предсказаниями.

Вырезки из третьей папки...

В соответствии с заявлением «МОСКВА-1» хранит молчание. Ёрики несколько груб, но тем не менее способный помощник. Работа шла в хорошем ритме, так что осенью

второго года почти все было закончено, и мы могли показывать на телеэкране, как в будущем разобьется стакан. (Показывать явления, обусловленные законами природы, сравнительно легко.) Мы несколько раз демонстрировали простенькие опыты; и с каждым разом моя слава и слава машины росла, а вместе со славой росли и всевозможные надежды. Я знаю, однако, что есть люди, для которых машина опасна. Когда мы попробовали предсказывать результаты скачек, устроители переполошились и заставили нас прекратить работу. В те времена я только наивно порадовался грозной репутации своей машины, но теперь мне кажется, что этот инцидент был первым зловещим предупреждением о том, что в конце концов мы превратимся в отверженных. (Не знаю, на скольких столбах держится мир, но по крайней мере три из них — это, наверное, темнота, невежество и тупость.) Впрочем, тогда мы еще были на восходящей ветви кривой, и я был полон самых радужных надежд. Не знаю почему, но особенно популярен я был у детей; я частенько фигурировал в цветных комиксах, где из своей лаборатории в ЦНИИСТе отправлялся в сопровождении своих роботов (в действительности машина представляет собой ряды громадных металлических ящиков, расположенных буквой «Е» на площади около семидесяти квадратных метров, но в комиксах, видимо, позарез нужны именно роботы в грядущие века) и побивал всевозможных злодеев.

Но вот, наконец, машина была отлажена, и настало время вплотную заняться ее тренировкой и обучением. Человек, даже со своим мозгом, ни на что не пригоден без образования и опыта. Точно так и машина. Опыт необходим, это пища для мозга. Но машина не способна выходить на улицы и вращаться в свете; поэтому нам, людям, пришлось стать ее руками и ногами, всюду бегать и собирать для нее информацию. Нудная работа, пожирающая массу сил и денег.

(Информация была главным образом экономической, что не удивительно, принимая во внимание профиль нашего института, а также психологическое влияние предсказаний «МОСКВЫ-1».)

Способность машины усваивать информацию безгранична. Все, чем ее питают, она должным образом переваривает и где-то прячет. Когда какая-либо из ее «систем» насыщается, из пункта насыщения должен поступать сигнал. Отныне эта «система» способна сама разрабатывать для себя программу.

В один прекрасный день первый сигнал поступил. Это означало, что она усвоила все функциональные зависимости в явлениях природы, выражаемые кривыми. Я немедленно опробовал ее. Я дал ей задание показать на телеэкране прорастание горошины в воде за четыре дня. Она справилась прекрасно. Можно было видеть, как росток увеличивался и достиг семи сантиметров в длину. Далее ее развитие пойдет быстро. В память об этом дне я официально объявил ее название: «КЭЙГИ-1».

Однако пора закрыть третью папку и перейти к четвертой. Обстоятельства вдруг резко меняются.

4

Рождение машины-предсказателя мы решили отпраздновать с помпой. Какое задание дать ей первым? Мы разослали анкеты, провели собеседования. Заработала специальная комиссия, газетчики были наготове. И вдруг поступило сообщение, что пущена в ход «МОСКВА-2».

Эта новость содержала злой сюрприз. Мне передали ее рано утром по телефону из какой-то редакции.

— И эта самая «МОСКВА-2», говорят, уже сделала предсказание. Она объявила, что будущее непременно за комму-

нистическим обществом. Каково? Что вы об этом думаете, сэнсэй?..

Это показалось мне ужасно забавным, и я невольно расхохотался. Между тем ничего смешного в этом не было. Плакать следовало, а не смеяться, ведь не так часто приходится слышать известия, от которых получается несварение желудка.

В институте только об этом и говорили. Я чувствовал себя несчастным. Дело было не просто в том, что нашей машине не повезло. Меня вдобавок охватило предчувствие каких-то больших неприятностей.

Молодые сотрудники переговаривались:

— Машине не подобает сообщать такие банальности.

— Почему же? А если это правда?

— Может, это предсказание подстроено?

— Я тоже так думаю. Уже то смешно, что будущее должно быть с каким-то «измом».

— А ты не думай об этом как об «изме», вот и не будет смешно. Дело-то простое, переход от частной собственности на средства производства к совсем иной форме...

— И ты способен утверждать, будто эта иная форма возможна лишь при коммунизме?

— Дубина! Это же и есть коммунизм!

— Потому я и говорю, что это банально.

— Ничего ты не понял.

— Послушай, самое главное для человека — это жить свободно, не подвергаясь насилию.

— Да что ты говоришь? Какая оригинальная мысль!

Увы, никто не рассмеялся.

Потом они подошли ко мне. Они спросили, может ли и наша машина предсказать что-либо толковое из области таких проблем.

— Мы им еще нос утрем, — пошутил я.

На следующий день поступили сообщения из Америки.



«Предсказание и гадание различаются коренным образом. Предсказанием достойно называться лишь то, в основе чего заложено понятие о нравственности. И поистине только отрицанием человечности можно назвать попытку передать подобные вопросы на усмотрение машин. В нашей стране тоже давно уже существует машина-предсказатель, но мы, послушные голосу совести, избегаем пользоваться ею. Последние действия Советского Союза противоречат его заверениям о стремлении к мирному сосуществованию и представляют собой угрозу дружбе между народами и свободе человека. Мы рассматриваем предсказание „МОСКВЫ-2“ как насилие над духом, и мы рекомендуем как можно скорее отказаться от услуг подобных машин. В том случае, если этого сделано не будет, мы намерены апеллировать к ООН».

(Интервью государственного секретаря Строма.)

Такая жесткая позиция нашего союзника не могла не отразиться на нашей работе. То, чего я боялся, в конце концов случилось. В тот же день около трех часов я получил через директора института приглашение на экстренное заседание комиссии по программированию. При этом выяснилось, что комиссия реорганизована и заседать будет уже в новом составе. Так бесцеремонно распорядилось Статистическое управление. Специалистов, если не считать директора и меня, в комиссии не осталось, лица все были новые, и состав сильно сократился.

Заседание состоялось, как всегда, на втором этаже главного здания института. Прежде на заседаниях мы с удовольствием перебрасывались глупыми веселыми шутками — что, например, случится, если предсказать молодоженам день развода. Теперь же атмосфера была совершенно другой. Сначала поднялся чиновник Статистического управления, некий Томоясу, взявший на себя функции распорядителя.

— Данная комиссия, — сказал он, — сохраняет прежнее название, но характер ее будет отныне совершенно иной.

Настоятельно прошу иметь это в виду. Заинтересованные правительственные круги пришли к единогласному мнению, что этап предварительных исследований закончен и право составления программ следует вновь, на этот раз со всей ответственностью, возложить на данную комиссию. Это означает, что без специального разрешения данной комиссии включать машину-предсказатель отныне запрещается. Самостоятельность поощряется и уважается на этапе исследовательском, но коль скоро мы вступили в этап практического применения, необходимо точно определить, кто несет всю ответственность. Вот в таком плане. Да, прошу принять во внимание еще следующее. Отныне и впредь наши заседания будут проводиться в закрытом порядке.

Затем встает какой-то долговязый тип. Я вижу его впервые. Он назвал себя и перечислил свои степени и звания, но я не расслышал. Кажется, он что-то вроде секретаря министра. Нервно ломая свои длинные пальцы, он говорит:

— Если взглянуть на последнее выступление «МОСКВЫ-2», то нетрудно усмотреть в нем, как это и отмечалось в американском заявлении, некий политический замысел... Ну вот, например, можно рассудить таким образом... Вначале они разожгли наше любопытство своей «МОСКВОЙ-1» в расчете на то, что мы из чувства соревнования вынуждены будем строить свою собственную машину-предсказатель. Так оно и случилось... (Интересно, какого черта он пялит на меня глаза?) И когда мы вступили в этап практического применения, вот тут-то они нас и ловят. Ловят хитроумно, политически... Раз они делают политические предсказания, то получается, будто и нам стыдно не делать таких предсказаний, это произвело бы дурное впечатление. В результате мы можем поздравить себя с тем, что своими руками весьма ловко завели у себя шпиона. Я имею в виду машину-предсказатель. Мне хотелось бы, чтобы все хорошенько подумали об этом. Чтобы

нам не зазеваться и не попасть в ловушку. Хочется, чтобы вы как следует осознали это...

Я потребовал слова. Директор с беспокойством поглядел на меня.

— А как с проектом программы, — сказал я, — который выработан прежним составом комиссии? Можно надеяться, что мы утвердим его?

— Это какой? — Долговязый заглядывает в бумаги Томоясу.

— Их было три... — Томоясу растерянно листает бумаги.

— При чем здесь три? Я говорю о первом, который разработан и принят. Проблема цен и стоимости труда в соответствии с темпами механизации. Остается только выбрать для контроля предприятие и...

— Погодите, погодите, сэнсэй, — прерывает меня Томоясу. — Право принимать решения комиссия получила только с нынешнего заседания. То, что было раньше, соответственно утратило силу...

— Но у нас уже все подготовлено!

— Нет, это не пойдет, — говорит долговязый. — Этот проект мне не представляется удачным. Слишком велик риск. Есть возможность связать этот вопрос с политической проблематикой, вы понимаете...

Он засмеялся, сжимая губы, и вслед за ним дружным смехом разразились остальные члены комиссии. Не понимаю, что тут смешного. Настроение у меня окончательно испортилось.

— Ну вот видите, вы не понимаете. Да ведь это же все равно что признать победу «МОСКВЫ-2»!

— Вот именно! Этого они только и добиваются. С ними надо держать ухо востро...

Все снова расхохотались. Ну и комиссия! Собище идиотов каких-то. Впрочем, мне больше не хотелось протестовать.

Терпеть не могу политики. Но если провалился первый проект, надо взамен его немедленно выдвинуть новый.

— Тогда остановимся на втором проекте? Занятость населения через пять лет в случае, если состояние денежного обращения не изменится...

— Это тоже не пойдет, — сказал долговязый и поглядел на остальных членов, как бы заручаясь их поддержкой.

— Ну, знаете, вопросов, не связанных с политикой вообще, наверное, нет.

— Вы так думаете?

— А вы?

— Вот нам и хотелось бы, сэнсэй, чтобы вы об этом подумали... Мы ведь понятия не имеем, что можно, а чего нельзя с машиной-предсказателем...

— Ну хорошо, а третий проект? Прогноз результатов очередных парламентских выборов...

— С ума можно сойти!.. Из всех ваших проектов это самый невозможный!

— Простите, — сказал член комиссии, все это время хранивший молчание. — До меня никак не доходит одно обстоятельство... Человек, само собой, поступает по-разному в зависимости от того, знает он предсказание или не знает. Так вот, разве исполнится предсказание, если о нем всех оповестить?

— Я уже двадцать раз объяснял все это прежнему составу комиссии, — сказал я.

Видимо, я говорил не очень приветливо, и роль лектора поспешно берет на себя Томоясу.

— В этом случае делается новое предсказание, учитывающее, что люди действуют, зная первое. То есть делается предсказание номер два... В случае если и оно опубликовано, делается предсказание номер три... и так сколько угодно, до бесконечности... Последним будет так называемое предсказание максимальной оценки. Считается, что действительности

будет соответствовать оценка среднего арифметического от последнего и первого предсказаний.

Болван слушает и кивает, обернувшись ко мне, всячески демонстрируя свое восхищение.

— Надо же, ну кто бы мог подумать!..

Директор института не выдержал.

— Послушай, Кацуми-кун, — прошептал он мне. — Может быть, взять какие-нибудь природные явления?

— Прогнозами погоды пусть занимаются метеорологи. Это же очень просто, пусть подсоединят свои счетные машины к нашей машине, только и всего.

— Вот я и говорю, может быть, взять что-нибудь посложнее.

Я молчал. Нет, на такое унижение я не мог пойти ни в коем случае. Как бы я потом объяснил это Ёрики и другим сотрудникам? Разве мог я сказать им, что вся информация, которую мы собирали в течение полугода, пошла коту под хвост? Вопрос не в том, хорошо или плохо заниматься предсказаниями явлений природы. Вопрос в том: куда будут направлены возможности машины-предсказателя, нашего детища?

Заседание закрыли с тем, чтобы я, учтя все предупреждения и пожелания, подготовил к следующему заседанию новый проект. После этого комиссия стала собираться через каждую неделю; причем с каждым заседанием число присутствующих все уменьшалось, пока на четвертое заседание не явились всего трое — Томоясу, я и тот долговязый тип. И это вполне естественно. Только кретин не впал бы в уныние на наших тоскливых сборищах, похожих на допросы с намеками и недомолвками.

У Ёрики такое поведение членов комиссии с самого начала вызвало открытый протест. Он считает, что все это отговорки, а на самом деле они просто боятся политических прогнозов.

Впрочем, даже выражая недовольство, он остается прекрасным работником. (При случае обязательно покажу ему, как высоко его ценю.) Мы все бились над проектом программы, который понравился бы комиссии. Перед заседаниями иногда приходилось работать по ночам.

Но чем больше мы работали, тем яснее осознавали, что вещей и явлений, не имеющих отношения к политике, не так уж много. Пожалуй, вообще нет. Положим, мы собираемся сделать предсказание относительно площади обрабатываемой земли. Но сюда немедленно впутывается проблема классового расслоения деревни. Берем сеть автомагистралей по всей стране через несколько лет и немедленно задеваем проблемы, связанные с государственным бюджетом. Не стоит вспоминать все примеры один за другим, но все двенадцать проектов, предложенных мною на рассмотрение, были отвергнуты.

В конце концов я выбился из сил. Политика — это вроде паутины: чем больше стараешься от нее избавиться, тем сильнее она опутывает. Я не собираюсь вторить Ёрики, но не пора ли, в самом деле, разок показать зубы?

Сегодня я демонстративно отправился на заседание с пустыми руками. Хватит с меня проектов. При этом, конечно, не преминул напомнить Ёрики:

— Имей в виду, на политику мне в высшей степени наплевать. Не в пример тебе.

И вот, как вы уже видели, вернулся с этого заседания совершенно разбитый.

5

Зазвонил телефон. Говорил член комиссии Томоясу.

— Сэнсэй?.. Простите, я тогда немного... В общем я сейчас посоветовался с начальником управления... (Врешь, ведь еще

и тридцати минут не прошло!) Как бы вам это... Одним словом, если вы завтра до полудня не представите какой-нибудь новый план, то, боюсь, все будет кончено...

— Как кончено?

— Завтра нам предстоит доклад на внеочередном заседании кабинета.

— Вот и передайте им, что я вам говорил...

— Видите ли, сэнсэй, не знаю, известно ли вам это, но есть мнение совсем закрыть работу с машиной...

Так вот до чего мы, оказывается, докатились!.. Что же, покориться и раз в неделю высасывать из пальца ни на что не годные планы? Да нет, теперь, наверное, и это уже не поможет. Или стереть «память» машины, вернуть ее в первоначальное девственно-идиотское состояние и уступить место кому-нибудь другому?..

Я снова взглянул на папки с вырезками, поднялся и оглядел машинный зал. Папки просят заполнить в них пустые места, а машина томится от избытка сил. «МОСКВА-2» больше не озорничает, не задевает предсказаниями другие страны, но у себя в стране, говорят, дает потрясающие результаты. Не понимаю... Неужели машина-предсказатель может быть полезна только коммунистам? Или это я уже барахтаюсь в сетях «психологической войны»?..

Жарко... Страшно жарко. Я больше не мог сидеть на месте и отправился на первый этаж, в отдел информации. Едва я вошел, разом смолкли спорящие голоса. Лицо Ёрики от замешательства пошло красными пятнами. Конечно, как всегда, обличал меня.

— Ничего, продолжайте... — сказал я и опустился на свободный стул. Затем добавил резко, не так, как собирался произнести это: — Работу закрывают... Только что звонили.

— Что такое, в чем дело? — воскликнул Ёрики. — Что сегодня было на заседании?

— Ничего особенного. Как всегда, болтали, только и всего.

— Не понимаю... Вы признали, что не уверены насчет политических прогнозов?

— Ерунда. Уверенности у меня хоть отбавляй.

— Тогда что же? Боятся положиться на машину?

— Именно так я им и сказал. Теперь эти приятели заявили, что не могут полагаться на то, что еще не опробовано.

— Так давайте опробуем!

— Это не так просто, как кажется... — холодно говорю я. — Но ты, по-видимому, действительно полагаешь, будто политику можно предсказать. Насквозь коммунистический образ мыслей.

Даже Ёрики в изумлении прикусывает язык. Почему он молчит? Это не мои мысли, я хочу, чтобы он возражал, протестовал, ожесточился! Но он молчал, и я окончательно вышел из себя.

— Вообще я не знаю... Предсказывать будущее, наверное, с самого начала было напрасной затеей... Например, человек все равно знает, что умрет, так какой смысл в предсказаниях?

— Смерти хочется избежать, если это не смерть от старости, — сказала Кацуко Вада.

Эта девица иногда кажется воплощенной посредственностью. А временами она необычайно очаровательна. Ее внешность портит черное родимое пятно на верхней губе.

— А если узнаешь, что избежать не удастся, тогда как? Будешь счастлива?.. Как ты полагаешь, стала бы ты из кожи вон лезть, чтобы построить машину, если бы заранее знала, что работать тебе все равно не дадут?

— Они действительно хотят сделать это, сэнсэй?

Неизменный тон Ёрики.

— Давайте плюнем на них, пустим машину на полную мощность, а потом сунем им под нос готовые результаты.

Это Соба, его подпевала, в своей обычной роли.

— Результаты будут, по-видимому, те же, что в Советском Союзе.

— Неужели? — сказала Вада.

— А что такого, — сказал Соба. — Пусть.

— Даже вот как? Гм... Впрочем, среди вас вряд ли есть коммунисты.

— Что вы этим хотите сказать, сэнсэй?

Мне вдруг надоел этот разговор.

— ...как говорят наши приятели в комиссии. Мне-то это совершенно безразлично.

Все с облегчением смеются.

— Я так и знал!

— Ой, сэнсэй, как вы нас разыграли!

— А о том, что нас закрыть собираются, это тоже шутка?

Я встал, туманно усмехаясь. Мне было стыдно за себя. Ёрики чиркнул и протянул мне спичку, и я вспомнил, что держу сигарету. Я проговорил тихо, чтобы слышал только Ёрики:

— Потом поднимись на второй этаж...

Он встревоженно заглянул мне в глаза. Кажется, он сразу понял, что я задумал...

6

— Ты понимаешь? Меня вдруг осенило, когда я разговаривал с вами внизу...

Как зловеще гудит вентилятор!

— Я так и подумал. Мне почему-то тоже как раз это пришло в голову.

— Тогда за дело. Только имей в виду, работать придется всю ночь. Я хочу, чтобы об этом пока никто не знал.

— Разумеется.

Мы сняли с полки наши папки, распотрошили их и принялись приводить вырезки в удобопонятный для машины порядок. Нам предстояло ввести содержание вырезок в «память» машины.

— Эта идея уже брезжила в моей голове, но я никак не мог ухватить ее. То мне чудилось, будто машина включается сама собой. А то сегодня я минут десять глядел на эти папки, и в воображении возникали всякие фантазии. Словно в мозгу что-то дразнится, мелькает, вот-вот, кажется, поймаю... и все пропадает.

— В подсознании?

— Вероятно. Но ничего. Вот машина осознает свое положение, тогда не нужно будет больше ломать голову, как раньше. Машина сразу научит, что нужно делать, сразу подскажет, к чему ты стремишься, и не нужно будет больше блуждать в подсознании.

— Только хватит ли ей информации для такого уровня в этих вырезках?

— Да, вероятно, понадобится много дополнительных разъяснений. Мы дадим их на пленке.

Вада принесла нам на ночь бутерброды и пиво.

— Больше вам ничего не понадобится?

— Ничего, спасибо.

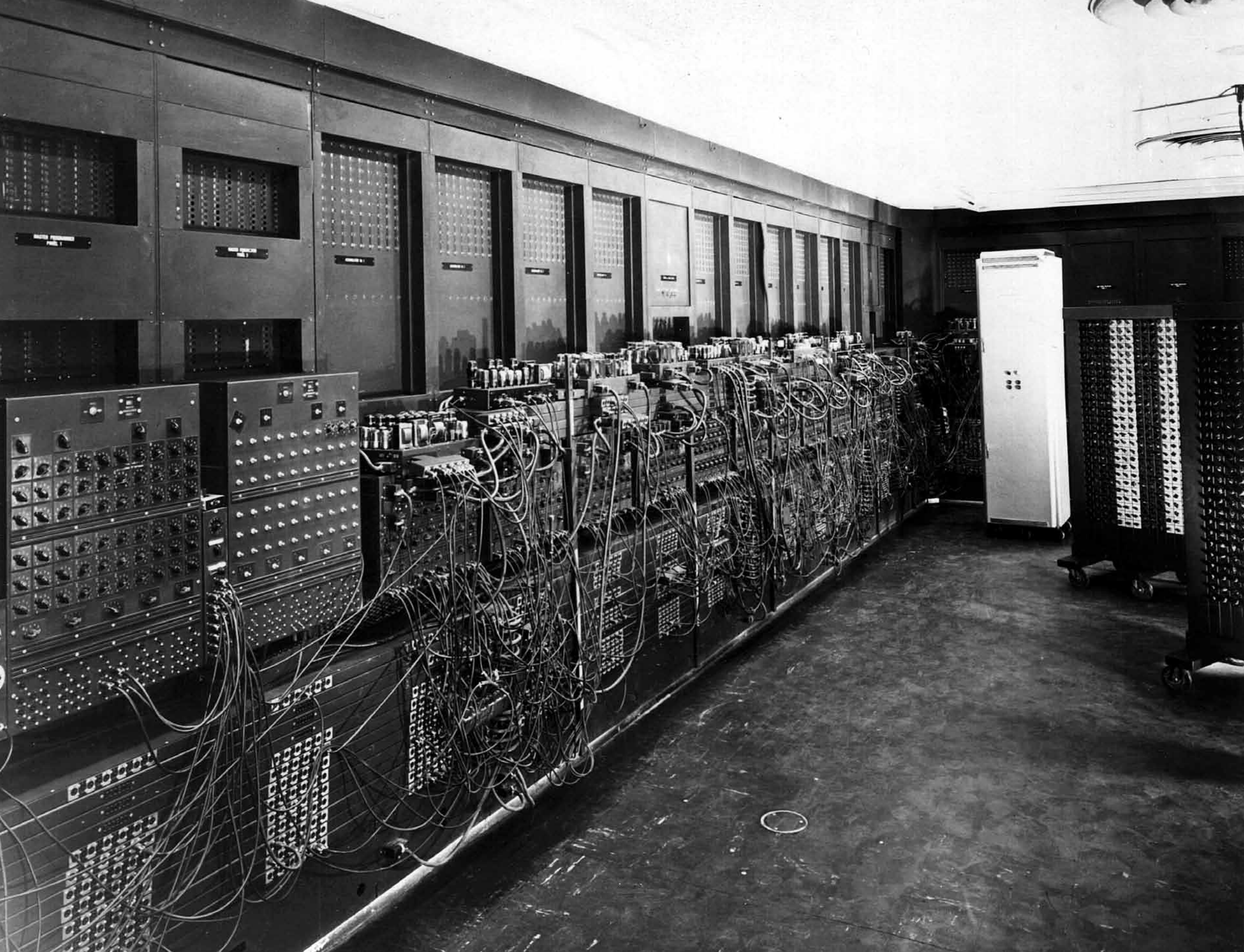
Она ушла. Когда работаешь, время летит быстро. Девять часов вечера. Десять часов. Иногда я брал из холодильника лед и прикладывал к глазам.

— Предсказание «МОСКВЫ-2» тоже вводить в «память»?

— Ну а как же, непременно вводи. Это же важнейший момент, переход от третьей папки к четвертой.

— В какую секцию вводить?

— Всю информацию от них вводи вместе, может быть, мы тогда получим какое-нибудь усредненное значение.



Результат усреднения оказался весьма многозначительным. Первый общий пункт гласил, что машина предсказатель в Советском Союзе работает чрезвычайно активно — это мы, положим, знали и раньше, — и удивило нас другое: предсказание «МОСКВЫ-2» о том, что будущее за коммунистическим обществом, подтверждалось в этом пункте с особой настойчивостью.

— Странно... Как она представляет себе коммунистическое общество?

— Видимо, какие-то общие представления у нее имеются.

— Вот что. Попробуй поискать, нет ли другой секции с реакцией на предсказание «МОСКВЫ-2».

Такая секция нашлась, и она содержала уже фундаментальное представление о коммунизме. Машина понимала коммунистическое общество следующим образом:

«ПОЛИТИКА: ПРЕДСКАЗАНИЕ: БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

Другими словами, последнее политическое предсказание возможно после обнародования бесконечного числа всех мыслимых и немыслимых политических предсказаний, то есть политическое предсказание максимальной оценки есть коммунизм.

— Замечательно! Значит, если мы будем пользоваться предсказывающими машинами, то коммунизм наступит, не смотря ни на что?

Это был успех, неожиданный и великолепный. Мы с новым жаром принялись за работу. Когда мы ввели в «память» машины содержание последних вырезок, было уже начало четвертого. Мы подкрепились бутербродами.

— Итак... какую точку зрения задать ей для составления программы?

— Точку зрения... Нет, до этого она еще не доросла. Давай лучше начнем опрос, какая ей нужна дополнительная

информация, чтобы она могла ориентироваться в современных условиях.

Это нудная работа, требующая уйму времени. Своего рода испытание методом проб и ошибок, которое нужно вести без усталости, почти интуитивно, на ощупь. Между тем тусклые окна принимают голубой оттенок. Час, когда сильнее всего ощущается усталость. Если сидеть сложа руки, то очень хочется спать, поэтому я сменил Ёрики. Когда через минуту я оглянулся, он уже спал.

Ага, машина отзывается. Какой-то неясный ответ. Сначала я не мог понять, в чем его смысл. Я попробовал отключить взаимодействующие секции. Тогда из одного вывода вышли слова «сам, лично», а из другого — слово «человек». «Сам, лично» — это, по-видимому, сама предсказывающая машина. Предсказывающая машина и человек?.. Что она хочет этим сказать? Стоп. Может быть, эта неопределенность обусловлена не скудостью информации, а взаимоотрицанием противоречащих друг другу данных? Или... Нет, не понимаю. Что же она хочет сказать?

Вдруг я спохватился. Да ведь сама неопределенность ответа и есть ответ на мой вопрос. На вопрос, который я задал. Какой же вопрос я задал? Я даже не обратил на это внимание. Да, тема программирования! И что я хотел выяснить? Все ясно. Существует ли возможность сломить сопротивление комиссии... и если существует, то какой план будет лучше всего для этой цели? Вот такая проблема.

Может быть, на этот вопрос она и отвечает. Что-то очень уж простой ответ. Предсказание судьбы человека. Человека индивидуального, вне социальной информации, потому что для него эта информация построена из взаимоотрицающих элементов... Предсказание индивидуального будущего!

Что же, почему бы и нет? Кажется, я недооценивал машину. Ее возможности обширнее, чем я ожидал. Впрочем,

удивляться нечему. Дети приводят в изумление родителей, ученик обводит вокруг пальца наставника...

Я поспешно бужу Ёрики. Сначала он сомневается, но потом наконец соглашается со мной.

— Действительно, это логично. Ведь политический прогноз и предсказание судьбы индивидуума в каком-то смысле противостоят друг другу. Как бы ни было, попробовать стоит.

— Кто будет контрольным образцом?

— Спросим машину...

Но машина, казалось, не собиралась указывать нам еще и контрольный образец. Ей было все равно.

— Придется искать самим.

— Если мы хотим начать с предсказания номер один, необходимо, чтобы объект не знал об эксперименте.

— Дело не из приятных.

— Да...

Меня наполняло радостное возбуждение. Действительно, насколько судьба живого человека интереснее цифр и графиков! Нам тогда и в голову не приходило... Мы совсем не думали о человеке, о нашем ближнем, которого выберем для бесцеремонного исследования. Ничего не поделаешь: видимо, так это и должно было быть.

Я прилег, не раздеваясь, на диван и проспал около пяти часов.

Около полудня я позвонил Томоясу.

В три часа пришел ответ.

— Полный успех. Правда, окончательное решение будет вынесено на следующем заседании комиссии, так что придется подождать, но к этому вашему плану даже начальник управления отнесся весьма благосклонно. Большое вам спасибо...

Мы верили в машину. Мы вообще верили в успех и не очень беспокоились. И все же я вздохнул с облегчением, когда не услышал в голосе Томоясу обычной напряженности.

В четыре мы отправились на поиски этого мужчины. Ну разумеется, мы не сразу решили, что нам нужен именно мужчина. Дважды бросали бумажку, на которой с одной стороны было написано «мужчина», а с другой — «женщина», и оба раза выпало «мужчина». Так получилось, что мы стали искать мужчину.

— Сколько, оказывается, мужчин на свете!.. Кого же выбирать?

— Мы как лисы в стаде овец.

— Глаза разбегаются. До чего жаль, что нам не женщина нужна...

— Ничего, и до женщин еще доберемся.

Вначале мы просто беспечно прогуливались. На метро и на электричке добрались до Синдзюку. Постепенно это стало надоедать.

— Нет, так не годится. Определим, какой именно человек нам нужен...

— Какой именно? Может быть, такой, который долго проживет?

— Такой, которого не раскусишь с первого взгляда.

— Значит, он должен быть очень обыкновенный, ничем не примечательный на вид.

Но людей обыкновенных, ничем не примечательных на вид, слишком много. Рисковать не хотелось. Около семи часов мы окончательно вымотались, зашли в маленькое кафе и сели за столик у окна.

И там мы увидели этого мужчину.

Он совершенно неподвижно сидел за соседним столиком над блюдцем с мороженым, упершись взглядом в стеклянную дверь, на которой золотыми знаками было написано название заведения. Мороженое таяло и переполняло блюдце. Видимо, он заказал мороженое и сразу забыл о нем.

Я оглянулся и обнаружил, что Ёрики тоже заметил этого человека. Не знаю, сколько времени требуется порции мороженого, чтобы растаять, но зрелище это произвело на нас изрядное впечатление. На вид это был очень обыкновенный человек, но чувствовалось в нем что-то такое... Может быть, мы слишком вольно толковали внешние признаки, но нам показалось, будто эта маленькая подробность, это блюдце с нетронутым растаявшим мороженым является безошибочной приметой нужного для опыта человека.

Ёрики толкнул меня под локоть и показал взглядом. Я кивнул в ответ. Подошел официант за заказом. Ёрики спросил какой-то сок, но, когда я заказал кофе, он отменил сок и тоже заказал кофе. В ожидании кофе мы не обменялись ни словом. Наши языки сковывала усталость и еще больше тяжесть решения, которое нам предстояло принять. Но ведь нам было все равно, кого выбрать. Пусть это будет человек самый обыкновенный, самый средний, только с какой-нибудь маленькой характерной особенностью. Но разве узнаешь без расследования, есть ли у человека характерная черточка? К тому же мы утомились. Ходить и колебаться, не зная, на что решиться, можно до бесконечности. И было очевидно, что, если хотя бы один из нас выразит согласие, объектом нашего эксперимента неминуемо станет этот самый мужчина с блюдцем растаявшего мороженого.

Несмотря на жару, он был в фланелевом костюме, отлично сшитом, хотя и несколько поношенном. Человек сидел выпрямившись, совершенно неподвижно. Бросалось в глаза только, что время от времени он менял положение ног. И еще он нервно вертел в руке, лежащей на столе, незажженную сигарету.

Вдруг загремела грубая музыка. Это какая-то девочка опустила в музыкальный автомат десятииеновую монету. Девочке было лет восемнадцать-двадцать, она была в черной юбке до



колен и красных сандалиях. Музыкальный автомат находился позади нас. Мужчина испуганно обернулся на шум, и мы в первый раз увидели его лицо. Какое-то строгое и вместе с тем нервное, с запавшими глазами, оно плотно прилегало, словно привинченное, к черному галстуку бабочкой. Этому человеку, видимо, за пятьдесят, но есть в нем что-то детское — возможно, из-за крашенных волос.

Музыка была для меня слишком вульгарной. Слух Ёрики она, однако, не оскорбляла, он даже принялся отстукивать ритм кончиками пальцев. У него даже выражение лица смягчилось. Отхлебнув кофе, он придвинулся ко мне и сказал:

— Вот человек, который нам нужен. Как вам кажется, сэнсэй? В нем что-то есть, а?..

И вот тут я вдруг усомнился. Я только молча пожал плечами в ответ. Нет, это не был глупый каприз. Просто я ощутил внезапно прилив какого-то неопределенного отвращения. Одно дело — мысленно планировать предсказание судьбы какого-то абстрактного, неведомого лица; эксперимент при этом представляется великолепным и значительным. И совсем другое дело — увидеть этого человека, этого будущего подопытного кролика собственными глазами. Да полно, есть ли смысл в нашей затее?! Вчера ночью я был страшно утомлен. Что, если предложение машины мы истолковали неправильно? Что, если я утвердился в своем истолковании потому только, что рядом был Ёрики, который сразу со мной согласился? А вдруг я истолковывал не предложение машины, а собственные свои переживания, от которых не знал, куда деваться? Переживания, вызванные нажимом комиссии. Истолковывал так, как мне было удобно.

Ёрики озадаченно прищурился.

— Что случилось, сэнсэй? — прошептал он. — Это же заказ машины... Ведь этим планом мы добились согласия Томоясу.

— Неофициального согласия. Что еще скажет комиссия...

— Глупости! — Он вытянул губы. — Было ясно сказано, что начальник управления одобрил. Что вам еще надо?

— Как ты не понимаешь? Да до следующего заседания он может двадцать раз изменить это свое мнение. Что с того, что наш план не связан с политикой? Они не станут тратить на бесполезные для себя вещи. Не забывай, что проблема комиссии есть прежде всего проблема бюджета. Это не детская болтовня о том, что кому нравится и что кому не нравится.

— Тогда почему машина дала такой заказ?

— Боюсь, что мы были утомлены и неправильно его истолковали.

— А я вот так не думаю! — Разгорячившись, Ёрики взмахнул рукой и опрокинул стакан с водой. Вытирая платком брюки, он продолжал: — Простите... но я верю в машину. Вспомним, с чего все началось. Сначала под влиянием «МО-СКВЫ-2» мы все — и комиссия, и сотрудники — тщились выработать программу предсказания, основанную исключительно на информации об общественных явлениях. Правильно? Так вот, если брать за основу картину человечества только в его внешних, самых общих проявлениях, то не исключено, что наша машина права и предсказание максимальной оценки действительно дает коммунизм. Я хочу сказать, что иначе и быть не должно, если предсказывающую машину используют так узкопрактически. В этом смысле утверждение машины, будто коммунизм есть предсказание максимальной оценки, было очень интересным... Но для человека важнее всего не общество, а сам человек. Если человеку скверно, то что толку в самом идеальном обществе?

— И следовательно?

— Мне кажется, что предложение машины попытаться предсказывать будущее индивидуумов бьет прямо в цель. А вдруг мы получим иной вывод, нежели предсказание «МО-СКВЫ-2»?

— Ничего подобного машина не говорила.

— Ну разумеется, нет. Я и сам не очень-то верю в такую возможность. Я просто хочу сказать, что мы имеем шанс получить согласие комиссии, если умненько на эту возможность намекнем. К тому же откроются и совершенно конкретные перспективы. Если наш эксперимент окажется успешным и мы выработаем какие-то общие приемы для предсказания индивидуального будущего, то можно будет, например, на основе обзора прошлой и будущей жизни преступника выносить идеальные приговоры... или даже вообще предотвращать преступления. Можно будет давать брачные советы, определять профессиональные способности, ставить диагнозы... а в случае необходимости предсказывать и сроки смерти...

— Это еще для чего?

— А как же? Представляете, как возликуют страховые компании? — Ёрики победоносно рассмеялся. Он словно подкалывал меня. — Вы только возьмите на себя труд хорошенько подумать, и вам откроются такие пути применения... Я, во всяком случае, считаю этот наш план чрезвычайно перспективным.

— Да, пожалуй, ты прав... Да и я в общем не сомневался в суждении машины.

— Тогда в чем же дело?

— Да так, ни в чем... Ничего особенного... Послушай, однако, вот если бы объектом эксперимента выбрали тебя, как бы ты себя чувствовал?

— Я не гожусь. Я ведь знаю о машине, и эксперимент получился бы не чистым.

— Предположим, что ты не знаешь о машине.

— Тогда мне было бы все равно. Я был бы совершенно равнодушен.

— Ой ли?..

— Конечно, равнодушен... Слушайте, сэнсэй, вы просто переутомились.

Да, возможно, я переутомился. Неужели машина бросит меня? Неужели Ёрики обгонит меня? Нет, этому не бывать!..

8

Минут через двадцать после того, как мы допили свой кофе, человек наконец поднялся. Видимо, тот, кого он ждал, так и не появился. Мы тоже вышли из кафе.

На улице спускались сумерки. Казалось, будто суетливый людской муравейник тщится оттеснить надвигающуюся ночь, возведя на ее пути вал из пылинок искусственного света.

У человека такой вид, будто ничего особенного не произошло. Выйдя из кафе, он четким шагом направляется по узкому переулку к трамвайной линии. Судя по походке, он здесь не впервые. По обе стороны переулку тянутся ряды дешевых кабачков, мужчины и женщины в странных и нелепых одеждах надрываются от крика, зазывая гостей в свои заведения. Деловая поступь мужчины производит здесь впечатление, тем более что и внешность его не соответствует духу этих кварталов.

Дойдя до трамвайной линии, он внезапно повернулся к нам лицом. Я растерялся и остановился как вкопанный, но Ёрики подтолкнул меня и шепнул:

— Нельзя! Он же сразу заметит вас!

Тут на нас с воплями набросились женщины-завывалы. Спасаясь от них, мы пошли прямо на мужчину, по-прежнему стоявшего лицом к нам. Но он не заметил нас, словно глубоко о чем-то задумался. Мельком взглянув на часы, он двинулся обратно, нам навстречу. Завывалы словно только того и ждали: они завопили так пронзительно, что у меня одеревенели щеки.

Мужчина вернулся в кафе, но тот, кого он ждал, видимо, не пришел. Тогда он вновь зашагал по переулку к трамвайной линии. На этот раз зазывалы к нам не обращались. Кто-то даже плюнул мне вслед. Наверное, они поняли наши намерения и решили, что мы сыщики. Никто не любит сыщиков. Я сказал:

— Этот человек тоже окажется в тюрьме... Правда, он не будет знать об этом.

— Если уж так говорить, то каждый человек заперт в тюрьме.

— Как это?

— А разве нет?..

Выйдя к трамвайной линии, мужчина повернул на юг. Мы миновали дощатый забор, за которым возводилось какое-то здание. Света там не было. Через два квартала мужчина перешел на другую сторону и повернул обратно. Пройдя мимо уже знакомого нам переулка, он вышел на улицу, ярко освещенную гирляндами фонарей, и свернул направо. Там в тупике сгрудились крошечные кинотеатрики. Дойдя до них, человек снова повернул назад.

— Он просто бесцельно кружит по городу.

— Наверное, разволновался. Тот, кого он ждал, не пришел.

— Тогда почему у него такая походка? Интересно, кто он по профессии?

— Гм... — Как раз в ту минуту я тоже размышлял об этом. Ясно, что он привык быть на виду у людей. Долгое время служит в одном и том же учреждении, и служба у него такая, где приходится непрерывно следить за своей внешностью. — Знаешь, мне как-то... Ты полагаешь, что у нас есть право заниматься такими делами?

— Право?..

Мне показалось, будто Ёрики засмеялся. Я взглянул на него, но он был, по-видимому, совершенно серьезен.

— Да, право... Врачу, например, не разрешается производить эксперименты на живых людях. А если мы совершим оплошность, это будет похуже неудачной операции. Ты понимаешь меня?

— Вы преувеличиваете, сэнсэй. Если мы сохраним все в тайне, клиент ничуть не пострадает.

— Так-то оно так... Но я на месте этого человека в бешенство бы пришел.

Ёрики молчит. Мои слова, кажется, не трогают его. Да и с какой стати? Пять лет мы проработали с ним бок о бок, и он видит меня насквозь. Он знает, что я не собираюсь ни перед кем отчитываться и ни за что на свете не откажусь от нашей затеи, что бы я ни говорил. Даже если бы машина заказала нам убийство, я бы, вероятно, убил. Плакал бы, страдал, но убил. Вот идет перед нами и несет какую-то свою крошечную тайну этот обыкновенный человек средних лет и не знает, что с его прошлого и с его будущего, со всей его жизни будет содрана кожа. Я ощутил мучительную боль, словно кожу сдирали с меня самого. Но отказаться от моей машины было бы во много раз страшнее.

9

Человек вёл нас за собой весь вечер. Все той же походкой чиновника, спешащего по коридорам учреждения с папкой под мышкой, он без конца шагал по одним и тем же улицам. Раз он кому-то позвонил по телефону, дважды зашел в заведение «патинко»¹, где один раз пробыл четверть часа, а второй раз — двадцать минут. Больше он нигде не останавливался.

¹ «Патинко» — игровой автомат.

Мы пришли к предположению, что здесь, видимо, замешана женщина: она обещала прийти и не пришла. Действительно, в таком возрасте — мне самому вот-вот будет столько же — человек оставляет надежду на счастливый случай. Ничего неожиданного для него на свете не остается. И у него больше нет необходимости зря тратить энергию на бесцельное блуждание по улицам. Одна только женщина вносит поправку в эту закономерность. Человек становится смешным, банальным и превращается в животное.

В конце концов наши предположения оправдались. На свете редко случаются неожиданности. Около одиннадцати он зашел в магазин, позвонил по телефону-автомату и коротко с кем-то поговорил. (Ёрики ухитрился подглядеть и записать в свой блокнот номер телефона.) Затем он сел в трамвай и сошел на пятой остановке. Вот, оказывается, куда он направлялся — в небольшой меблированный дом на задах торговой улицы. От остановки туда было метров пятьдесят по переулку на склоне холма.

Человек останавливается у ворот и некоторое время в нерешительности оглядывается по сторонам. Мы тем временем покупаем сигареты в лавочке на углу. (За этот вечер я купил уже десяток пачек сигарет.) Наконец человек входит в дом. Следом за ним немедленно входит Ёрики. Он должен узнать, в какую комнату вошел человек, и прочесть на двери табличку с именем. В случае если его заметит хозяин дома, он должен дать денег и обо всем расспросить. Я остаюсь у ворот и рассматриваю дом. В окнах трех комнат нижнего этажа за занавесками горит свет. В окнах второго этажа, в том числе в окне над подъездом, света нет.

Проходит некоторое время. Затем в крайнем окне второго этажа на мгновение вспыхивает свет. Мелькает огромная тень человека, и свет гаснет снова. Из подъезда босиком выбегает Ёрики с туфлями в руке.

— Табличку на двери видел. Имя женское, как мы и думали. Тикако Кондо... Тикако написано хираганой...¹ — Он обувается, тяжело переводя дыхание, присев на корточки в тени ворот. — Прямо мороз по коже... Впервые в жизни такое...

— Это там на секунду свет зажегся?

— Ну да, там. И еще слышно было, как упало что-то тяжелое...

— Вон в той крайней комнате?

— Ага. Вы тоже видели?

— Странно как-то... На секунду вспыхнул и больше не загорается.

— Что тут странного? Дорвался до девки...

— Хорошо, если так. Я все боюсь, не заметил ли он нас.

— Едва ли... Нет, этого быть не может. Он бы где-нибудь запутал нас и бросил, а не привел бы сюда.

Мне, однако, стало как-то не по себе. Мы поставили перед собой задачу установить имя и адрес этого человека, но ведь теперь все изменилось. Сторожить его здесь не имело смысла — он мог остаться ночевать. Мы оба почти не спали со вчерашнего дня. Вдобавок мы ведь не решили еще окончательно, что именно он будет объектом эксперимента. Если это окажется удобным, можно будет основным объектом взять женщину, а его рассматривать как объект вспомогательный. Я изложил Ёрики эти соображения, и он согласился.

— Вот мы и добрались до женщин, правда, сэнсэй?

— В конце концов, их примерно столько же, сколько мужчин.

Итак, мы временно отступили. Дойдя до проспекта, я простился с Ёрики и вернулся домой, еле удерживая на плечах ноющую от утомления голову. Жена рассказывала что-то о том,

¹ Хирагана — одна из двух основных японских азбук.

как подрался в школе наш сын, но я слушал вполуха, то и дело, словно в узкую темную щель, проваливаясь в дремоту.

10

На следующий день я, разумеется, проспал и явился в институт в одиннадцатом часу. Вчера я... Не могу объяснить это толком даже себе. Одним словом, работа над проектом, приемлемым с точки зрения комиссии, представлялась мне вчера так. Мы разрабатываем этот проект вдвоем с Ёрики, тщательно скрывая это от остальных. Затем комиссия официально утверждает проект, и тогда — только тогда! — мы доводим его до сведения всех сотрудников. Именно поэтому я позволил себе вчера пуститься в эту авантюру с единственным помощником. Играло здесь какую-то роль и то обстоятельство, что проект касался на этот раз всего-навсего единичного человека, величины, по моему мнению, не заслуживающей всестороннего исследования. И только ночью я понял, что скорлупой, обволакивающей частную жизнь человека, пренебрегать нельзя. Будь у нас время, нетрудно было бы разработать обширный проект, но до следующего заседания комиссии остается всего пять дней. Вдобавок для того, чтобы проект приняли наверняка, лучше представить его дня за два до заседания. Если нынешний проект не пройдет, положение наше вновь ухудшится. Во всяком случае, не приходится сомневаться, что работа будет закрыта — хотя бы временно.

По дороге в институт я понял, что план действий надо изменить. Я решил официально объявить о своих намерениях всем сотрудникам и взяться за дело объединенными силами. Если разъяснить им суть положения, они не разгласят тайну. Я разделю их на две группы. Одна занимается женщиной,

другая берется за мужчину; каждый сотрудник знает свои обязанности и выполняет их быстро и точно. Информация, которая будет собрана в ближайшие два дня, позволит определить последующее направление работы и новые возможности. И самое главное — провести проект через комиссию.

Прежде чем пройти к себе, я заглянул в отдел информации и спросил, где Ёрики. Мне ответили, что Ёрики давно уже ждет меня в машинном зале наверху. «Пригласите всех наверх, мне надо поговорить с вами», — сказал я и поспешил к Ёрики.

Он сидел перед пультом, положив локти на панель управления. Странно, он даже не поздоровался. Он только как-то жестко взглянул на меня и сказал, не двигаясь с места:

— Что же мы будем теперь делать, сэнсэй?

— То есть?

— Как вам нравится эта чертовщина? — Он щелкнул пальцем по газете, разостланной на коленях.

— Постой, о чем ты говоришь?

Ёрики озадаченно поднял голову, выпятив подбородок и вытянув длинную шею.

— Вы что, сэнсэй, газет еще не читали?

На лестнице загремели деревянные каблуки. Это поднялись сотрудники из отдела информации. Ёрики вскочил и подозрительно уставился на меня.

— Это еще что такое?

— Я велел им собраться, хочу распределить работу.

— Вы что, с ума сошли? Читайте!

Он сунул мне в руки газету, распахнул дверь и грубо заорал в коридор:

— Куда лезете? Сейчас не время! Идите, позову, когда освободимся!

Кацуко Вада звонко крикнула в ответ что-то язвительное. Я не расслышал, что именно. Мне уже было не до этого.

Я стоял, вперив глаза в газету, читая и перечитывая заметку, обведенную красным карандашом, и мне казалось, будто воздуха вокруг меня становится все меньше и меньше.

«ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ ЗАДУШЕН ЛЮБОВНИЦЕЙ

Вчера, одиннадцатого, около полуночи, заведующий финансовым отделом фирмы „Ёсиба-седзи“ г-н Сусуму Тода, 58 лет, навестил свою любовницу Тикако Кондо, 26 лет, проживающую в номере 6-м меблированных домов „Мидори“, район НН, Синдзюку, Токио, был ею избит, а затем задушен. Означенная Тикако Кондо добровольно явилась в ближайшее полицейское отделение, где заявила, будто совершила убийство в целях самообороны, когда г-н Тода набросился на нее за то, что она поздно вернулась домой. Г-н Тода прослужил в названной фирме тридцать лет, его сослуживцы единодушно утверждают, что ничего подобного от такого достойного человека они не ожидали».

Пока я медленно раз за разом перечитывал заметку, Ёрики терпеливо ждал.

— Вот какие дела, сэнсэй... — сказал он, когда я поднял на него глаза.

Со лба у меня скатилась капля пота, упала на заметку и расплылась. Я сказал:

— А что другие газеты?..

— Я купил пять разных, но здесь подробнее всего.

— Да... Жаль, конечно. Если бы мы взялись за дело месяц назад, можно было бы предсказать все это. А теперь человека нет, ничего не поделаешь...

— Хорошо, если они тоже такого мнения.

— Что ты имеешь в виду? Думаешь, нам предложат предсказывать будущее мертвецов? Или играть в детективов? У нас нет на это времени.



— Я беспокоюсь о...

— А ты не беспокойся! И вообще, у этого человека было слишком много тайн. В качестве объекта он все равно не подошел бы.

— Перестаньте, сэнсэй! Кого вы хотите обмануть? Не надо делать вид, будто вы ничего не понимаете. Нам известно, что по крайней мере несколько человек видели, как мы шли по пятам за этим самым Тодой. Например, хозяин табачной лавочки, где мы брали сигареты в последний раз.

— Ну и что же? Ведь преступница уже явилась с повинной.

— Вас это успокаивает?... — Ёрики торопливо провел языком по губам и заговорил возбужденной скороговоркой: — А меня вот нет. Даже из этой заметки возникает масса непонятного. Вот, например, вам не представляется странным это убийство, последовавшее за избиением? Все-таки молоденькая женщина, ну пожарили ее за то, что поздно вернулась, и вдруг...

— Она, вероятно, ударила его, он взбеленился, а она испугалась и нечаянно убила.

— Едва ли... Чтобы молодая женщина могла убить разозленного мужчину? Ну хорошо, пусть даже будет так. Но вы, вероятно, помните, сэнсэй, как это было. Он вошел в комнату, сейчас же на секунду зажегся свет, упало что-то тяжелое, и снова свет погас. Помните, сэнсэй, вы говорили, что видели в окне тень человека? Так вот, я тоже видел тень человека, только не в окне, а на стеклянной двери. Странно, не правда ли? Вспыхивает лампа, и человек отбрасывает тень одновременно на дверь и на окно напротив. Непостижимо... Остается предположить, что в комнате было два человека.

— Значит, женщина была уже дома?

— Нет. Из заметки видно, что женщина явилась домой после мужчины.

— Вовсе нет... Впрочем, здесь написано как-то неясно. Можно понять и так и эдак.

— А я своими глазами отчетливо видел, как этот Тода сам отомкнул дверь ключом. Вдобавок я проверил номер телефона, по которому он тогда звонил. Все точно, это номер телефона в том самом доме. Он звонил, чтобы узнать, пришла ли уже его любовница. И, судя по его поведению, ему ответили, что ее еще нет.

— Она могла вернуться после его звонка, но до его прихода.

— Тогда почему в комнате не было света? Кто упал? Почему свет зажегся только на секунду и сразу погас?

— Не понимаю, что ты хочешь сказать. Во всяком случае, раз уж она пришла с повинной...

— Не верю, чтобы в полиции все были болванами. Кто-нибудь из нижних жильцов мог заметить время, когда слышался звук падения. Кто-нибудь из соседей мог засвидетельствовать, что света в комнате не было. Возможно даже, что из следов на горле удушенного окажется, что это сделала не женщина. А как только появятся сомнения, будет проведено тщательное расследование. Следы ног в носках на полу в коридоре... Отпечатки пальцев на двери... Подозрительные сыщики, преследовавшие жертву накануне.

— Постой... Ты что же, оставил там отпечатки пальцев?

— В том-то и дело... Разве я знал, что так получится?

— Ага... Да... Постой, однако же, ну пусть даже так. Ведь все выяснится, едва нас проверят. Глупости, глупости! И стимула к убийству нет никакого, не так ли? Пусть подозревают на здоровье, доказательств-то никаких нет!

— Все это так. Но если будут подозревать, то будут и расследовать, понимаете, сэнсэй? И пока эти идиоты не уяснят досконально сущности нашей работы...

— Ох, как скверно!

Да, теперь я понял. Он заметил, что я понял, и несколько смягчил тон.

— Ужасно скверно, сэнсэй. В первую очередь пронюхает пресса. Об убийстве сразу забудут и примутся расписывать нашу деятельность. Мы-то можем себе представить, какими красками они будут расписывать. «Растоптано достоинство личности», «Кошмар машинного века». И все такое прочее.

Тут он спохватился и замолчал. Вероятно, он вспомнил мои вчерашние сомнения и испугался, что причиняет мне двойную боль. Ну что же, пожалуй, достаточно. Хватит заниматься самоанализом.

— Кажется, ты прав. Мы должны срочно выпатить на показ практическую пользу, дать какой-нибудь впечатляющий результат, иначе нашу деятельность сочтут общественно опасной. А если хоть кто-нибудь выскажется в таком духе, все пропало. Комиссия и без того трясется от страха, как бы чего не вышло. Она воспользуется первым же подходящим предлогом, чтобы поскорее разделаться с нами. Но ты молодчина, и я не подозревал у тебя таких способностей. Тебе бы детективом быть. Или адвокатом.

— Да нет, сэнсэй, я ведь не сразу пришел к такому выводу. Просто мы столько времени следили за ним, потом я стоял там, за дверью... От всего этого у меня осталось впечатление чего-то зловещего; и когда я прочел эту заметку, то сразу инстинктивно почувствовал: нет, убила не женщина, там был кто-то другой. Ну а раз так, то подозрение прежде всего падет на нас. И если мы дорожим нашей работой, пятиться нельзя. Остается только упредить их и ударить первыми.

— Ударить... гм...

— Да, поэтому дела с комиссией надо уладить прежде, чем нанесут удар они.

— Я думаю, это будет нетрудно, если действовать через Томоясу. Но чтобы никаких признаков робости! Твердо стоять на своем: это-де необходимо для разработки проекта — и все тут...

— Правильно, сэнсэй. Да и за объяснениями нам лезть в карман не придется. Вот, например, скажем, есть сейчас свежий, с иголки труп.

— Труп?

— Да. Материальное воплощение вывода машины относительно будущего. Я слышал, что у мертвецов, которых хранят должным образом, нервная система живет целых три дня после клинической смерти.

Словно вдруг пришло утро на улицы моего мозга, распахнулись окна домов, распахнулись двери, и клеточки энергично принялись за работу. Ёрики опять утер мне нос. Ну что за пройдоха! Впрочем, обижаться не приходится. Придет время, и он заменит меня.

— Неплохо. И даже не в качестве предлога неплохо. Это по-настоящему любопытный замысел. Нет, право, начать с трупа — это отличная идея!

— Ну-ка, посмотрим. Пусть это будет первый пункт математической индукции. Далее, вторым пунктом будет женщина... А ведь отличные экземпляры подобрались, сэнсэй, а? Хотя не наша это заслуга...

— Если все пойдет хорошо, то должен оказаться еще и истинный преступник. Он что, будет третьим пунктом?

— Нет, он будет уже ступенью для практического применения. На эту приманку мы и будем ловить комиссию.

11

Решение принято, теперь нужно спешить. У нас еще есть время, пока полиция не протянула к нам лапы, но необходимо немедленно принять меры, чтобы труп не отдали родственникам. Так или иначе, дорога каждая минута. И нам ни при каких обстоятельствах не обойтись без молодежи с первого этажа.

Ёрики уверен, что они будут слушаться его. Всех в соответствии с наклонностями разделили на три группы: команда по труп, команда по женщине и команда по выявлению истинного преступника. Я беру на себя расследование в целом. Было решено, что, пока я веду переговоры с Томоясу, команды окончательно оформятся, выработают план действий и будут ждать в полной готовности. Узнав, что Томоясу находится у себя, я немедленно отправился к нему.

Томоясу был очень любезен. Пока я разглагольствовал о многочисленных возможностях, вытекающих из применения машины к предсказанию будущего отдельных людей, с лица его не сходила самая благожелательная улыбка. Наверное, он страшно доволен, что дело приняло другой оборот и ему не придется больше стоять между мною и своим начальником. Я, со своей стороны, решил продолжать разговор так, чтобы по возможности укрепить его в этом настроении. Мне кажется, на моем лице не появилось и тени озабоченности, я всячески подчеркивал, что мы столкнулись со счастливейшим обстоятельством. Вот тут-то, когда пришлось заговорить о трупе и полиции, Томоясу перестал улыбаться и снова стал сух и сдержан, как всегда. С таким чувством, словно мне предстояло переправиться через бурный поток, я изо всех сил навалился на руль нашей беседы. Не жалея красок, я расписывал сияющие перспективы применения машины-предсказателя для предотвращения преступлений. Ни малейшего намека на то, что полиция может заинтересоваться нами самими. Я сражался более часа и в конце концов победил. Он решился.

Нет, решился он не на переговоры с заинтересованными инстанциями. У него и прав-то на это не было. Просто я уговорил его доложить содержание нашей беседы начальнику статистического управления. Затем я в течение часа упражнялся в красноречии перед этим самым начальником. В отличие от Томоясу начальник на протяжении всего разговора сидел

с каменной физиономией. С той же каменной физиономией он попросил нас подождать и куда-то вышел.

Я места себе не нахожу. Мне все представляется, будто вот-вот позвонит Ёрики и сообщит, что нагрянула полиция. А вот Томоясу снова спокоен. Прежняя любезная улыбочка вернулась на его физиономию. Видимо, доволен, что передал эстафету начальству. Он пускается в пространные рассуждения о возможностях предсказывающих машин. Но он городит такие глупости, что у меня нет никакой охоты ему отвечать. И такой вот человек является ответственным членом комиссии! Прямо руки опускаются...

Проходит еще час. Он тянулся бесконечно, и я стал уже опасаться, что о нас вообще забыли. Наконец начальник вернулся и деловито произнес:

— Кажется, все в порядке. В общих чертах договоренность есть. Письменного отношения посылать не будем, если возникнет необходимость, сошлитесь на меня. Впрочем, я дал знать в соответствующие инстанции...

Он говорил таким равнодушным тоном, что я даже забыл, что это благоприятный ответ. Только на улице я осознаю, что теперь можно ликовать, бросаюсь искать телефон-автомат и сообщаю Ёрики об успехе переговоров. В голосе Ёрики я даже по телефону ощущаю напряженность. Оказывается, они там уже связались со счетной лабораторией госпиталя Центральной страховой компании (счетная лаборатория в госпитале — это помещение, где установлена электронная диагностическая машина) и госпиталь готов приступить к стимуляции трупа, едва он туда поступит. Я распорядился немедленно послать Собу в полицию, чтобы доставить труп в госпиталь, и повесил трубку. Внезапно я облился холодным потом. Тело пронзила острая боль, словно оно распадалось на части. Нет, это была не боль. Это было страшное возбуждение. Наконец-то начинается настоящая работа... После долгого

безнадежного ожидания, когда это ожидание стало частью моей жизни, начинается, наконец, настоящая работа. Не это ли мы называем ощущением счастья?

12

Все подготовлено. Гудит кондиционирующая установка, и стоит войти в помещение, как от ног по всему телу распространяется приятный холодок. У нас отдельная телефонная связь со счетной лабораторией, мои сотрудники разделены на три группы, каждая группа снабжена переносным радиотелефоном и готова приступить к делу в любую минуту. (Молодчина он, этот Ёрики!)

Наконец все уходят, и я остаюсь ждать один в машинном зале перед телеэкраном и тремя радиотелефонами, включенными на прием. Тихо. Слышится только монотонное бормотание машины. Сейчас я всего-навсего одна из ее деталей. Машина будет сама принимать поступающую информацию, сама будет сортировать и вводить ее в запоминающее устройство. На мою долю остаются только легкие вспомогательные операции, если машина их потребует. Но я горжусь этим. Ведь это я, и никто другой, одарил ее такими возможностями. И я с наслаждением кричу своей машине-предсказателю: «Ты безгранично увеличенная часть меня самого!..»

В три часа пятьдесят минут, на двадцать пятой минуте после ухода Ёрики и его товарищей, поступило первое сообщение — от Цуды, из команды по выявлению преступника. Очень не хочется повторять это сообщение: было что-то зловещее в том, с какой точностью оправдывались предположения Ёрики. Действительно, женщина вернулась домой около полуночи, это подтверждают свидетели-очевидцы. Далее, какая-то драка, по-видимому, была: на затылке у женщины обнаружена рана,

которую сама она себе нанести не могла, но результаты обследования трупа, а также ряд других обстоятельств заставляют усомниться в верности ее показаний. Похоже на то, что у нее был соучастник, но она не желает менять свои показания. Не исключено поэтому, что ей кто-то угрожает. По мнению полиции, разгадка преступления — это вопрос времени. Ясно, что совершено оно не рецидивистом, и, как всегда в подобных случаях, обнаружить преступника будет трудно, однако известно, что чем тщательнее преступление спланировано, тем легче поймать виновника за хвост. (Я было заколебался. Может быть, стоит сообщить о том, чему мы были прошлой ночью свидетелями? Если все обстоит так, как утверждает полиция, то вряд ли подозрение падет на нас, людей совершенно случайных. Впрочем, я был уверен, что нам самим удастся обнаружить преступника, и потому решил пока молчать и ждать.)

Вскоре затем поступило подробное сообщение от Кимуры, из группы женщины. Это были обычные данные, которыми заполняются анкеты и полицейские документы, — возраст Тикако Кондо, место ее рождения, профессия, краткая биография, характер, тип лица, даже рост, вес и тому подобное. Приводить их здесь не имеет смысла. Они настолько поверхностны, что ничем не могут помочь, когда дело идет об анатомировании человеческой личности. Все придется переделать заново и с самого начала, и притом совсем другими методами. Вдобавок, если бы возникла необходимость, такие данные всегда можно получить в полиции. И только если бы полиция отказала, можно было обратиться за ними к соседям и знакомым женщины.

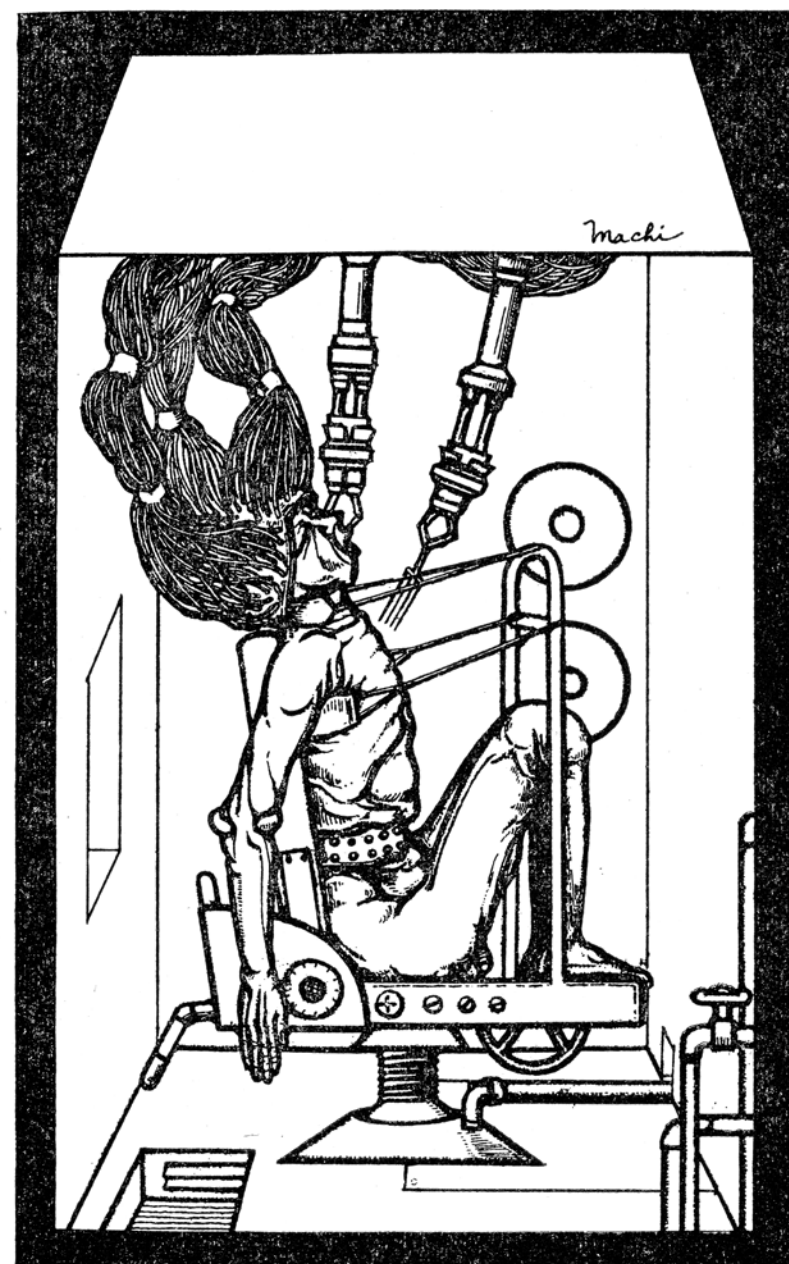
Наконец в пятом часу в госпитале приступили к стимуляции трупа. Кажется, они там считали, что не все еще для этого готово, но мы решили рискнуть, пока труп не пришел в состояние, при котором стимуляция была бы уже бесполезна. До четырех часов я принял еще несколько сообщений от сотрудников, но я опускаю их, потому что эти данные подтвердились позже в

«показаниях» трупа. За час до стимуляции я имел по телевизору непродолжительную беседу с профессором Ямамото, ведущим хирургом госпиталя. Он объяснил, что их диагностическая машина способна воспроизводить и подвергать анализу лишь основные физиологические реакции, но расшифровывать импульсы, запечатленные в коре головного мозга, она не в состоянии. Еще бы! Даже для нашей самопрограммирующейся машины это пока еще область неизведанного. Итак, задача машины сводится к тому, чтобы запомнить и расшифровать комбинации импульсов, возникших в коре головного мозга нашего покойника в результате различных воздействий.

13

Труп внесли в анатомический кабинет минут за десять до начала работы. Он упакован в герметическом стеклянном ящике, наполненном особой газовой смесью. Препаратор действует при помощи телемеханических манипуляторов. Профессор Ямамото стоит возле ящика и дает пояснения. (Я наблюдаю всю процедуру на экране телевизора.) Включают рентгеновскую установку, и на стене справа возникает увеличенная анатомическая схема трупа. На этой схеме отчетливо видно, как в нервные узлы нечеловечески точно и уверенно целятся тончайшие, толщиной в волос, металлические иглы, укрепленные в манипуляторах. Черепная коробка трупа срезана. Вместо нее наложена прямо на мозг толстая металлическая шапка с торчащими наподобие волос многочисленными медными проводами. Эта шапка является своего рода измерительным прибором.

Вдруг вспыхнул яркий свет, в помещении стало светло. Телекамера придвинулась к голове трупа. Позади я увидел Ёрики, он улыбнулся мне в объектив. Несколько поодаль возникли напряженные лица Собы и Кацуко Вады — они исподлобья



глядели в лицо трупa. Кацуко стояла так, что родинки на верхней губе не было видно, и она казалась очень хорошенькой. Камера описала дугу. Весь экран заполнило обнаженное, отсвечивающее белым, мертвое тело. Шея покрыта коричневыми пятнами, это следы душивших пальцев. Подбородок выпячен. Тонкие губы раздвинуты, глаза крепко-накрепко зажмурены. На белесых, словно припудренных, щеках торчат редкие волоски бороды. Примерный семьянин, служащий финансового отдела, а вот поди же ты — обзавелся любовницей! И дело у них зашло так далеко, что она его убила. Почему-то он представляется мне сейчас гораздо более живым и грозным, нежели вчера, когда он неподвижно сидел в кафе над блюдом растаившего мороженого, похожий на манекен в своем облегающем фланелевом костюме. Я завидовал ему, и в то же время мне было смешно. Странное беспокойное ощущение возникло в груди.

И вот началась работа. Сначала измеряют вес и рост. Получают соответственно 54 килограмма и 161 сантиметр. Затем в мгновение ока определяют и замеряют характеристики различных частей тела. Включают манипуляторы. Иглы втыкаются в труп, и на стене вспыхивают индикаторные лампы. И труп в стеклянном ящике словно оживает. Задвигались ноги, туловище дернулось. Шевельнулись губы, открылись глаза, лицо изменило выражение. Вада вздыхает, и вздох этот больше похож на крик. Даже у Ёрики лицо в поту и дрожат губы.

— Так определяются функции движения, — сказал профессор Ямамото. — Следует помнить, что функции движения связаны не только с физиологией организма, но и со всей историей прожитой жизни.

Далее исследуется деятельность внутренних органов, а когда с этим покончено, начинается, наконец, самое главное: анализ импульсов в коре головного мозга. Количество игл в манипуляторах увеличилось, семь или восемь из них повисли перед лицом. Они стимулируют органы чувств: уши,

глаза и прочее. В уши вводятся слуховые трубки, на глаза опускают какой-то прибор, напоминающий огромный бинокль. На экранах осциллографов возникают странные кривые. Их больше восьмидесяти, и они непрерывно изгибаются самым причудливым образом.

— Мы начнем, — поясняет профессор Ямамото, — со стимуляции обычных, повседневных раздражений. Пять тысяч моделей различных раздражений, тщательно отобранных и отработанных в наших лабораториях. Они выражаются в зрительных и слуховых образах, которым соответствуют простейшие существительные, глаголы и прилагательные. Затем мы пустим в дело еще пять тысяч моделей, представляющих собой комбинации предыдущих. Обычно в нашей практике анализ импульсов коры этим и кончается, но сегодня мы попытаемся пойти несколько дальше. Ну вот хотя бы... Мне сейчас пришло в голову... Покажем ему свежую кинохронику и прочитаем последние газеты за эту неделю. В обратном порядке, начиная с сегодняшних.

— Превосходная мысль! — восклицаю я нарочито восторженным голосом, и Ёрики на экране согласно кивает головой.

Действительно, придумано хорошо. Очень удачная мысль. Даже слишком удачная. Видимо, профессор Ямамото давно ее лелеет, уже не раз пытался проверить ее на практике, но неудачно, а сейчас из тщеславия делает вид, будто это гениальное озарение снизошло на него только теперь...

Впрочем, в кривых на экранах осциллографов не заметно никаких изменений. Они по-прежнему дрожат, как воздух над горячей дорогой. А что сейчас слышит моя машина?

Щелкает переключатель. Наконец-то! Вот-вот застрекочет скоростное печатающее устройство, и из вывода поползет лента записи. Когда же? Я жду и не могу дожидаться. Что расскажет мертвец?

Профессор Ямамото отключает мозговой анализатор и говорит, кивая мне с телеэкрана:

— Ну вот и все. Программа стимуляции закончена.

Я поблагодарил и с каким-то беспокойным чувством выключил телевизор. На гаснущем экране я еще успел заметить, что Ёрики и его товарищи смущенно глядят на меня. Вероятно, я поступил слишком грубо и невежливо по отношению к профессору. Ведь все они там, в госпитале, с таким интересом и нетерпением ждали, что расскажет через машину покойный заведующий финансовым отделом по имени Сусуму Тода. Все так хотели узнать, как отреагировала на этот эксперимент машина. Но у меня были свои соображения. До тех пор пока вопрос не будет улажен полностью и окончательно, результаты сегодняшней работы опубликовать нельзя. Надо стараться всеми силами не раздражать трусливую комиссию сенсационными слухами. Если, например, это убийство хоть в малейшей степени обернется против нас, комиссия немедленно отречется от нас. И для меня сейчас раскрытие этого странного преступления гораздо важнее испытания предикторских способностей машин. (А Ёрики можно все рассказать, когда он вернется.)

В тот момент, когда я собирался включить выводную систему, зажужжал телефон. Я взял трубку и сейчас же услышал далекий хрипловатый голос:

— Алло, это господин Кацуми?

Голос показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, кто это. В трубке слышался уличный шум: видимо, говорили из автомата.

— Предупреждаю, — продолжал голос, — лучше вам не лезать слишком глубоко в наши дела.

— Ваши дела... Какие дела?

— Этого вам знать не нужно. Между прочим, полиция заинтересовалась теми двумя, которые ходили за убитым.

— Кто ты?

— Ваш друг.

Отбой. Я закурил сигарету и, немного успокоившись, вернулся к выводной системе. Щелкаю переключателями, читаю ленту записи. Вызываю одну за другой все секции с информацией, полученной из госпиталя, объединяю их и перевожу на положение «общая реакция». Теперь психика убитого полностью восстановлена и способна реагировать на внешние воздействия. Не сама психика, правда, а ее электронное отображение. Должна существовать какая-то разница между психикой живого человека и ее отображением, это несомненно, и было бы очень интересно исследовать эту разницу, но сейчас меня интересует совсем другое.

Стараясь подавить волнение, я обращаюсь к машине:

— Можешь отвечать на вопросы?

Короткая пауза. Затем слышится слабый, но отчетливый ответ:

— Кажется, да. Если вопросы будут конкретными.

Голос совсем живой, и я немного теряюсь. Словно в машине спрятан настоящий человек. Но это всего лишь электронная схема. У нее не должно быть ни сознания, ни воли.

— Тебе, конечно, известно, что ты умер?

— Умер? — испуганным, задыхающимся голосом шепчет формула внутри машины. — Я умер?..

Нет, это ужасно. Я в страхе бормочу:

— Ну да... Конечно...

— Вот, значит, как... Меня все-таки убили... Вот оно как...

— И ты, конечно, знаешь кто тебя убил?

Голос вдруг становится жестким и гневным:

— Да вы-то кто такой? Почему вы задаете мне вопросы?

— Я?..

— И где я нахожусь? Что происходит? Я умер, но ведь я разговариваю, думаю... — Голос торжествующе кричит: — А-а, понял! Вы врете. Вы все врете, хотите заманить меня в ловушку...

— Нет-нет. Ты ведь не настоящий человек. Ты всего лишь уравнение, формула человека, по имени Сусуму Тода, введенная в машину-предсказатель.

— Мне не до смеха. Бросьте ваши нелепые шутки. Ну что за мерзавцы... Я совсем не чувствую своего тела... Скажите лучше, где Тикако? И включите свет, прошу вас.

— Ты умер, понимаешь?

— Хватит! Больше ты меня не запугаешь! Довольно я дрожал перед тобой!

Я вытираю пот, заливающий глаза. Кажется, надо покончить все одним махом.

— Кто тебя убил?

В машине слышится издевательский смех.

— Лучше скажи мне, кто ты такой. Если я убит, то выходит, что ты и есть убийца. Ну ладно, довольно. Зажги свет и позови Тикако. Слышишь? Будем говорить начистоту.

Кажется, он действительно считает, что я преступник. Следовательно, сознание покинуло его за мгновение до смерти. Может быть, не стоит разуберять его? Попробовать разыграть представление?

— Ну хорошо. Кто же я такой, по-вашему?

— Откуда я знаю?! — ломающимся, как у юноши, голосом крикнул человек в машине. — Ты что, за идиота меня считаешь? Неужто ты думаешь, что я поверю твоей дурацкой выдумке?

— Выдумке?... Какой выдумке?

— Замолчи!

Мне кажется, что я ощущаю на лице его тяжелое дыхание. Я знаю, что это машина, но меня охватывает отвращение. Да,

дело усложняется. Не того я ожидал от простой и ясной точности машины. В чем-то я просчитался. Ну конечно, нельзя было вот так, в лоб, безо всякой подготовки объявить ему правду. Нужно было действовать осмотрительно, оставив себе путь для отступления.

Я решительно поворачиваю переключатель. Мой собеседник мгновенно распадается в электронную пыль. Что-то шевельнулось в моей совести: его существование казалось слишком реальным. Я торопливо настраиваю индикатор времени и перевожу его на двадцать два часа назад. На тот час, когда Сусуму Тода ждал свою любовницу в кафе на Синдзюку. Затем я включаю изображение.

Снова зажужжал телефон. Это был Цуда из команды по выявлению преступника.

— Как дела? Какие результаты дала стимуляция трупа?

— Пока никаких, — ответил я и вдруг спохватился. Ведь мой разговор с машиной выявил одну очень важную деталь. Когда мы говорили с Ёрики, он заметил, что, возможно, убийцей окажется вовсе не Тикако Кондо. Это было самым скверным из возможных предположений, но всего лишь предположением, не имеющим под собой никакой почвы. Однако из разговора с машиной явствует со всей очевидностью, что Тода ожидал встречи с кем-то помимо женщины, с каким-то третьим лицом. Возможно, с врагом или с посредником.

— Лучше расскажи, как там у вас. Есть что-нибудь новое?

— Почти ничего. За ним до самого дома шли какие-то двое. Это утверждает, например, старичок из табачной лавочки рядом с домом. Впрочем, женщина уже скрепила свое признание отпечатком пальца. У следствия тоже нет единого мнения, и вообще все изрядно охладели к этому делу.

— А твое мнение?

— Право, не знаю... Я вот говорил с Кимурой из команды, которая занимается женщиной. Пока мы не будем ясно

представлять себе отношения между нею и убитым, утверждать, будто у женщины был соучастник, нет, кажется, никаких оснований. И вообще, неужели это так уж важно для нас?

— Откуда нам знать, что важно, а что не важно, если мы еще ничего не сделали? — В моем тоне прорывается раздражение. Надо же, искали совершенно случайный объект и впутались в такую странную историю. — Я бы хотел, чтобы вы там меньше занимались теоретическими построениями и все внимание сосредоточили на сборе фактических данных. Хорошо бы, например, иметь точный план комнаты этой Тикако.

— Не вижу, чем это может помочь машине...

— А я тебе еще раз повторяю: мы не знаем, что для нас важно и что нет! — не удержавшись, заорал я, но тут же пожалел об этом. — Ладно, потом соберемся и все тщательно обговорим. У нас нет времени, вот я и срываюсь. Между прочим, остерегайся репортеров. Помни, для нас это последний шанс одолеть комиссию...

Кажется, он не согласился со мной, но промолчал и отступился. Дело запутывается все больше и больше. Нам уже не до проектов, годных для комиссии. Мы по горло заняты — стараемся обелить себя. И у меня такое впечатление, что чем больше мы барахтаемся, тем глубже увязаем.

15

Когда я положил трубку и обернулся, на экране была спина живого Тоды двадцать два часа назад. И меня вновь охватила гордость за могущество моей машины. Я поворачиваю верньер поля зрения. Тода на экране сдвигается, и я вижу обстановку кафе как бы его глазами. Отчетливым выглядит только то, на что устремлен сейчас его взгляд. Все остальное беспорядочно искривлено и затуманено. Место, где сидим мы с Ёрики, пред-

ставляется темным пятном, словно там ничего нет. Мороженое в блюдечке на столе совершенно растаяло.

Тода черпает мороженое ложкой, вытягивает губы и отхлебывает. Глаза его неподвижно устремлены на дверь. Я поспешно шарю в памяти, вспоминая, что будет дальше. Ага, скоро заиграет музыкальный автомат, и Тода повернется лицом к нам. Буду ждать.

Загремела музыка, и Тода обернулся. Чтобы узнать, какими он видел нас, я поворачиваю верньер поля зрения на сто восемьдесят градусов. Музыкальный автомат и девочка в юбке до колен возникают на экране с поразительной четкостью. А впереди — мы, неясные, размытые, словно тени. (Это хорошо, теперь можно не беспокоиться, что труп станет нашим обвинителем.)

Я перевожу индикатор времени на два часа вперед.

Тода идет по улице.

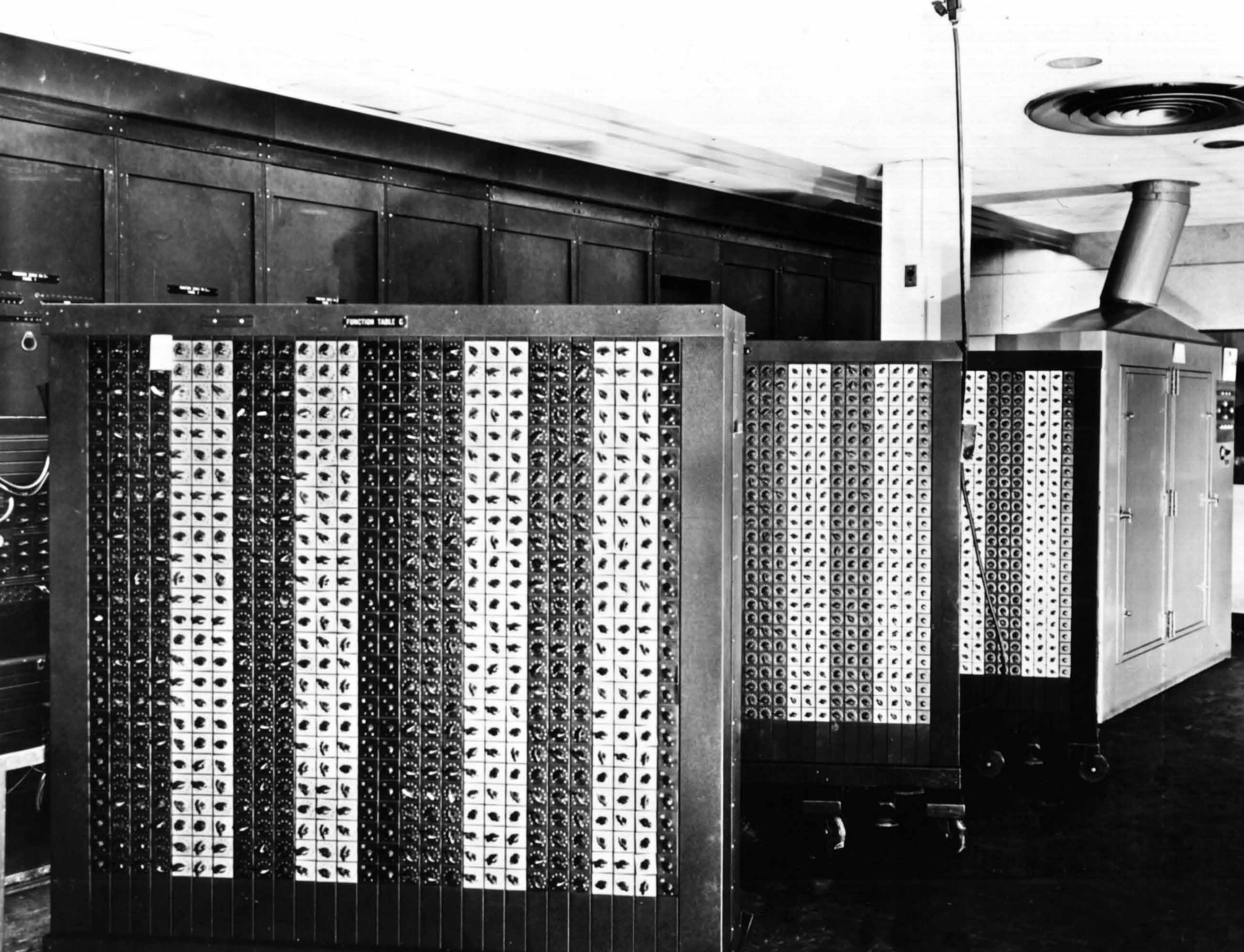
Еще на два часа вперед.

Тода стоит перед будкой телефона-автомата.

Я ускоряю ход времени на экране в десять раз. Словно в фильме, снятом замедленно, Тода стремительно вскакивает в трамвай, соскакивает, мчится вверх по переулку и подбегает к дому Тикако. Я переключаю ход времени на нормальную скорость.

Теперь начинается самое важное. Если нам повезет, мы не только выпутаемся из дурацкого положения, но и получим важный материал для представления комиссии, и тогда все немедленно изменится к лучшему. Я не отрываясь слежу за Тодой, то и дело судорожно глотая слюну.

Он поднимается по темной лестнице, останавливается и вглядывается в конец коридора. Затем качает головой и неуверенно идет по коридору. Идет, стараясь ступать тихо, навстречу ожидающей смерти... Откуда-то из тени под лестницей за ним, вероятно, наблюдает Ёрики, но на экране этого



не видно. Тода извлекает из бокового кармана ключ, тыльной стороной ладони вытирает со лба пот, затем наклоняется и отпирает замок. Ключ в замке поворачивается с неестественно острым скрипом, и этот звук словно отражает то, что творится на душе у Тоды. Тода, не оборачиваясь, грубым толчком захлопывает за собой дверь. По стуку чувствуется, что дверь закрылась неплотно. Напротив во мраке комнаты виднеется пепельный квадрат окна и в нем какой-то далекий огонек. Тода снимает туфли и, протянув руку влево, поворачивает выключатель. (А смерть уже надвинулась на него!)

Вспыхивает свет. Маленькая комната: видно, что здесь живет женщина. В углах мебель. Никого нет. Все заполнено жестким молчанием. Взгляд Тоды безнадежно обходит комнату... В ту же секунду за его спиной возникает какой-то неуловимый звук. Он нарастает, вспухает, превращается в скрип — и вдруг все, что видит Тода, бессильно оплывает. Косо взлетает пол комнаты и прижимается к лицу. Огромная изогнутая тень, гася свет, бесшумно рушится сверху. Экран заполняет тьма.

Так вот когда он умер...

Некоторое время я сидел неподвижно, уставившись на темную дрожащую поверхность экрана. Итак, он не видел убийцу. Мало того, он может стать свидетелем не в нашу пользу. Женщины в комнате не было. Так говорится и в ее показаниях, но это вопиющая ложь, будто он набросился на нее с упреками и она убила его. И еще. Этот скрип за спиной. Что, если он принял этот звук за скрип двери? Ведь за дверью тогда стоял не кто иной, как Ёрики. Да, стимуляция трупа выходит нам боком. Мы сами, своей рукой набросили петлю себе на шею...

Не знаю, сколько времени я просидел так, рассеянно задумавшись. Потом я вдруг почувствовал, что в зале кто-то есть, и обернулся. У дверей, прислонившись спиной к косяку, стоял Ёрики. Не знаю, когда он вошел. (На миг, словно галлюцинация, перед моими глазами возникла последняя сцена

на экране, я ощутил себя на месте Тоды и вздрогнул.) Ёрики, покачивая головой, запустил пальцы в волосы и проговорил с улыбкой:

— Да, плохо наше дело.

— Ты видел?

— Да. Самый конец.

— Где остальные?

— Собу и Ваду я оставил там. Пусть ждут. Возможно, нам потребуются еще какие-нибудь данные.

— Я ждал, что ты мне позвонишь...

Ёрики отлепил от тела промокшую сорочку, затем медленно провел языком по губам. Я повернулся вместе с креслом и, глядя ему в лицо, продолжал зловещим тоном, удивившим меня самого:

— ...а вместо этого позвонил какой-то чудаков и угрожал мне.

— Что такое? — Ёрики замер, держась за спинку стула, на который собирался садиться.

— Предлагал не залезать слишком глубоко в их дела. Сказал, что полиция заинтересовалась теми двумя, которые следили за убитым. Причем это, кажется, правда. Цуда тоже говорил мне об этом.

— И?..

— Видимо, этому типу известно, что следили за убитым мы с тобой.

— Интересно... — задумчиво проговорил Ёрики и затрепал длинными пальцами. — Получается, что там действительно был еще кто-то, кроме нас.

Я насмешливо заметил:

— Весьма возможно. Но кто этому поверит?

— Верно. Я вас понимаю... — Ёрики, закусив губу, исподлобья посмотрел на меня. — Звонивший, разумеется, и есть убийца... Но этот телефонный разговор слышали только вы, сэнсэй, и в то же время вы являетесь моим соучастником.

Если полиция нападет на след двоих, следивших за убитым, подозрение падет прежде всего на меня.

— Я попытался представить себе связь между обстановкой в комнате и тенью на окне. Эта тень была, несомненно, от Тоды, когда он падал. Ты видел еще одну тень... Но ее, кроме тебя, никто больше не видел.

— Да, мне могут сказать, что это была моя собственная тень, и опровергнуть это я не смогу. — Ёрики с горькой усмешкой прищелкнул языком. — Поистине нам фатально не повезло, что наш объект не видел убийцу. Столько трудов нам стоила стимуляция трупа, и вот она обернулась против нас. Будь у меня хоть малейший мотив для убийства, даже вы могли бы заподозрить меня, сэнсэй, и были бы правы.

— С мотивом тоже беда. Заставить его говорить оказалось не так-то просто...

Я многословно поведал Ёрики, как убитый, это несчастное отражение личности в машине, решительно не пожелал признать себя мертвым и как трудно с ним иметь дело. Ёрики молча выслушал меня, затем тихо сказал:

— Тогда остается только прибегнуть к обману.

— К обману?

— Да. Убедить его, что он еще жив.

16

В общем это нам, кажется, удалось. Убитого — нет, его электронный призрак в машине убедили, что он лежит в госпитале. Он ничего не видит и не чувствует своего тела из-за шока, но он скоро поправится. И когда в нем возбудили чувство мести, он неожиданно заговорил. Мы заставили его говорить, и это был успех. Другой вопрос — насколько это улучшает положение.

(Еще только шесть часов, но небо внезапно потемнело, хлынул проливной дождь. Огромные капли разбиваются о стекла окон. Напряженно, словно сидя на стуле с двумя ножками, я выслушал исповедь машины. Привожу ее здесь.)

«Лучше бы уж я умер. Мне стыдно... Вы понимаете меня?.. В мои-то годы беспардонно волокаться за юбками... Что говорит жена? Нет, теперь она вряд ли простит меня... Видите ли, она никогда не давала мне ни малейшего повода для недовольства. Так оно и было, я говорю вам правду. Теперь эта девушка, Тикако Кондо. Она пела в кабаре, но вы бы никогда не подумали, что она из тех женщин. Застенчивая такая, скромная... Правда, телом она немного не вышла, слишком худая и угловатая. Спросите кого угодно, я никогда не посещал таких заведений, но в тот вечер я сопровождал нашего директора, и вот... Не знаю, почему девушка с таким веселым образом жизни обратила внимание на меня, ничем не примечательного, туповатого пятидесятилетнего мужчину. Ну естественно, я сразу потерял голову. Она гладила мои щетинистые щеки своими гладенькими пальчиками... Да из одной только благодарности я бы... Нет, этого словами не объяснишь, в общем я совсем одурел... рад был без памяти... Но это вам, наверное, неинтересно... Однако вы должны понять, что это она не только из-за денег. Вы, конечно, не поверите, но это чистая правда. Никогда не пыталась вытянуть из меня деньги. Конечно, я каждый месяц выплачивал ей кое-что, и она была этим вполне довольна. Тело у нее было угловатое, но душа-то прямая и мягкая. Она даже откровенно сказала мне, что полюбить меня не сможет, но что я ей нравлюсь. Редкостная женщина. Ведь я верно говорю?..

А потом я стал подозревать ее. Когда тридцать лет подряд занимаешься финансовыми расчетами, обязательно становишься дотошным и подозрительным. Все время дрожишь,

как бы из тебя не стали тянуть деньги, а если не тянут — опять не то! Как-то она слишком уж ровно держалась со мной... А я человек далеко не самоуверенный, вот и перестал ей доверять... Это все равно, как если смотреть в подзорную трубу не с того конца. Ну вот, то да се, и случилось одно происшествие. Вернее, это даже происшествием нельзя назвать, но однажды прихожу я к ней и вижу, что она купила дорогой ковер. Вы, вероятно, его видели, не правда ли? Не такой, чтобы уж сразу бросался в глаза, но при ее средствах, конечно, роскошь. Я финансовый работник, сразу такие вещи замечаю. Но когда узнал, в чем дело, то еще больше поразился. Она сказала, что забеременела и ковер купила в память об этом. У меня в мои годы даже сейчас в груди стеснение, чуть не плачу, когда вспоминаю. У нас с женой детей нет, и это меня совсем ошеломило. Нет, не то чтобы ошеломило, это я неправильно говорю. Просто у меня словно крылья выросли, захотелось бежать и всюду хвастаться, показать себя людям таким, каким меня никто не знает. Мне даже чудилось, будто об этом надо рассказать и жене, которая тогда ничего не подозревала, пусть, мол, порадуется вместе со мной. Что это? Кажется, дождь идет? Слышу... Ну ладно, подождите еще немного, сейчас перейду к самому главному. (Торопится.) Дальше все пошло скверно. Представьте, она говорит мне, что беременна, и это чистая правда. И вдруг я прихожу, а она заявляет, что сегодня сделала аборт. Каково?! Ну ладно, аборт так аборт. В конце концов, честно говоря, я и сам не так уж уверен в своем будущем. Но меня страшно оскорбило то, что она не сочла нужным хотя бы посоветоваться со мной. Я прямо из себя вышел, наговорил ей всякого. Ты-де сама не знала, от кого ребенок, и потому, дескать, боялась рожать. Теперь, дескать, все понятно, понесла от какого-нибудь мерзавца с толстым кошельком и выкачивала из него денежки. А если не так, то откуда у тебя деньги на ковер? Я-де, значит, был только предлогом для шантажа.

Она все отрицала, мотая головой, и, наконец, расплакалась. Нет, это не вчера было, вчера мы с нею так и не увиделись. Это было месяца два назад.

В общем, я допрашивал ее. Она плакала. Я, конечно, понимал, что не такой она человек, чтобы заниматься шантажом, но как же иначе все объяснить? Она изо всех сил пыталась оправдаться. Но оправдания ее были из рук вон глупыми... Рассказала, что есть, мол, такая больница, где делают аборт да еще семь тысяч иен платят, если беременность не больше трех недель. Когда она за собой заметила, то сразу побежала в эту больницу. Ей сказали, что она как раз на третьей неделе, и тут же сделали аборт. Ну кто этому поверит? Ведь и в глупости надо знать меру. Спрашиваю, где эта больница. Отвечает, что сказать не может, дала слово никому не говорить, а если скажет, то с нею, дескать, случится несчастье. Ну, думаю, хватит с меня! И залепил ей пощечину. Раньше я о таких вещах только читал, никогда в жизни пальцем не тронул женщину. Ужасно скверно мне стало, и я, не сказав больше ни слова, убежал.

Как бы то ни было, а радости больше я не знал. Только об одном и думал: как бы ее поймать на чем-нибудь, чтобы она уже не смогла отделаться дурацкими выдумками. Тут мне повезло. У нее были сберкнижки. По странной привычке она хранила дома свои старые, ни на что уже не годные сберкнижки. Для меня это было настоящей находкой. Вы понимаете, я все-таки финансовый работник. Пришел я к ней, когда ее не было дома, и принялся их тщательно изучать. Цифры, если уметь их читать, могут рассказать много интересного. Я многое выяснил тогда. Иногда дважды в неделю, а иногда два-три раза в месяц в книжках были отмечены вклады, которые она никак не могла бы объяснить. Мой глаз не обманешь, думаю, теперь-то ты мне попалась. Собрал я доказательства и ткнул ей под нос. Это было три дня назад. Она опять в слезы,

но меня это уже не трогало. Доказательства-то вот они, от них не отвертись. Тут она снова принялась твердить свои глупости про больницу. Дескать, она получает там по две тысячи иен комиссионных за каждую женщину, беременную не больше трех недель. Эта больница-де скупает трехнедельных детей в утробе матери, и она подрабатывает там посредничеством. Ужасная гадость, правда? Мне уж и не до подозрений стало, я начал беспокоиться. Может, она свихнулась, думаю. Стал я припоминать. И верно, думаю, иной раз она как будто странная какая-то, словно бы угасшая, что ли... Я не отступался, продолжаю расспрашивать. Тогда она, дрожа от страха, снова повторила, будто если в больнице узнают, что она мне рассказала, ей будет плохо — может быть, даже и убьют. Дескать, эти купленные зародыши вовсе не умирают. В больнице их выращивают в специальных аппаратах, и из них вырастают-де люди, более совершенные, чем нормальные, которые растут в материнской утробе. И наш ребенок, дескать, жив... Как вам это нравится? Даже оторопь берет, верно? Если она говорит правду, думаю, то это должно быть страшное дело. А если ей солгали, то надобно ей как-то открыть глаза. Я стал настаивать, чтобы она проводила меня туда. В конце концов она сдалась и пообещала посоветоваться с кем-то там в больнице...

Ну и вот, получил я ответ. Это было вчера в полдень. Мне позвонили в контору и предложили явиться к семи часам вечера в кафе Р. на Синдзюку. Сказали, что там я встречу сотрудника больницы, который мне все объяснит. Откровенно говоря, я этого не ожидал и очень удивился. Мне и в голову не пришло, что это может быть ловушкой. Я был уверен, что имею дело с сумасшедшими. И сидя в кафе, злясь и досадуя, что меня заставляют так долго ждать, я еще простодушно размышлял, в какую психиатрическую лечебницу я ее завтра отведу. Ага, вы уже, оказывается, знаете, что было дальше.

Да, меня обвели вокруг пальца. Нет-нет, не думайте, что это кто-нибудь из ее мифической больницы. Это, конечно, любовник. Она по бесхарактерности не смогла заставить себя признаться и не знала, что со мной делать. А насчет больницы, скупающей детей в материнской утробе, это она ловко придумала. Но почему она не сказала сразу, что я ей мешаю?.. Я ведь совсем не хочу, чтобы обо мне думали, будто я такой уж неразборчивый. И незачем ей было натравливать на меня своего любовника. Сплошной позор вся эта история...»

17

— Все дело, конечно, в этой женщине, — с досадой сказал Ёрики, мрачно покусывая губу. — Но она признала себя виновной и не собирается отказываться от этого признания.

— Вот это и странно. Впрочем, судя по рассказу убитого, она, наверное, просто невротик.

— А может быть, она действительно чего-нибудь боится?

— Все может быть... Например, боится собственной тени. Или старается выгородить настоящего преступника. Возможно, конечно, что она и впрямь признала себя виновной под угрозой.

— С точки зрения здравого смысла наиболее естественны два первых предположения. Но если учесть мой телефонный разговор, то последнее предположение тоже не лишено оснований.

— Да-да, этот телефонный разговор... — Ёрики изо всех сил сморщился, словно пытаясь выжать из себя какую-то мысль. — Да, любовник, пожалуй, отпадает. Нет... Да, это так... Я с самого начала был против версии о любовнике. Таких добродетельных и скупых мужчин не убивают из-за женщины. В качестве мотива это не годится.

Я усмехнулся.

— Так что же, примем версию о торговле зародышами?

Ёрики с серьезным видом кивнул.

— Я думаю, не обязательно понимать это буквально. Но раз уж мы отвергли версию о любовнике, остается только предположить, что убитый либо знал, либо делал нечто такое, что не устраивало преступника. Причем настолько не устраивало, что тому пришлось прибегнуть к уничтожению человека. Далее, все, что убитый знал и делал, должно так или иначе содержаться в этой его исповеди. А отсюда следует, что версия о торговле трехнедельными зародышами в материнской утробе, при всей ее нелепости, тоже заслуживает самого тщательного рассмотрения.

— Разве что как сказочка.

— Разумеется, как сказочка. Не исключено, что выражения «три недели», «зародыш» и прочие являются каким-то кодом. В общем, как бы то ни было, давайте попробуем на машине женщину. Это нужно сделать в первую очередь.

Я невольно вздыхаю.

— Чувствую, что нам из этой истории не выпутаться.

— Теперь отступать нельзя. Нам остается только идти на пролом.

— Значит, ты считаешь, что все обойдется? Но ведь эта шайка может донести на нас, как только узнает, что мы взялись за женщину. Она и перед убийством не останавливается...

— Если мы будем сидеть сложа руки, подозрение все равно рано или поздно коснется нас. Весь вопрос во времени. Спасение в одном — нанести удар первыми. И в конце концов нам совершенно не обязательно лично встречаться с этой женщиной. Комиссия пошлет за ней машину, ее потихоньку выведут из полиции через задний двор и отвезут в госпиталь. Между прочим, это может быть даже интересно — попытаться предсказать будущее такой особы.



Я потерял точку опоры, потерял всякое представление о перспективе и понятия не имел, что следует предпринять. Тем не менее, подобно неопытному велосипедисту, которому нет покоя, пока он не летит сломя голову все равно куда, я, недолго думая, позвонил члену комиссии Томоясу. Томоясу был очень любезен: нашей работой, по его словам, заинтересовались в высших сферах. Выслушав меня, он благосклонно заметил, что разрешение на стимуляцию трупа можно толковать достаточно широко, чтобы не считаться с арестанткой. Действительно, он тут же получил разрешение начальника Статистического управления. Затем он спросил, как у нас дела. Я уклончиво ответил, что получены интересные результаты, и попросил, чтобы женщину, не упоминая при ней нашу лабораторию Института счетной техники, перевезли из полиции в госпиталь Центральной страховой компании к профессору Ямамото. Томоясу сразу же согласился. Все прошло так гладко, что я ощутил беспокойство. Мне показалось, что это свидетельствует о скорости нашего стремительного падения в бездну...

Ожидая, пока женщину доставят к профессору Ямамото, я дал машине задание вновь проанализировать результаты стимуляции трупа и разделить их на общие и характерные показатели — то есть на показатели, свойственные всем людям вообще, и показатели, характерные только для данного индивидуума. Если она справится, будет очень удобно. Тогда в дальнейшем личность человека можно будет восстанавливать на основе одних только характерных показателей, подключая их к заранее заданным общим. Данных для такой работы у машины было еще недостаточно, и я не очень рассчитывал на успех, но машина справилась неожиданно быстро. Видимо, специфический элемент... переменная в формуле личности куда проще, нежели я предполагал. Почти все специфическое в организме можно с достаточной вероятностью свести к физиологиче-

ским особенностям, да и стандарты биотоков мозга можно получить простым анализом реакций на стимуляцию примерно двадцати участков коры, проведенным на тысяче образцов. Превосходный материал. Прямо сам просится, чтобы его представили в комиссию. Я приказал отпечатать основные положения об анализе характерных показателей. Все поместилось на одной страничке мелким шрифтом. Ряд обычных медицинских терминов и слов из учебника японского языка. Кажется, в этом и заключено то, что мы называем индивидуальностью.

— Послушай, Ёрики-кун, давай приложим к этому листку какой-нибудь пример практического применения и выступим с ним на очередном заседании комиссии?

— Можно, конечно. Только все эти комиссии для нас уже не проблема. Идею предсказания судьбы человека они приняли.

— Ничего подобного. Есть всего-навсего неофициальное согласие.

— Это одно и то же. Вспомните, как к нам относились раньше...

— Да, пожалуй...

Я позвонил профессору Ямамото. Женщину еще не привезли. Когда я рассказал ему о том, что мы составили положения об анализе характерных показателей, он, как и следовало ожидать, не мог скрыть волнения. Я попросил позвать к телефону Кацуко Ваду и продиктовал положения, чтобы она ввела их в диагностическую машину. Ёрики принес кофе. Полоща зудящие от непрерывного курения глотки сладким кофе, мы поговорили о новой титанической машине-предсказателе «МОСКВА-3». Эту машину построили недавно, и о ней ходили самые разнообразные слухи. Видимо, она примет на себя обслуживание систематическими прогнозами стран коммунистического и нейтралистского блоков, занимающих большую половину земного шара. Гигантский монумент их пре-

восходства, которым они так гордятся. Его тень, вероятно, падает далеко за пределы моей лаборатории. Когда я думаю об этом, я ощущаю себя ничтожеством. Там, у них, машина-предсказатель является столпом государства, а у нас это всего лишь крысоловка для поимки какого-то убийцы, да и сам ее создатель мечется вслепую, стараясь отделаться от крысы, вцепившейся ему в ногу.

Но меня все сильнее охватывает беспокойство. Прошло уже много времени, а никто не сообщает, что женщину привезли. Может быть, еще раз позвонить Томоясу?

— Ну а я, сэнсэй, все свои надежды возлагаю на эту крысоловку. Что ни говорите, сама машина избрала для себя это дело. А машина — это логика.

— Да я что же, я ведь не отступаюсь...

От Томоясу сообщили, что из полиции женщину уже отправили. Но в госпитале ее еще нет. Мое беспокойство усугубляется.

Ёрики тоже, по-видимому, волнуется. Он ходит вокруг машины, заглядывает в ее узлы и непрерывно болтает.

— Весь вопрос в системе программирования... Нам не разрешают социальную информацию — пусть, обойдемся. В этом смысле, мне кажется, мы тоже кое-что проглядели... Если бы мы мыслили более широко, то даже из информации о природных явлениях смогли бы вывести предсказание, по важности не уступающее предсказаниям «МОСКВЫ-2». Все дело в том, чтобы оставаться настойчивыми и целеустремленными.

Зажужжал телефон. Ёрики схватил трубку и слушает. Подбородок его выпячивается, взгляд становится тяжелым. Кажется, что-то случилось.

— Что там?

Он мелко трясет головой.

— Умерла...

— Умерла?... Как умерла?..

— Понятия не имею. По-видимому, самоубийство.

— Это точно?

— Говорят, что отравилась...

— Немедленно подключи машину к лаборатории Ямамото. Подвергнем ее труп стимуляции и выясним, кто и где передал ей это снадобье.

— Похоже, что ничего у нас не выйдет, — сказал Ёрики, не снимая руки с телефонной трубки. — Она убила себя каким-то ядом. Мозг ее разрушен, и нормальной реакции ожидать не приходится.

— Плохо дело... — Я смял в пальцах зажженную сигарету и почти не ощутил боли от ожога. Я старался держаться спокойно, но у меня дрожали колени. — Ну ладно, послушаем, что скажет Ямамото-сан.

Я позвонил в госпиталь. Ямамото подтвердил, что никакой надежды нет. Ему редко случалось видеть труп, нервная система которого была бы разрушена столь основательно. По его словам, если яд принят в дозе, превышающей какую-то определенную норму, у самоубийцы начинается рвота, яд не успевает распространиться, и организм усваивает лишь незначительное его количество. Организм же этой женщины буквально пропитан ядом. Так может случиться только при введении яда инъекцией. Однако никаких следов укола на трупе не обнаружено. Да и как она могла ухитриться сделать себе укол, если все время в машине находилась под надзором полицейского? Можно, правда, предположить, что она заранее проглотила какой-нибудь препарат, парализующий рвотный центр, и это дало ей возможность принять такую чудовищную дозу яда. Но это слишком сложно...

Если быть последовательным, то так или иначе приходишь к мысли об убийстве. Я понял, что профессор Ямамото вот-вот заговорит об этой возможности, и спасся бегством. Ни в коем

случае нельзя дать понять, что нам известно больше других. Пока мы не нащупаем противника, надо затаиться.

Едва я положил трубку, как снова зажужжал телефон. В барабанную перепонку ударил твердый, сдержанный голос:

— Алло! Господин Кацуми? Мы вас предупредили по хорошему, а вы что делаете? Теперь пеняйте на себя...

Не дослушав, я сунул трубку Ёрики.

— Это он. Тот самый шантажист.

Ёрики крикнул:

— Алло! Кто это? Кто говорит?

Незнакомец дал отбой.

— Что он сказал? — спросил я.

— Сказал, что полиция теперь взялась за дело по настоящему.

— Тебе этот голос не показался знакомым?

— Знакомым?..

— Вернее, не голос, а интонация. — Что-то шевельнулось в моей памяти и сейчас же исчезло. — Наверное, я вспомню, если услышу еще раз.

— Действительно, мы, возможно, знаем этого человека. Слишком уж быстро он обо всем узнает. Обо всех наших делах.

— Что будем делать?

Хрустя пальцами и озираясь, словно ища вешалку для шляп, Ёрики проговорил:

— Да, кольцо окружения сжимается... И если мы не найдем в нем слабое место...

— Может быть, проще пойти и сообщить в полицию, как все было?

— Как все было? — Ёрики криво усмехнулся и повел плечом. — А как вы докажете им, что все именно так и было?

— Но разве не служит доказательством, например, то, что женщину убили не мы?

— Не пойдет. Пусть даже женщина действительно убита, а не покончила с собой. Но ведь наши Цуда и Кимура не раз наведывались в полицию и так или иначе имели возможность соприкоснуться с ней. Сейчас они вне подозрений, потому что у них бумаги с большими печатями, но едва нас заподозрят в убийстве этого несчастного заведующего финансовым отделом, как на них тут же обратят внимание. «Институт убийц». Хорошо звучит, не правда ли? Отличный заголовок для газет. Слава о нашей методике человекоубийства прогремит по всему миру.

— Это только предположение. То, что ты мне говоришь.

— Да, это своего рода предположение.

— Сейчас полиция будет заниматься вещественными доказательствами. Например, будет доискиваться, откуда взялся яд.

— Сэнсэй... Как вы думаете, почему комиссия так охотно идет нам навстречу? Не потому ли, что они думают, что наша машина поможет раскрыть преступление?.. Мы ведь и сами так считали. Мы полностью полагались на возможности машины. Но противник оказался гораздо сильнее, чем мы воображали. И вы думаете, что полиция легко справится с противником, который оказался сильнее нашей машины?

— Противник?

— Ну конечно! Разве не ясно, что мы имеем дело с настоящим противником?

Я опустил глаза и задержал дыхание. Нет, в сторону всякие эмоции. Нужно слушать Ёрики. И если действительно нам противостоит противник, а не простая цепь случайностей...

Позвонил Цуда. Полиция задержала какого-то субъекта и показала его хозяину табачной лавки. Как только выяснилось, что произошла ошибка, задержанного немедленно отпустили. Хозяин табачной лавки утверждает, что один из преступников — мужчина небольшого роста, видом из бла-

городных, глаза маленькие, с холодным, жестким блеском. Я непроизвольно улыбнулся. Ёрики я это передавать не стал.

— Так кто же это, по-твоему? — спросил я его.

— Мне все больше кажется, что это не частные лица, а какая-то организация.

— Почему?

— Не могу выразить этого словами. Я так чувствую.

Дождь прекратился. Незаметно наступил вечер.

— Восьмой час. Пора отпустить всех по домам.

— Я им позвоню, — сказал Ёрики.

Я кивнул и подошел к окну. Внизу у ворот стоял мужчина с сигаретой во рту. Было темно, и я не мог разглядеть его лица. Вдруг он поднял голову, увидел меня и поспешно ушел. Я резко обернулся.

— Ты хочешь сказать, что это та самая организация, которая занимается скупкой зародышей на третьей неделе беременности?

— Ну вот еще, откуда мне знать... — немного растерянно, как мне показалось, проговорил Ёрики, набирая номер на телефонном диске. — Впрочем, если уж на то пошло, сейчас над проблемами внеутробного выращивания млекопитающих работают во всем мире...

— Внеутробное выращивание?

— Угу...

— Любопытно... Ты что же, только сию минуту об этом вспомнил? Или все ждал случая сказать?

— Да нет, я об этом давно думаю. Просто как-то к слову не приходилось.

— Понятно. С твоим образом мышления ничего иного и быть не могло. Но я тебе вот что скажу. Все это плод твоего воображения. И будет лучше, если ты выбросишь это из головы.

— Почему?

— Потому что это мешает тебе видеть факты.

— Да нет же...

— Довольно об этом. Не отвлекайся, звони.

Но Ёрики не стал звонить.

— А я вот сам видел крыс с жабрами. Самые настоящие земноводные, только млекопитающие.

— Ерунда!

— Нет, правда. Говорят, они там научились в ходе внеутробного выращивания заменять наследственное развитие индивидуальным. Это действительно возможно. Говорят даже, что выведены земноводные собаки, но их мне, правда, видеть не приходилось. Пока у них не получается с травоядными животными. Но хищники и всеядные сравнительно...

— И где эти животные находятся?

— Неподалеку от Токио. В лабораториях старшего брата одного вашего знакомого, сэнсэй...

— Кто это?..

— Брат господина Ямамото из госпиталя Центральной страховой компании. А вы и не знали?.. Жаль, что сейчас поздно уже. Но завтра я бы мог свозить вас туда. Я, конечно, не думаю, чтобы они занимались и человеческими зародышами, но, может быть, нам удастся напасть там на какой-нибудь след. Конечно, это окольный путь, но ведь прямого пути к...

— Хватит с меня! Я не желаю играть в сыщиков. Вон там, у ворот, торчит какой-то субъект и следит за нами. Если не сыщик, то наверняка наемный убийца.

— Вы это серьезно?

— Пойди и сам посмотри.

— Я позвоню вахтеру, пусть он проверит.

— Позвони заодно и в полицию.

— Сказать, что нас подкарауливает наемный убийца?

— Скажи все, что тебе угодно... — Я встал, переобулся и взял портфель. — Я иду домой. Ты тоже иди, когда всех обзвонишь.

Я был зол. Я даже не знаю, на кого именно. Мне так хотелось размотать этот дурацкий клубок, но я понятия не имел, с чего начинать. И дело не в том, что в руках у меня не было нитей, напротив, нитей было слишком много. Все они переплетались и обрывали друг друга, и совершенно непонятно было, какой из них лучше следовать.

По дороге домой я немного боялся, но, кажется, за мной никто не следил. Жена услышала, как я резко рванул калитку, и поспешила мне навстречу. Я понял, что она ждала моего возвращения. И действительно, не успел я в передней снять туфли, как она вдруг заговорила низким, хрипловатым голосом:

— Что все это значит? Этот госпиталь... и вообще все...

На ней было выходное платье. То ли она тоже только что вернулась, то ли собиралась куда-то идти. Свет из комнаты пронизывал встрепанные волосы на ее голове. Она была сильно возбуждена и раздражена чем-то. Я не понимал, в чем дело. При слове «госпиталь» я вспомнил только счетную лабораторию в госпитале Центральной страховой компании, где разыгрался акт из дела об убийстве. Откуда жена узнала об этом? И почему она так этим заинтересовалась?

— Как это «что значит»?

— Как ты можешь?.. — прошептала жена сдавленным, полным упрека голосом, и я остановился как вкопанный.

Из гостиной под аккомпанемент телевизионной музыки донесся пронзительный прерывистый смех нашего сына Есио. Я ждал, что скажет жена. У меня вдруг возникла нелепая мысль: а вдруг она обнаружила в работе счетной лаборатории господина Ямамото какое-то упущение, которого я не заметил? Но жена, по-видимому, ждала, что скажу я.

Некоторое время тянулось неестественное молчание. Наконец жена проговорила:

— Я сделала так, как ты хотел. Но я вижу, ты забыл даже, о чем звонил им. Не ожидала от тебя такого легкомыслия... Достаточно того, что ты не удосужился приехать за мной.

— Звонил?

Жена подняла голову. На лице ее был испуг.

— А разве нет?..

— Подожди. О чем я звонил?

У нее мелко задрожал подбородок.

— Они сказали, что ты им позвонил... Ведь ты звонил, правда?

Она была в смятении. Видимо, упреки, которыми она только что собиралась меня осыпать, потеряли под собой почву. Вошло что-то немыслимое, неожиданное и разом погасило ее раздражение. И вот что я понял из ее сбивчивых, взволнованных слов.

Около трех часов, едва Есио вернулся из школы, ей позвонил врач из клиники женских болезней, где она состояла под наблюдением. Это маленькая лечебница в пяти минутах езды на автобусе от нас, ее директор — мой старый приятель. (Тут я вспомнил. Несколько дней назад жену предупредили, что она забеременела, и она обратилась ко мне за советом, делать ли ей аборт. Однажды у нее случилась внематочная беременность, и с тех пор она очень остро переживает такие вещи. Кажется, я так ничего и не ответил ей, это было как раз когда нас загнали в тупик по вопросу о машине.) Содержание телефонного разговора сводилось к тому, что ее пригласили немедленно приехать в клинику, где ей по моей просьбе сегодня же сделают операцию. Жена заколебалась. Кажется, она даже ощутила чувство протеста. Она позвонила ко мне, но меня на месте не оказалось. (В три часа я сидел у члена комиссии Томоясу и вел переговоры о передаче нам трупа. В лаборатории все были, конечно, как в тумане и, видимо, забыли потом передать мне, что звонила жена.) Волей-неволей она отправилась в клинику.

— Значит, аборт ты в конце концов сделала? — сказал я.

Я нарочно говорил недовольным тоном, стремясь, видимо, инстинктивно избавиться от нарастающего беспокойства.

— Ну да, — сердито ответила жена. — Что мне оставалось делать?..

Мы поднимаемся на второй этаж в мой кабинет, она идет позади меня. «Добрый вечер, папа!» — привычно кричит из коридора мне вслед Есио.

— Я все же решила на всякий случай посоветоваться с доктором... Но его в поликлинике не было. Сам же вызвал и куда-то уехал. Я разозлилась и хотела тут же вернуться домой. Но едва я вышла за дверь, как меня нагнала какая-то женщина, видимо медсестра, с большой такой родинкой на правой стороне подбородка, и сказала, что доктор скоро вернется. Она предложила мне подождать в приемной и дала принять какие-то пилюли. Горькие пилюли в красной обертке... Кажется, в красных обертках — это сильнодействующие лекарства. Эти пилюли, во всяком случае, действовали сильно... Спустя некоторое время я впала в странное оцепенение. Как будто все тело уснуло, остались только глаза и уши... Потом... Я все помню, но как-то словно в тумане, словно это было не со мной. Кажется, меня вывели, поддерживая с обеих сторон, усадили в машину и повезли в другую больницу... Это был госпиталь с темными длинными коридорами... Там был доктор... Это был, правда, совсем другой доктор, но ему все уже было известно, и он быстро сделал мне операцию. Все шло как на конвейере. Мне не дали времени подумать, сообразить... И еще не знаю, какой в этом смысл, но перед уходом мне вручили какую-то несуразно большую сумму. Сказали, что это сдача...

— Сдача?

— Да. Ты ведь заплатил заранее...



— Сколько тебе дали? — сказал я, невольно поднимаясь с места.

— Семь тысяч иен... Не знаю уж, сколько они посчитали за операцию.

Я потянулся за сигаретой и опрокинул стакан с водой, стоявший на столе со вчерашнего вечера.

— Ты была, кажется, на третьей неделе?

— Да... Примерно так.

Вода подтекает под стопку книг. «Вытри, пожалуйста». Семь тысяч иен... Три недели... От шеи по спине растекается огромная тяжесть, словно я карабкаюсь в гору с трехпудовым грузом на плечах. Жена озадаченно смотрит на меня. Я отвожу взгляд и, накладывая на лужу старую газету, спрашиваю:

— Что это за госпиталь? Как он называется?

— Не знаю. За мной прислали машину и на ней же отправили обратно.

— Ну хотя бы где он, ты не помнишь?

— Право... Где-то очень далеко... Совсем на юге как будто, где-то чуть ли не у моря. Я в дороге все время дремала... — Она помолчала и добавила, словно пытаясь: — Но ты-то, конечно, знаешь о нем?

Я ничего не ответил. Да, я знаю, только в совсем другом смысле. Как бы там ни было, ничего говорить нельзя. Любое мое слово повлечет новые вопросы, и мне придется на них отвечать. Волнение мое улеглось, и я почувствовал, как во мне поднимается жесткое упрямство, раскаленное, как железный лист, под которым бьется жаркое пламя. Я еще не мог сказать себе, что все понял. Вернее, я не понимал причины, по которым меня все глубже и глубже затягивают в омут. Но моя жена вдруг оказалась в этой ловушке вместе со мной, и это было настолько оскорбительно, что меня охватила ярость, затмившая все перед моими глазами.

Я спускаюсь на первый этаж и подхожу к телефону. Жена хотела было сказать Есио, чтобы он выключил телевизор, но я остановил ее. Не хватает мне еще впутывать жену в эти дела, в которых я сам брожу на ощупь, как слепой.

Прежде всего я позвонил в клинику своему приятелю и спросил адрес гинеколога, курирующего жену. Мне дали его телефон. Врач оказался дома. Мои вопросы привели его в замешательство. Разумеется, он ничего не знал и не вызывал мою жену. Да он и не мог знать, сказал он, поскольку в указанное время совершал обход больных на дому, начатый еще вчера. На всякий случай я спросил о медсестре, угощавшей жену пилюлями. Как я и ожидал, он ответил, что в клинике нет медсестры с родинкой на подбородке. Мои страхи оправдывались: дело принимало плохой оборот.

Набирая номер лаборатории, я чувствовал дурноту, словно сердце мое провалилось и бьется в желудке. Дурнота эта возникала из ощущения, что ход событий, в которые я так внезапно оказался вовлеченным, совершенно противоречил всем мыслимым законам природы, согласно которым явления обыкновенно развиваются через цепь случайностей.

Семь тысяч иен... Трехнедельные зародыши... Внеутробное выращивание... Крысы с жабрами... Земноводные млекопитающие...

Другое дело, если бы это была радиопостановка во многих сериях. Но случайности потому и случайности, что они не имеют друг с другом ничего общего. Смерть заведующего финансовым отделом... Подозрение... Смерть женщины... Таинственные телефонные звонки... Торговля зародышами... Ловушка, в которую попала жена... Цепная реакция, начавшаяся с очевидной случайности, развернулась в прочную цепь, и эта цепь все туже заматывается вокруг моей шеи. И все же

я никак не могу нащупать ни мотивов, ни целей, как будто меня преследуют умалишенные. Мой рационалистический дух не в состоянии выдержать всего этого.

По телефону отозвался дежурный вахтер.

— Горит ли еще свет в лаборатории? — спросил я.

Вахтер шумно прочистил горло, откашлялся и ответил, что свет не горит и никого там, наверное, уже нет. Я проглотил немного хлеба с сыром, выпил пива и стал собираться.

Жена растерянно глядела на меня, почесывая правой рукой локоть левой, сжатой в кулак под подбородком. Вероятно, она думала, что я просто сержусь на путаницу в клинике, и испытывала чувство вины передо мной.

— Может быть, не стоит? — нерешительно сказала она. — Ты ведь устал, наверное...

— Эти семь тысяч тебе вручили в конверте?

— Нет, без конверта.

Она сделала движение, чтобы пойти за деньгами, но я остановил ее. Затем я обулся.

— Когда же ты освободишься? — сказала она. — Я все хочу поговорить с тобой о Есио. Учитель сообщил мне, что он пропускает уроки.

— Ничего страшного. Он еще ребенок.

— Может быть, поедем послезавтра, в воскресенье, на море?

— Если завтра все уладится с комиссией.

— Есио ждет не дождется...

Я раздавил в своей душе что-то хрупкое, как яичная скорлупа, и молча вышел из дому. Нет, я не занимался самоистязанием. Просто эти скорлупки действительно слишком хрупкие. Даже если я пощажу их, они будут раздавлены кем-нибудь посторонним.

Едва я вышел, как кто-то шарахнулся от ворот, перебежал улицу и скрылся в переулке напротив. Я пошел обычной своей



дорогой к трамвайной линии. Кто-то сейчас же вынырнул из переулка и как ни в чем не бывало последовал за мной. Вероятно, тот самый субъект, что давеча слонялся возле лаборатории. Я резко повернулся и двинулся ему навстречу. Он опешил, тоже повернулся и бросился бежать обратно в переулок. Преследователи из романов, которые мне приходилось читать, так никогда не поступали. Либо он неопытный новичок, либо нарочно старается обратить на себя внимание. Я пустился в погоню.

Я был проворнее его. Давно мне уже не приходилось бегать, но сказались, видимо, тренировки студенческих лет. Кроме того, на следующем перекрестке он на секунду замешкался, не зная, куда повернуть. Пробежав метров сто по мостовой, засыпанной щебнем, я настиг его и схватил за руку. Он рванулся от меня, оступился и упал на одно колено. Я чуть не повалился тоже, но удержался на ногах, не выпуская его. Мы оба пыхтели и задыхались, не произнося ни слова, изо всех сил стараясь одолеть друг друга. В беге превосходство было на моей стороне, но в борьбе он был слишком для меня гибок и подвижен. Он вдруг поддался, выгнул спину и, когда я пошатнулся, ударил меня в живот головой, пахнувшей бриллиантином. У меня перехватило дыхание, и я упал, словно придавленный свинцовой плитой.

Придя в себя, я еще слышал вдали убегающие шаги. Значит, без сознания я пробыл недолго, несколько секунд. Но у меня уже не было ни духа, ни энергии бежать за ним. Тошный приторный запах бриллиантина пристал к моему телу. Я встал и сейчас же почувствовал острую боль, словно у меня были сломаны нижние ребра. Я присел на корточки, и меня вырвало.

Потом я привел себя в порядок, вышел на трамвайную линию и поймал такси. Возле дома Ёрики в Таката-но-Баба я велел остановиться и ждать и подошел к привратнику. Ёрики дома не было. Нет, он не ушел, он еще не возвращался с работы. Я вернулся в такси и поехал в лабораторию.

Вахтер, голый до пояса, с полотенцем на шее, при виде меня страшно смутился.

— Как же так, — сказал я, — смотри, в лаборатории свет...

— В самом деле... — растерянно бормотал он. — Надо туда позвонить... Верно, пока я купался на заднем дворе. Сейчас, подождите минуточку...

Я оставил его и вошел в здание. Меня обступила непроглядная дрожащая тьма, словно я очутился в ящике из фольги, покрытой жирной сажой. И полная тишина. Но в машинном зале кто-то был — через дверную щель сочился свет. Ключи имелись только у меня и у Ёрики, и еще один запасной ключ хранился у вахтера. Либо Ёрики так и не покидал лабораторию (тогда вахтер зачем-то лгал мне), либо он что-то забыл и вернулся. Последнее предположение при обычных обстоятельствах было бы, наверное, вполне естественным. Итак, я столкнулся еще с одной случайностью. Но ведь я был почему-то совершенно твердо уверен, что непременно захвачу здесь Ёрики. Не могу объяснить — почему, но я это чувствовал. Ёрики тоже скажет, что пришел сюда в надежде встретить меня, и при этом, вероятно, дружелюбно улыбнется мне. Но у меня-то вряд ли хватит смелости улыбнуться ему в ответ. Мне не хочется так думать, но я не могу больше воспринимать Ёрики просто и без оглядки, как раньше. Нелепо, конечно, полагать, будто он заодно с противником, но тем не менее... Объектом эксперимента мы выбрали убитого заведующего финансовым отделом, и наш выбор действительно был чисто случайным. Но разве не странно, что всю эту похожую на дурную выдумку цепь случайностей Ёрики воспринимает так спокойно и деловито? Во всяком случае, он всегда знал больше меня и видел на шаг дальше. (Это он, например, выдвинул диковинную историю о земноводных млекопитающих и тем самым подкрепил версию о торговле зародышами,

казавшуюся до того болезненной фантазией бедного бухгалтера.) Он тогда, помнится, хотел рассказать еще что-то, но я заупрямился, не стал его слушать и ушел домой. А теперь не время упрячиться. Мне во что бы то ни стало надо понять, что происходит.

20

Прижав ладонью ноющее ребро, я повернул ручку и резко распахнул дверь. В лицо ударил ледяной воздух. Это было странно, но еще больше я удивился при виде женщины, стоявшей с застывшей улыбкой лицом ко мне возле пульта машины. Кацуко Вада! И она улыбалась. Но ее улыбка сейчас же исчезла и сменилась выражением изумления и испуга. Было очевидно, что она ожидала увидеть не меня, а кого-то другого.

— Это ты?..

— Ох, как я испугалась!

— Это я испугался. Что ты здесь делаешь так поздно?

Переведя дыхание, она легко повернулась на пятках и села на стул возле пульта. Я подумал, что у нее очень живое и выразительное лицо, о чем она, может быть, и сама знает, хотя это не всегда заметно.

— Простите, — сказала она. — Мы с Ёрики договорились здесь встретиться.

— Зачем же извиняться? Но вы договорились встретиться именно здесь?

— Видимо, мы как-то разошлись с ним... — Она покачала запрокинутым лицом. — Мы уже давно хотели вам открыться, сэнсэй...

Все реально. Все чудовищно реально. Я невольно улыбаюсь.

— Ну хорошо, хорошо, не волнуйся... Значит, он должен был прийти сюда?

— Нет, Ёрики должен был здесь ждать меня. Я пришла, но здесь никого не оказалось. Тогда я вернулась домой, потом к нему на квартиру, но его не было и там, и я...

Внезапно меня охватил ужас.

— Но ведь сюда только что звонил вахтер!

— Да, но... — Видимо, она не поняла, почему у меня изменился голос, и смущенно улыбнулась. — Он сказал, что пришел сэнсэй, а я подумала, что речь идет о Ёрики...

Ну конечно же, Ёрики для вахтера тоже сэнсэй.

— Странно, что в зале так холодно. Как будто на машине только что работали.

— В общем я решила, что он вот-вот придет, и осталась ждать, — сказала Вада, щуря глаза, словно от яркого света.

Все совершенно логично. Никаких оснований для подозрений. Просто у меня слишком напряжены нервы. Растерянность вахтера тоже объясняется очень просто: он помогает этим двоим встречаться. Любовь. Самая обыденная история на свете. Можно с облегчением вздохнуть. Под ногами снова твердая, надежная почва. Нет чувства более основательного, нежели ощущение непрерывности обыденного.

— А я и не замечал, что у вас с Ёрики зашло так далеко.

— Просто мне не хотелось увольняться отсюда.

— Зачем же увольняться? Работали бы вместе...

— Это было бы сложно... Есть разные причины...

— Ну да, понятно...

Я понятия не имел, что мне тут понятно. Но на душе у меня стало легко, и мне хотелось смеяться.

— Между прочим, сэнсэй, — сказала Вада, — что бы вы сказали, если бы я попросила вас сделать меня объектом эксперимента? Пусть машина предскажет мне будущее.

— Это было бы интересно.

Действительно, мы были бы тогда избавлены от многих неприятностей.

— Я серьезно. — Она медленно провела кончиками длинных пальцев по краю пульта. — Я хочу знать, почему человек во что бы то ни стало должен жить.

— Вот будешь жить вдвоем и увидишь, как это просто.

— Что значит вдвоем? Вы имеете в виду брак?

— Ну да, все это. Люди живут не потому, что могут объяснить такие вещи. Напротив, они задумываются над такими вещами именно потому, что живут.

— Все говорят так. А все же интересно, захочется ли жить, если действительно узнаешь свое будущее.

— И ты хочешь подвергнуться эксперименту специально, чтобы испытать это? Странное рассуждение.

— А все-таки, сэнсэй?..

— Что «все-таки»?

— Если человек выносит жизнь не по невежеству своему, а потому, что жизнь сама по себе является таким важным делом, то как мы смеем допускать аборты?

Я глотнул воздух и съежился. У меня даже что-то щелкнуло за ушами. Но Вада произнесла это таким неподдельно наивным тоном... Нет, это, конечно, случайное совпадение.

— Существо, лишенное сознания, нельзя приравнивать к человеку.

— Юридически это так, согласна, — сказала Вада ясным, честным голосом. — У нас разрешается убивать ребенка в материнской утробе хоть на девятом месяце. Но ведь детей, родившихся преждевременно, убивать запрещено, считается, что это излишняя роскошь. Не из бедности ли воображения мы удовлетворяемся рассуждением о том, что можно приравнять к человеку, а что нельзя?

— Так можно дойти до абсурда... Если мы продолжим твою мысль, то нам придется объявить убийцами всех женщин и мужчин, которые имеют физическую возможность зачать ребенка, но уклоняются от этого... — Я с трудом выдавил

из себя смешок. — Вот мы с тобой тратим сейчас время на пустую болтовню — по-твоему, значит, мы тоже совершаем убийство?

— Возможно. — Вада выпрямилась на стуле и прямо взглянула на меня.

— И по-твоему, нам следовало бы принять меры к тому, чтобы спасти этого ребенка?

— Да, возможно. — Она даже не улыбнулась.

Я смутился, сунул в рот сигарету и отошел к окну. Я странно себя чувствовал: мне было очень жарко, а ноги словно одеревенели.

— Ты очень опасная женщина...

Я услышал, как Вада поднялась со стула. Я напряженно ждал чего-то. Потом молчание стало невыносимым, и я обернулся. Она стояла за моей спиной, и я никогда не видел у нее такого жесткого лица. Пока я искал слова, чтобы сказать что-нибудь, она заговорила:

— Ответьте мне ясно и определенно, сэнсэй. Я буду судить вас.

Я рассмеялся. Рассмеялся бессмысленно. Она тоже слегка улыбнулась.

— Ты действительно странная девушка, — сказал я.

— Идет суд. — Лицо ее снова стало серьезным. — Итак, сэнсэй, вы не считаете убийство ребенка в материнской утробе преступлением?

— Когда размышляешь над такими вещами, легко дойти до абсурда.

— Ну что же, сэнсэй, я вижу, что у вас не хватит смелости заглянуть через машину в свое будущее.

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего. Достаточно.

Остановка была такой резкой, что у меня словно по инерции душа выскочила из тела. Вада стояла, устремив к потолку

свои слегка выпуклые глаза, и скорбно покачивала головой. Если бы не ее простодушный вид, я бы заорал от ужаса.

Затем она как ни в чем не бывало взглянула на часы и вздохнула. Я тоже машинально поглядел на часы. Было пять минут десятого.

— Однако уже поздно... — сказала она. — Я, пожалуй, пойду домой.

Она улыбнулась мне исподлобья, плавно и стремительно повернулась кругом, и ее словно вынесло из зала. Это было так неожиданно, что я растерялся. Я стоял у окна и видел, как она попрощалась с вахтером и скрылась за воротами.

Я напряг ноги и изо всех сил уперся ими в пол. Этим я показал себе, что впредь никому больше не дам надо мной издеваться. Вряд ли в странном поведении Вады был какой-нибудь тайный умысел. Если смотреть на вещи просто, то ничего особенного, по-видимому, не произошло. И, конечно, я заподозрил Ваду и сам страшно расстроился просто потому, что меня одолевают свои проблемы. Надо успокоиться и смотреть на вещи просто. Отделить важное от второстепенного и последовательно установить, что в ближайшее время необходимо предпринять.

Я подошел к столу, взял лист бумаги и начертил большую окружность. Затем стал вписывать в нее окружность поменьше, но у меня сломался карандаш. Замкнуть малую окружность я не смог.

21

Я несколько раз порывался уйти, но не решался и продолжал терпеливо ждать. Если Ёрики узнает, что я здесь, он непременно придет. Странно, что он все не приходит. А может быть, он знает, но просто хочет подразнить меня? Нет, не стоит раздражаться пустыми предположениями.

Двадцать минут десятого... Без пятнадцати десять... Без десяти... Наконец в десять минут одиннадцатого он позвонил по телефону.

— Сэнсэй, это вы? Я только что встретил Ваду... — Нет, голос у него не был робким и виноватым. Наоборот, он говорил оживленно и даже весело. — ...Да, мне хотелось бы вам кое-что показать. Может быть, дома удобнее? Ага, ну хорошо, через пять минут буду в лаборатории.

Я глядел в окно и ждал, стараясь подготовить себя к этой встрече. Придумывал и отвергал слова, которые скажу Ёрики. За окном расстился ночной город. Мне показалось, что в одном месте между небом и крышами натянута тонкая белесая пленка. Ну да, это ведь станция пригородной электрички. Волнуются, сталкиваясь, бесчисленные судьбы и жизни, а когда смотришь вот так, издали, то представляется, будто там тишина и спокойствие. С горной вершины даже бурное море кажется гладкой равниной. В далеких пейзажах всегда царит порядок. И самое фантастическое происшествие не может выйти за рамки порядка, присущего далекому пейзажу...

У ворот остановилось такси, из него выскочил Ёрики. Взглянул на окно, помахал рукой. Прошло ровно пять минут.

— Совсем мы растеряли друг друга, — сказал он, входя в зал.

— Садись. — Я указал ему стул, на котором сидела Вада, а сам остался стоять так, чтобы свет падал на меня сзади. — Долго мне пришлось ждать. Ты что, разминутся с Вадой?

— Нет. Откровенно говоря, я как ушел, так и не возвращался сюда. Меня задержали...

— Ладно, это неважно... — прервал я его, стараясь говорить спокойно. — Пусть будет так. Дело вот в чем. Мне нужно поговорить с тобой, и я хочу, чтобы наш разговор фиксировала машина.



— То есть?.. — Ёрики вопросительно склонил голову. Ни тени смущения не было на его лице.

— Я хотел бы еще раз тщательно обговорить все, что произошло с сегодняшнего утра.

— Это было бы здорово... — Он закивал и уселся поудобнее. — Я уже пытался как-то проанализировать эти события и очень сожалел, что вы, сэнсэй, не пожелали этим заняться. Помнится, вы перед уходом даже рассердились на меня как будто.

— Да... Что, бишь, я тогда сказал?

— Что с вас довольно и что вы не желаете играть в сыщиков.

— Действительно. Итак, продолжим этот разговор. Включи вход.

Ёрики нагнулся над входным устройством, затем удивленно произнес:

— Да она же включена! И никто не заметил, потому что перегорела сигнальная лампа. Ну и ну, хороши же мы с вами!..

— Что на входе?

— Микрофон.

— Значит, она фиксировала все, что здесь говорилось?

— Видимо, да... — Он откинул кожух и запустил ловкие пальцы в узлы металлической нервной системы. — Ага, вот оно что... То-то Вада так уверена, что я был здесь до ее прихода. Я отрицал, но она и слушать не хотела. «Тогда, — говорит, — почему же в зале так холодно?» Меня это, конечно, тоже озадачило. А теперь все понятно.

Опять он меня обвел. Я даже не знаю, что ощутил острее: разочарование или подозрение, что это тоже было подстроено. Когда он сказал, что не возвращался сюда, я уже торжествовал в душе. В мое отсутствие никто, кроме него, машину включить не мог, и холод в зале выдавал его с головой. А теперь все сорвалось. Ну что же, ничего не поделаешь. Вешать нос по этому поводу, во всяком случае, не стоит.

— Хорошо, — сказал я. — Начнем с общего обзора событий.

— Прошу вас. Я, со своей стороны, буду вносить поправки и уточнения.

— Мы выбрали объект эксперимента для представления комиссии по программированию. Наш выбор был совершенно случаен. И вдруг оказалось, что этот человек кем-то убит... Поскольку в момент убийства мы находились вблизи от места преступления, возникла возможность, что подозрение падет на нас.

— Вернее, на меня, — поправил Ёрики.

— Арестовали любовницу убитого, но полиция, кажется, этим не удовлетворилась... Впрочем, не знаю, полиция ли... Возможно, что мысль о поиске в другом направлении внушили полиции, скажем, соучастники убийцы с целью нас припугнуть.

— Согласен.

— Как бы то ни было, мы оказались в ловушке. Мы знали, что надо что-то предпринимать, иначе полиция рано или поздно доберется до нас. И чтобы вызвать на бой истинного убийцу, мы решились на стимуляцию трупа убитого. Помимо всего прочего, это можно было бы представить в случае успеха как первый эксперимент с блестящими результатами. Но мы выяснили только, что убийца не женщина, а также выслушали диковинную сказку о торговле человеческими зародышами. Приложением к эксперименту явился телефонный звонок от какого-то шантажиста.

— Следует обратить особое внимание на то, как быстро этот субъект получает информацию...

— Да. И на то, что голос его мне определенно знаком...

— Вы так и не вспомнили?

— Нет. Кажется, вот-вот вспомню, но не могу. Во всяком случае, это человек из нашего окружения.

— Ивдобавок, — подхватил Ёрики, — он в какой-то степени осведомлен о нашем механическом предсказателе. Именно поэтому, едва мы решили подвергнуть анализу любовницу убитого, он сразу почуял опасность и убил ее, прежде чем она попала к нам в руки... Но все это не объясняет, каким образом смерть совершенно случайного человека повлекла за собой события, связанные с нашими делами.

— Что ж, никто нам не мешает рассматривать это как случайность. В таком случае получается так, что противник загнал нас в ловушку с целью оградить себя от неприятностей. Но могут существовать еще другие, неизвестные пока нам, звенья этой цепи. И тогда ловушка приобретает, возможно, гораздо более серьезный смысл.

— Что вы имеете в виду?

— То, что кто-то поставил перед собой цель дискредитировать машину-предсказатель.

— Не понимаю.

— Ладно, пойдем дальше... Как бы там ни было, в руках у нас не осталось ни одной нити.

— На первый взгляд это так.

— Впрочем, этого им показалось мало... Мне снова позвонил шантажист; ко мне приставили для слежки какого-то субъекта. В то же время ты поведал мне любопытную историю о подводных млекопитающих, и я уже оставил всякую надежду что-либо понять...

— Я как раз хотел...

— Минутку, дай мне закончить... Но, вернувшись домой, я узнал поразительную вещь. Оказывается, пока меня не было, мою жену обманом заманили в какой-то госпиталь и там насильно сделали ей аборт.

— Что вы говорите!

— Жена была беременна на третьей неделе. И когда она уезжала, ей выплатили семь тысяч иен... Да подожди же... Это,

разумеется, не заставит меня поверить в версию о торговле зародышами в материнской утробе. Возможно, шантаж по телефону они сочли недостаточным и прибегли к более внушительной форме устрашения. Не знаю. Недаром говорят, что хитрый мошенник старается укрыть большую ложь в куче мелких. Может быть, этими семью тысячами они стараются приковать мое внимание к самому бессмысленному месту в исповеди убитого... Нет, дай мне договорить до конца... с целью оглушить меня психологически. Хотя, впрочем, не все ли равно, какая у них цель. Самое важное здесь то, что мерзавец, организовавший весь этот гнусный заговор, отлично знал результаты стимуляции. Не так ли? Разве я мог бы воспринять происшествие с женой как угрозу, если бы в исповеди убитого не говорилось о торговле зародышами, о семи тысячах иен, о трехнедельном сроке? Этот субъект знал все. Так?... Так. Но содержание исповеди было известно только двоим. Мне и тебе. Ты не станешь отрицать этого?

— Да, я признаю это, — произнес Ёрики.

Он сидел неподвижно, немного побледнев и опустив глаза.

— Еще бы ты не признавал. Ведь все теперь понятно.

— Что понятно?

Я встал перед ним и, протянув руку к его лицу, медленно, слово за словом выдавил из себя:

— То... что убийца... ты!

Против ожиданий Ёрики не сник и не вспылал. Он не мог скрыть нервного напряжения, но голос его был холоден и спокоен. Глядя мне прямо в глаза, он сказал:

— А как же с мотивом?

— Если ты полагаешь, что я не ожидал такого возражения, то ты глубоко ошибаешься. Если ты убийца, мотив обнаружится сам собой. Короче говоря, убитый только для меня был случайным человеком, ты же знал его и имел в виду с самого начала. В тот день у нас не было определенной цели, к тому же мы сильно устали. Завести меня в кафе и обратить мое внимание

на этого человека, которого заманили туда через любовницу, было не так уж трудно. И ты проделал это весьма умело. Ты заманил меня в ловушку, запугал полицией, потом ты сделал вид, будто помогаешь искать преступника, и этим отвел от себя мои подозрения. Ты все предусмотрел, даже мелочи. И теперь тебе, наверное, досадно, что в твоих замыслах оказалась прореха... Слишком уж ты полагался на этот самый вопрос о мотиве...

— А если бы этой прорехи не оказалось, что тогда?

— Ну, расчет твой ясен. Ты ожидал, что мне, загнанному и запуганному, останется только во всеуслышание солгать, будто машина подтвердила виновность этой женщины-самоубийцы.

— Любопытный силлогизм... И что же вы собираетесь теперь предпринять, сэнсэй?

— Я вынужден просить тебя пойти куда следует.

— Хотя бы и без мотива?

— Об этом ты, наверное, будешь советоваться с адвокатами. Впрочем, может случиться и так, что тебя в законном порядке подвергнут испытанию на нашей машине... — У меня вдруг иссякли силы, и я ощутил в себе страшную пустоту. — Подумать только, сколько ты глупостей натворил!.. Ну разве можно так? Ведь ты... Я всегда возлагал на тебя такие надежды... Кто бы мог подумать!.. Это просто ужасно...

— Что здесь говорила Вада?

— Вада? Ах да, Вада... Ничего особенного она не говорила... Хотя... Да, кажется, она беспокоилась о тебе... Ну вот, ты и ее теперь сделал несчастной... Да что толку жалеть, ничего уже не исправишь...

Ёрики глубоко вздохнул и отрицательно покачал головой.

— Очень любопытный был силлогизм. Совершенно в вашем духе, сэнсэй. Логичный и строгий. Правда, есть в нем одна ошибка — тоже совершенно в вашем духе.

— Ошибка?

— Ну, пусть не ошибка. Назовем ее слепой точкой.

— К чему эти увертки? Ведь все зафиксировано машиной.

— А действительно, почему бы нам не обратиться за помощью к машине? Вот она и рассудит нас. — Ёрики сел за пульт и, манипулируя кнопками, произнес в микрофон: — Готовность к суждению.

Зеленая лампочка — сигнал готовности.

— Определить наличие или отсутствие ошибки в указанном силлогизме.

Красная лампочка — сигнал наличия ошибки.

Ёрики переключил выходное устройство на динамик и скомандовал:

— Указать, в чем ошибка.

Машина немедленно отозвалась:

— Имеет место логический скачок в изначальном предположении. При наличии информации о торговле зародышами человек должен знать заранее, что этот вопрос будет отражен в результате стимуляции трупа.

Я вскрикнул и схватил Ёрики за руку.

— Это он! Тот самый голос! Я узнал его!

— Но, сэнсэй, это же ваш голос.

Ах, черт!.. Ну конечно... Когда машину озвучивали, ей придали мой голос. И именно этот голос говорил тогда со мной по телефону, сомнений быть не может. Не мудрено, что он показался мне знакомым. Вероятно, кто-то снял его с машины и записал на пленку! Я торжествовал. Я тряс и дергал руку Ёрики и кричал: «Вот она, шкура оборотня! Ах ты, хитрец, ах ты, бестия этакая! Что, не выгорело? Мерзость мерзостью и наказывается!»

Ёрики не пытался вырваться и стоял неподвижно, глядя в сторону. Потом, когда я задохнулся и замолчал, он тихо произнес:

— Но это же не доказательство. Голос не так индивидуален, как лицо...

У меня сперло дыхание, и на глаза выступили слезы. Я отпустил руку Ёрики, чтобы вытереть их. Ёрики отошел и, загорюдившись стулом, сказал:

— Итак, как утверждает машина, все ваши рассуждения, сэнсэй, построены на слепой точке: на твердом убеждении, что торговля зародышами есть не что иное, как фантазия убитого. Стоит усомниться в этом, и весь ваш блестящий силлогизм рассыпается в прах... Я, конечно, тоже не знаю ничего конкретного. И пусть это окольный путь, но, уж коль скоро мы не имеем возможности вести поиск открыто, на виду у полиции, почему бы нам не испробовать и эту версию? Это, конечно, всего лишь рабочая гипотеза... Но давайте предположим на время, что торговля зародышами действительно имеет место. Выводы могут оказаться не менее интересными, чем следствия из версии о том, будто я убийца. Вот, например, из недавнего бюллетеня министерства здравоохранения явствует, что число аборт в стране примерно равно числу новорожденных и составляет в год около двух миллионов. Таким образом, если торговля зародышами существует, она может осуществляться в широких масштабах и достаточно организовано. И следовательно, достаточно велика вероятность того, что случайный объект может оказаться так или иначе связанным с этой организацией.

— Все это глупости. Сказки для бездельников.

Ёрики закусил губу, упрямо насупился и достал из кармана фотографию величиной с почтовую открытку. Он спокойно положил ее на сиденье стула и сказал:

— Вот, взгляните, пожалуйста. Это фото подводной собаки... Честно говоря, я нынче вечером ездил в лаборатории брата господина Ямамото. Я получил разрешение на осмотр и прихватил заодно этот снимок.

Действительно, это была фотография собаки, плывущей под водой. Передние лапы ее были поджаты, задние вытяну-

ты, голова опущена. От шеи по спине тянулись цепочки пузырьков воздуха.

— Собака не из породистых... Вот здесь, в утолщении за нижней челюстью, видны черные щели. Это жабры... На уши не обращайте внимания, это дефект фотографии. В общем у нее, как видите, облик обыкновенной собаки, хотя какое-то незначительное оперативное вмешательство сразу после рождения все-таки, кажется, необходимо. Вот глаза у нее действительно странные. Одновременно с отмиранием легких претерпевают изменения и различные железы, в частности, вырождаются и слезные железы, а это влечет за собой изменение формы глаза.

— Синтетический оборотень, чудо хирургии...

— Ничего подобного. Такие жабры есть только у акул, а разве возможна прививка от акулы к собаке? Нет, здесь результат планируемой эволюции на основе внеутробного выращивания. Если бы вы видели это своими глазами...

— Понятно. Ты хочешь сказать, что торговля зародышами имеет целью производство подводных людей?

— Размеры трехнедельного зародыша не превышают трех сантиметров. Если их скупать на мясо, то платить по семь тысяч иен за штуку не имеет смысла.

Я смотрел на эту фотографию, похожую на дурной сон, и у меня было ощущение, будто реальность перестала быть реальностью. Я уже не верил, что за стенами этого зала есть улицы, что на этих улицах живут люди.

— ...И они разрешили осмотр?

— Да, мне удалось уговорить их, — Ёрики оживился и придвинулся ко мне. — Только с условием, что мы будем молчать.

— Слушай, тут же концы с концами не сходятся. Допустим, что торговля зародышами существует, и заведующий финансовым отделом убит потому, что мог разгласить эту тайну. Почему же такие страшные конспираторы так просто пускают нас к себе?

— Видимо, как ни странно, у них есть на то свои причины.
— Причины?.. Воображаю, что это за причины!.. А хочешь знать мое мнение? Если бы там можно было зацепиться за какую-нибудь улику, они бы нас ни за что не пустили. И раз они пускают все-таки — значит, и ехать к ним нечего.

Ёрики судорожно проглотил слюну.

— Сэнсэй... — расслабленно проговорил он. — Это, наверное, последний шанс.

— Что, они прекращают работу?

— Я не о поездке. Это ваш, сэнсэй, последний шанс.

— Что такое?

— Ничего, достаточно...

Что это? У меня уже был где-то с кем-то такой разговор. Ах да, те же самые слова произнесла недавно Кацуко Вада...

— Эта собака... она сама ловит рыбу?

У Ёрики блеснули глаза.

— О да, их там специально обучают. Если мы поедем, то можно будет посмотреть, как это делается.

— Странно, право. Чему ты так радуешься? Мы же собираемся в лагерь противника.

— Я?.. Да, я доволен. Если нам повезет, подозрение с меня будет снято.

— Ты подумал о том, что мы можем и не вернуться оттуда?

Ёрики рассмеялся.

— Если хотите, оставим здесь записку.

22

— Ладно, на сегодня довольно. Устал... — говорю я вяло и поднимаю к лицу два пальца, которыми упирался в стол. На подушечках пальцев белеют плоские округлые следы.

— Простите, сэнсэй... — возражает Ёрики. Он упрям и настойчив, как обычно. — Я, вероятно, надоел вам, но раз уж вы согласились, может быть, покончим с этим делом сегодня же?

— С каким делом?

— С визитом к подводным млекопитающим.

— Что за глупые шутки? Уже одиннадцать часов.

— Знаю. Но раз уж мы решили ехать, то не все ли равно, который час? Вдобавок нельзя забывать, что до заседания комиссии осталось всего три дня; и если мы собираемся представить господину Томоясу наш проект, у нас для работы остается всего один день, завтрашний.

— Так-то оно так, только вряд ли они обрадуются, если мы явимся так поздно. Да и нет там уже никого, наверное.

— Ничего подобного. Директор лабораторий, господин Ямото, нарочно ради нас перенес свое дежурство на эту ночь.

— Директор дежурит?

— Там ведь все как в больницах. Поскольку они работают с живыми существами... И вообще, там по ночам много работы. Впрочем, вы сами увидите.

— Послушай... — Я поставил колено на сиденье кресла и достал сигарету, хотя мне не хотелось курить. Возможно, такой позой я намеревался продемонстрировать Ёрики и самому себе, что полностью сохраняю душевное равновесие. — Если говорить прямо, ты не вполне откровенен со мной.

Ёрики оттопырил губу и насупился. Кажется, он хотел что-то сказать, но промолчал. Я продолжал:

— Мне многое хотелось бы сказать тебе. Я не улавливаю логики происходящего. Мало того, я испытываю какую-то внутреннюю неудовлетворенность. Грубо выражаясь, мне все это отвратительно.

— Кажется, я вас понимаю.

— А раз так, то брось околичности и Расскажи мне все, что тебе известно. Нас загнали в тупик. Кто-то зачем-то спутал

нас по рукам и ногам. Мы не знаем, чего добивается противник, и потому не можем отвечать на удары. Кто и какую выгоду может извлечь из того, что мы в ловушке?

— Эта шайка, несомненно, боится машины-предсказателя.

— Вряд ли... Ведь машина так и не дала нам ничего настоящего. Женщину они убили, никаких нитей в наших руках не осталось. Чего же им еще бояться? Нет, это не то.

— Мы же будем продолжать работу. Во-первых, комиссия надеется найти истинного преступника и не позволит нам остановиться на полдороге.

— Комиссию можно обвести, подсунув ей характерные показатели личности убитого.

— Не знаю... — Ёрики покачал головой. — Ведь о том, что мы работаем, известно и полиции. Правда, самым высшим чинам. Они ждут от нас результатов и потому держатся в роли стороннего наблюдателя и даже помогают нам. И если мы не найдем убийцу и подозрение падет на нас, тогда все пропало... Нет, это не годится. Никуда не годится.

— Хорошо. Допустим, ты прав. Но тогда напрашивается вот какое соображение. Эти бандиты — предположим, что они действительно существуют... Так вот, эти бандиты, очевидно, могут выставить своих свидетелей и натравить на нас полицию в любое время, когда только им заблагорассудится. Мы целиком и полностью зависим от них.

— Какая чушь! Да они только и ждут, чтобы вы упали духом. Трус всегда попадает на эту удочку. Услышит, что поблизости бродят волки, забьется в свою нору и, хотя отлично сознает, что неминуемо помрет от голода, нипочем не высушет носа наружу. Ох, простите, сэнсэй, это я от злости, что у нас все так нелепо складывается.

— Ничего, я и сам знаю, что я трус. Но вот я сейчас слушал тебя, и мне пришло в голову... Послушай, пойдем в полицию и все расскажем, ведь нам самим легче станет.

Ёрики исподлобья глядит мне в лицо. То ли он действительно жалеет меня, то ли осуждает, а может быть, просто притворяется. Закусив губу, он невнятно говорит:

— Кое-кто, вероятно, обрадуется. Их ведь уйма таких, кто спит и видит выгнать нас с вами отсюда и превратить лабораторию в подсобный вычислительный центр... И вот еще что, сэнсэй. Вы отказываетесь признать существование торговли зародышами. Вы считаете, что вашу супругу заманили в ловушку, чтобы привлечь внимание к этой сказочке. А вы представьте себе, что такое предприятие действительно существует. Тогда получится, что они не только не собираются прятаться от вас, но сами настойчиво подсовывают вам факты... — Легонько постукивая пальцами по краю пульта, Ёрики вдруг переходит на шепот: — Или, может быть, это предупреждение, сэнсэй. Они хотят вам показать, что у них достанет силы расправиться и с вами... Действительно, мужчина убит, женщина убита...

— И что же ты предлагаешь? — Я замечаю, что давно уже расхаживаю, стуча каблуками, среди блоков машины.

— Выяснить, что собой представляет эта ловушка. Ничего другого не остается. — Я молчу, и Ёрики вкрадчиво добавляет: — Впрочем, можно запросить машину.

— Довольно! — кричу я. Мне страшно, и я зол на себя за этот страх. Кажется, я ждал этого предложения. Ждал и боялся.

— Почему? Разве вы больше не доверяете машине?

— Машина — это логика. Здесь не может быть речи о недоверии.

— Тогда почему?..

— Это не такое дело, с которым стоит обращаться к помощи машины.

— Странно... Значит, вы признаете, что прав я?

— Почему же странно?

— Но вы колеблетесь, сэнсэй. И если вы не доверяете машине, значит, вы не доверяете логике?

— Можешь думать как тебе заблагорассудится.

— Нет, так нельзя. Получается, что для вас важна только сама машина, а в том, что она предсказывает, вы не заинтересованы.

— Кто это тебе сказал?

— Ну как же? Если предположить, что вы не решаетесь обратиться к машине не потому, что не верите ей, а потому, что не желаете верить, то чем ваше мнение отличается от мнения противников машины? И тогда вы, сэнсэй, как человек, который страшится знать будущее, не способны руководить нашей работой.

Я вдруг обмяк. Злость сменилась раскаянием. Лицо горело от утомления.

— Да... Возможно, ты прав... Но как вы, молодые, можете хладнокровно утверждать такие жестокие вещи?

— Не говорите так, сэнсэй, пожалуйста, — добродушно произнес Ёрики. Он словно сменил маску. — Вы же знаете, какой у меня язык. Не сердитесь, сэнсэй...

— Я не хочу уходить отсюда. Люди, подобные мне, ни на что не способны, когда их удаляют от дела, которое они создали. И все же, если я увижу, что не справляюсь, я уйду сам, спрячусь куда-нибудь. Что мне еще остается?.. Так, наверное, и будет, если я отдамся на волю событий. В глубине души я уверен в этом, хотя мне противно так думать. Противно, не правда ли, что инженер, создавший машину-предсказатель, сам боится предсказаний. Просто смешно! Меня даже дрожь пробрала, когда ты предложил обратиться к машине...

— Вы просто устали.

— А ты поступаешь нечестно.

— Как это?

— Я уже сказал, что ты не откровенен.

Ёрики недовольно спросил:

— В чем? Укажите конкретно...

— Положим, ты прав, и нам нужно изо всех сил стараться разгадать смысл ловушки. Но неужели для этого так уж необходимо, чтобы я увидел подводных млекопитающих?.. Погоди, я и без тебя знаю, что ты в этом убежден... Недаром ты потратил полдня и готов тащить меня туда в такой поздний час. Понимаю. Прекрасно понимаю... Но почему-то ты никак не желаешь объяснить мне причину этого. Вот ты говоришь, что торговля зародышами — это факт и что в лаборатории внеутробного выращивания мы, возможно, обнаружим какую-нибудь улику. Но я не верю, чтобы столь туманная надежда могла так воспламенить тебя. Да, до заседания комиссии осталось три дня. Так неужели я поверю, что ты станешь тратить это драгоценное время на каких-то там водяных собак и крыс, да еще безо всякой уверенности в успехе? Совершенно очевидно, что ты что-то скрываешь от меня.

— Да нет же, ничего подобного, — говорит Ёрики, смущенно улыбаясь. — Просто я считаю, что для того, чтобы выработать четкую тактику действий, необходимо точно убедиться в существовании торговли зародышами, а потом уже двигаться дальше. Но навязывать вам такой план, сэнсэй, у меня не хватает смелости, ведь я отлично понимаю, каким это все представляется несуразным. Кому охота ломать голову над вещами, которые и вообразить-то себе невозможно? А вот если бы вы хоть раз увидели этих подводных животных своими глазами, то вне всякого сомнения признали бы возможность торговли зародышами. Я, например, видел их и теперь без труда представляю себе эту торговлю.

— Ехать туда ради одного этого нет никакой необходимости. Если на такой гипотезе можно выработать действенную тактику, то почему бы и не попробовать?

— Разве можно серьезно заниматься тем, во что не веришь?

— Будем считать, что я поверил.

— Нет, сэнсэй, вы еще не верите. Поверить в это не так-то просто. — Я невольно улыбнулся, и он добавил: — Вот видите, вы смеетесь, значит, не верите.

— Глупости...

— Если в это поверишь, то смеяться уже не станешь. Это страшно. Представьте себе миллионы подводных людей в год...

— Ох, как тебя заносит!..

— Об этом я и говорю. Пока вы не поверите, мы не движемся вперед ни на шаг. Любую возможность вы будете воспринимать как плод фантазии. Какая уж тут тактика!

— Понимаю. Пусть будет так... Значит, ежегодно создаются миллионы подводных людей...

— И среди них, сэнсэй, ваш сын...

Я рассмеялся. Хрипло, сухо, но все же рассмеялся. Чем, кроме смеха, мог я ответить... Где-то в душе бессильно барахтался, пытаюсь проникнуть в память, разговор с женой, который был у нас несколько дней назад. Тогда я почти не обратил на него внимания. Кажется, это было вечером в день последнего заседания комиссии. Я сидел у изголовья постели и пил виски с содовой, а жена о чем-то настойчиво меня спрашивала. Я был раздражен. Меня злило не только упрямство комиссии, но и ощущение усталости, не дававшее мне сосредоточиться на словах жены. Сама близость жены угнетала меня, словно налагала на меня какую-то ответственность. «Ну что же, купи...» — проговорил я, поглядывая на страницу каталога электрооборудования, и торопливо поднес к губам стакан. «Купить? Что купить?» — «Ну, этот, как его, холодильник, что ли...» — «О чем ты?» Оказывается, я не слышал ни слова. Тонкие волосы, упавшие на лицо жены, резко бросались в глаза, и в этом было что-то зловещее. Я, наконец, понял, что она говорила о нашем будущем ребенке.

Этот разговор начался еще вчера вечером. Жена узнала о своей беременности и спрашивала меня, делать ли ей

аборт. Кажется, женщины обожают такие разговоры. На эту же тему мы случайно заговорили давеча с Вадой Кацуко. (Впрочем, теперь я сомневался, что это было случайно.) Как бы то ни было, мое мнение жена знала хорошо. При ее расположении к внематочной беременности все должен был решать врач, и никакие разговоры делу помочь не могли. Но жене хотелось поговорить, поспорить. Я отлично понимал ее чувства, однако переливание из пустого в порожнее представлялось мне глупым. Я не могу сказать, что не хочу ребенка, но не могу сказать, что и хочу. Детей не рожают, они рождаются.

...Врач сказал, что на этот раз беременность кажется нормальной, но будет лучше, если мы все-таки решим сделать аборт. В таком вопросе решение ничего не значит, подход с точки зрения морали и нравственности возможен здесь, видимо, лишь как следствие воспаленного воображения. Действительно, как ни трудно провести грань между абортом и детоубийством, но еще труднее определить грань между абортом и противозачаточными мерами. Да, человек есть существо, наделенное будущим, убийство есть зло, потому что отнимает у человека это будущее, однако будущее всегда и всюду есть тень настоящего времени. Ну кто же несет ответственность за будущее тех, у кого нет даже этого настоящего? Это было бы уходом от действительности под предлогом ответственности.

«Значит, ты считаешь, что нужно сделать аборт?» — «Ничего я не считаю. Я сказал только, чтобы ты поступала по своему усмотрению». — «Но я спрашиваю твое мнение». — «У меня нет мнения. Мне все равно...» Ссора, конечно, глупость. Но и уход от ссоры есть такой же жалкий обман. Неужели близкие — это те, кто вот так бессмысленно наносит друг другу раны? Я верил в свою логику, я самоуверенно полагал, будто все всегда выходит в соответствии с моим мнением.

Поэтому, когда жена вдруг встала с места, смяв каталог, и вышла, я остался сидеть, выпил еще стакан виски и через минуту забыл обо всем.

Слова Ёрики о том, что мой ребенок, возможно, стал подводным человеком, мгновенно обратили в пыль мою уверенность в себе. Мой ребенок, который не должен был родиться, неподвижно смотрел на меня из темной воды... Вот темные щели в утолщении подбородка, это жабры... Уши как у всех людей, но веки должны измениться... В черной воде колыхнутся белые руки и ноги... Мой ребенок, который не должен был родиться... Ребенок, которого я зачал, о котором я самодовольно препирался с женой, скрестив ноги на подушке... Ленивый самообман и тупая самоуверенность того вечера обернулись отмщением и нависли над моей головой... У нас с женой больше не будет взаимных укоров. Отныне раны буду получать только я. До конца дней жена будет укорять меня призраком нашего ребенка, насильственно оставленного в живых, и чем отчаяннее я буду защищаться, тем больнее будут удары, а если я попытаюсь спастись бегством, все равно меня всюду будут ждать неподвижно раскрытые глаза, глядящие из воды...

Я неловко оборвал смех.

— Нельзя же так... — проговорил Ёрики, пристально следя за моим лицом. — Если вы не убедитесь сами...

— Понятно. Спасибо тебе, теперь я, кажется, знаю, что нужно делать...

— Что именно?

— Мы поговорим потом, когда вернемся.

Ёрики испытующе посмотрел на меня, повертел в нагрудном кармане карандаш и стал выключать машину.

— Что это? Все время шла запись?

— Вы же не велели выключать, сэнсэй... — улыбнулся Ёрики. Он показал на счетчик работы звукозаписи. — Если что-нибудь случится, это будет вместо нашего завещания.

Зал наполняется едва слышным шепотом тишины. Как всегда, машина почему-то кажется не такой, как обычно. Это очень неприятное ощущение: словно за ее блоками ждет, раскрыв гигантскую пасть, дорога в будущее. И будущее вдруг показалось мне не сухой схемой, как до сих пор, а истово жестоким зверем, обладающим своей, независимой от настоящего волей.

Часть вторая

Программная карта номер два

Программирование есть не что иное, как превращение качественной реальности в реальность количественную.

23

Ночь тихая и жаркая. Между пальцами выступает пот, как будто на руках перчатки. Звезд не видно, в прореху между тучами выглядывает багровая луна. Мы зашли в сторожку вахтера, и Ёрики куда-то позвонил.

Вахтер немедленно, словно только нас и дожидался, открыл для меня банку фруктового сока. Его угодливость отвратительна.

— Созвонился? — наугад спросил я.

— Да, все в порядке, — ответил, улыбнувшись, Ёрики. — Пойдемте.

Больше мы не проронили ни слова. Сogleдательная у ворот нет. Мы выходим на трамвайную линию, и вскоре нам удастся поймать такси. Я усаживаюсь и торопливо лезу в карман за платком, но не успеваю: капля пота падает у меня с кончика носа. Ёрики говорит шоферу:

— Из Цукудзи поедем через Харуми до моста на строительном участке номер двенадцать. Знаете? Это мост Ёрои... Так вот, сразу за мостом...

Немолодой шофер с полотенцем от пота на голове под форменной фуражкой на секунду обернулся и подозрительно поглядел на нас, затем молча включил мотор. По сторонам привычно потянулись ряды истомленных, обессиленных духотой деревянных домов. В каменных кварталах жара усилилась. Через час мы миновали Харуми, и впереди открылся опустошенный пейзаж, весь состоящий, казалось, из канав и дорог. Сначала мы говорили о чем попало — о резких изменениях погоды за последние несколько лет, о небывало высоких приливах, об опускании грунта, о частых землетрясениях — затем замолчали. Кажется, я даже задремал ненадолго.

Наконец впереди, в липком солоноватом ветре засиял зелеными огнями мост Ёрои. Эти яркие огни в центре мрачной пустыни производят очень неприятное впечатление. Когда мы ехали через мост, слышался низкий короткий рев гудка. Час пополудни.

За мостом у обочины шоссе стоял старомодный автомобиль. Возле него сидел на корточках человек с карманным фонариком и делал вид, будто копается в моторе. Ёрики велел шоферу остановиться, расплатился, и мы вышли. «Это оттуда», — произнес Ёрики, подошел к машине у обочины и что-то сказал. Человек с фонариком сейчас же встал и поклонился.

Мы пересели в его машину и проехали еще минут двадцать. Дороги были широкие, обычные, но ехали мы как-то необычно. Очень скоро я потерял ориентировку. Мы миновали три больших моста, так что, вероятно, не были уже на территории строительного участка номер двенадцать. Но я решил не задавать вопросов. Раз уж пускаются на такие

хитрости, то спрашивать бесполезно, все равно не ответят. А если скрывать не собираются, то лучше подождать и потом попросить показать на карте.

Наконец машина остановилась. Пустынная улица между огромными складами. Впереди, где дорога обрывается у моря, одноэтажная деревянная постройка, окруженная обычным бетонным забором. У входа незаметная деревянная табличка с надписью: «Лаборатория Ямамото». Во дворе под открытым небом валяются железные бочки. Я поспешно поднял глаза. Но, к сожалению, луна спряталась за тучами. Впрочем, она все равно не помогла бы мне определить, куда мы попали. Море здесь было со всех сторон, кроме северной.

Господин Ямамото сам вышел к нам навстречу. Огромный человек с синеватым, как бы испачканным, лицом. «Мой брат всегда пользуется вашей помощью», — произнес он четким, пружинящим голосом, протягивая мне свою карточку. Карточка казалась крошечной в его мясистых пальцах с глубоко врезанными ногтями. Я сейчас же вспомнил, что его брат веда-ет счетной лабораторией госпиталя Центральной страховой компании, и эти слова показались мне зловещими. Вероятно, точно так же все кажется исполненным загадочного смысла человеку, страдающему амнезией. Стараясь не поддаваться, я торопливо сказал первое, что пришло в голову:

— Вы действительно на него похожи.

— Что вы, мы ведь братья только по свойству.

Господин Ямамото весело смеется и приглашает меня следовать за ним. Он тоже в белом халате и сандалиях, только белый халат слегка замаслен. Огромные опущенные руки кажутся очень тяжелыми. Обычно, как это ни странно, именно такие вот пальцы бывают необычайно ловкими и подвижными. Они имеют дело не с невидимыми абстракциями, как наши, а с тонкой организацией живых существ.



Внутри постройка выглядит ветхой и страшно запущенной, словно здание начальной школы, доживающее последние дни. Но в нише в глубине коридора оказался лифт. Мы вошли в него, господин Ямамото нажал кнопку, и лифт неожиданно пошел вниз. Собственно, больше двигаться ему было некуда, ведь здание было одноэтажное, но я по привычке ожидал противоположного ускорения и так удивился, что вскрикнул. Господин Ямамото громко расхохотался. Это был наивный, беззаботный смех, который заставляет забыть начисто и про поздний час, и про странную ситуацию. Положительно, представление о заговорах и интригах никак не вяжется с личностью господина Ямамото. Злое намерение разоблачать и обвинять тает в моей душе и превращается в какую-то смутную надежду.

Лифт движется медленно, но мне представляется, что мы спустились этажа на три. Длинный коридор, в нем множество дверей. Если не считать знобящей сырости, это довольно обычная обстановка для исследовательского института. Пройдя по коридору, мы сворачиваем направо, и меня вводят в просторное помещение.

Это было поразительное зрелище. Словно кубический аквариум. Словно сооружение из глыб грязноватого льда. Лабиринт больших и малых бассейнов, путаница труб, кранов и измерительных приборов. Железные мостики для людей протянуты в три ряда, совсем как в машинном отделении океанского корабля. Запотевшие стены, покрытые зеленой масляной краской, таинственные клейкие всплески, вонь обнажившейся при отливе отмели... Такие сны я часто вижу перед гриппом.

По мостику, у нас над головами расхаживал, стуча сандалиями, человек в белом халате. Он снимал и записывал показания приборов. Он не обратил на нас внимания, но господин Ямамото окликнул его: «Харада-кун!» — и он оглянулся с удивительно приветливой улыбкой.

— Харада-кун, открой нам потом третью камеру.

— Слушаюсь, там уже все приготовлено.

Господин Ямамото кивнул.

— Пойдемте пока в мой кабинет, — сказал он мне и зашагал по центральному мостику.

— Смотрите, смотрите!.. — шепчет Ёрики, хватая меня за локоть.

Но я и без него не свожу глаз с бассейнов, мимо которых мы идем.

В первом бассейне две громадные подводные крысы — самец и самка. Они ничем не отличаются от обыкновенных полевых крыс, только у основания шеи, где шерсть редкая, открываются и закрываются бледно-розовые щели, да еще бросается в глаза форма груди, похожей на маленькую бочку.

Двигались в воде они с поразительной ловкостью, причем плавали не только по-собачьи, загребая лапками, как это делают наземные животные, но и как креветки, резко сгибая и распрямляя туловище. Впрочем, инстинктов, свойственных грызунам, они, видимо, не утратили: одна из них поднялась на поверхность, вцепилась в плававший кусок дерева и, грызя его, медленно, животом кверху, вернулась в глубину. Другая хотела было броситься на меня, но за мгновение до удара о стекло бассейна ловко повернулась и уставилась на меня большими круглыми глазами, полуоткрыв рот и высунув красный язык.

В следующих двух бассейнах тоже были крысы. А в четвертом находились зайцы. Не в пример крысам они безжизненными мешками, покрытыми слипшейся шерстью, неподвижно висели в воде у самого дна. Господин Ямамото щелкнул ногтем по стеклу и сказал: «С травоядными пока получается плохо. Слишком специфичен способ ассимиляции энергии... Первое поколение еще как-то удастся вырастить, а вот начиная со второго все идет прахом».

Мы поднялись по железному трапу и оказались перед подвешенной к потолку камерой, похожей на ящик. На пороге камеры я непроизвольно обернулся. Как раз в этот момент у дальней стены в бассейне величиной с грузовой вагон, взбаламутив воду, всплыл с хриплым стоном огромный черный лоснящийся зверь. Это была корова.

— Внушительное зрелище, не правда ли? — с улыбкой сказал господин Ямамото, закрывая дверь. — С травоядными тоже так или иначе получается, если не жалеть искусственных кормов. Коровы дают мясо и молоко, поэтому производство искусственных кормов в больших масштабах оказывается выгодным. Только вот доильные машины отказывают, не работают под водой. Пока мы применяем небольшие вакуумные насосы, но это, разумеется, не выход... — Он

повернулся к холодильнику в стене, достал фарфоровый кувшин и налил в стакан молоко. — Попробуйте, пожалуйста. Парное молоко, только что доили. Почти не отличается от молока на суше. Правда, анализы показывают повышенное содержание соли, но молоко здесь скорее всего ни при чем, просто при дойке в него неизбежно попадает морская вода. А самое главное то, что оно свежее.

Чтобы не обидеть его, я одним глотком осушил стакан. Молоко было вкуснее домашнего. Видимо, из-за хороших кормов. Затем меня усадили на стул. Думается, это отличный прием для того, чтобы разбить лед, — сразу угостить молоком и только затем предложить садиться. Если все это игра, то мой партнер является изрядным актером.

— Сейчас поздно, и вы, наверное, устали... Мы-то здесь привыкли к ночной работе, — сказал профессор Ямамото.

Он стоит, сплетя на груди толстые пальцы, спиной к стенду с микроскопом и различными химическими приборами. На пальцах торчат редкие жесткие волоски, как на щетках для домашних кошек и собак. Позади меня высокий книжный шкаф и ширма, за которой виден край койки.

— Ничего, мы тоже частенько засиживаемся допоздна.

— Да, конечно, вы так загружены... Но у нас сам характер работы такой, для нас нет ни дня, ни ночи. Судьба, ничего не поделаешь! Хищники, например, ведут преимущественно ночной образ жизни. Можно было бы прибегнуть к искусственному освещению, но вот собак мы должны дрессировать под открытым небом, а днем этого делать нельзя. Мы ведь прячемся от посторонних глаз...

— Прячетесь?

— Разумеется, прячемся, — подтвердил он теплой усмешкой. — Но вам-то мы покажем потом, если останется время... Как вы насчет молока? Может быть, еще стакан? Ёрики-кун, ты будешь?



Я с изумлением взглянул на Ёрики. С едва знакомыми людьми так не разговаривают, даже при дружелюбии и общительности господина Ямамото. Однако Ёрики не собирался скрывать, что он здесь свой человек. Он просто присоединился к словам профессора.

— Выпейте, сэнсэй. Вода в молоке из Токийского залива, но она стерильно чистая. Ее здесь отфильтровывают и затем восстанавливают искусственно...

— Давайте я покажу вам макет. — Господин Ямамото встал и вытащил из тумбочки возле книжного шкафа кожаный чехол. Поднялась пыль. — Здесь у меня далеко до стерильной чистоты... Ну вот, взгляните, пожалуйста. Это один из участков лаборатории в вертикальном разрезе. Над ним море... До поверхности около двухсот метров, не так ли? Вода поступает через эти трубы. Фильтры действуют под давлением, используется естественное давление воды. Пропускная способность — около восьми тысяч килолитров в минуту. Кроме того, есть еще два резервных фильтра, на две тысячи килолитров каждый. Но в тщательно отфильтрованной воде, видимо, нарушается некое природное равновесие, она мешает нормальному развитию организмов. В частности, падает способность к ассимиляции, возникают заболевания аллергического свойства. Поэтому здесь, внизу, в отфильтрованную воду добавляются различные органические и неорганические вещества, чтобы приблизить ее состав к природной морской воде. Так мы по желанию воспроизводим воды Красного моря, антарктических морей, впадин Японского моря. У нас ведутся, например, исследования, какие моря наиболее подходят для свиноводства.

— И здесь можно до отвала лакомиться сасими из свинины, — вставил Ёрики.

— Совершенно верно. Свинина у нас на редкость вкусная. Правда, некоторые с непривычки брезгают. Но она гораздо

вкуснее говядины. И когда к ней привыкаешь, отказаться уже трудно. Хотите попробовать?

— Нет. Не сейчас. — Мне показалось, что они сговорились дурачить меня, и я разозлился. — Я бы предпочел, если это возможно, немедленно обратиться к основному вопросу... — Тут я заметил, что говорю грубо, но остановиться уже не мог и продолжал куда кривая вывезет: — Право, не знаю, как извиниться перед вами. Свалились к вам как снег на голову в такое неподходящее время... Я полагаю, Ёрики объяснил вам причину нашего визита?

— Да, я слышал, что вы заинтересовались нашими исследованиями... Впрочем, это не имеет никакого значения, не беспокойтесь, пожалуйста. Мы живем здесь в строгой изоляции от внешнего мира, и вы представить себе не можете, сэнсэй, до чего приятно побеседовать с таким человеком, как вы... Живем чуть ли не в центре Токио, а с людьми встречаемся чрезвычайно редко. Ведь получить разрешение трудно.

— Разрешение на выход отсюда?

— Нет, разрешение для посетителей.

— Значит, что же, это лаборатория государственная?

— Нет, как можно! Будь она государственная, как ваша, разве мы могли бы сохранить ее в тайне? Правда, не было бы и таких строгостей. — Он выставил передо мной свою огромную руку, как бы предупреждая мой вопрос. — Нет, этого я не могу вам сказать. Говоря по правде, даже я не совсем понимаю сущность организации, которой принадлежит наша лаборатория... Но у этой организации огромная сила! У меня, например, такое ощущение, будто она держит в руках всю Японию. А поскольку я от души полагаюсь на нее, мне нет смысла узнавать и уточнять то, что меня не касается.

— В таком случае это известно тебе, — сказал я, обращаясь к Ёрики.

— Мне? Что вы, что вы!

Ёрики преувеличенно высоко поднял брови и потряс головой, но я заметил, что лицо его при этом оставалось спокойным.

— Странно, однако, — сказал я. — Как же ты сумел получить для меня разрешение?

— Разумеется, через меня, — произнес господин Ямамото, открывая в улыбке длинные редкие зубы. Кажется, ему нравилось, что беседа становится такой оживленной. — Откуда человеку со стороны знать то, чего не знаю даже я, лицо как-никак ответственное? Просто мне известно, к кому надо обратиться, и, следовательно, испросить для вас разрешение было вполне в моих возможностях.

— Понимаю...

Среди моих карт была одна, которая интуитивно казалась мне козырной, и я неторопливо, упиваясь собственным волнением, выложил ее на стол:

— Значит, когда Ёрики-кун впервые узнал о существовании этой лаборатории, он тоже должен был получить разрешение на осмотр через третье лицо... Иначе у вас не сходятся концы с концами...

Ёрики открыл было рот, но господин Ямамото опередил его.

— Совершенно верно, — сказал он. — Давайте, я вам вкратце объясню, в чем тут дело. Пусть это будет нечто вроде памятки для посетителя. Как я уже говорил, работа этой лаборатории засекречена. Тайну ее должен свято хранить всякий человек, кому она известна, независимо от того, сотрудник он или посетитель. Конечно, закона, который это гарантировал бы, не существует. И мы не берем клятвенных подписок с приложением печати. Формально никто ничем не связан. Зато чрезвычайно строг отбор. Мы показываем лабораторию только тем людям, в которых абсолютно уверены. И поэтому нарушений этого обязательства почти не бывает.

— Почти? Значит, все-таки бывают нарушения?

— Ну как вам сказать... Поскольку публике ничего не известно о нашей работе, можно считать, что таких случаев вовсе не было, не так ли? Впрочем, я как-то слышал краем уха, что один из наших работников, человек грубый и неотесанный, спьяну проболтался. За это он подвергся строгому наказанию.

— Его убили?

— Нет, зачем же... Наука идет вперед. Убивать вовсе не обязательно. Можно лишить человека памяти. Есть и другие методы.

Кажется, мой козырь сыграл. Господин Ямамото был по-прежнему мягок и любезен, но Ёрики, сам того не замечая, барабанил пальцами по краю стола, и ускоренный ритм этого стука свидетельствовал о том, что беседа идет о самом главном.

— А если труп может заговорить, остается только изрезать его на мелкие кусочки, — сказал я.

Господин Ямамото расхохотался, как будто я сказал что-то очень смешное.

— Да уж, — проговорил он, трясаясь от смеха, — это действительно было бы неудобно.

— Я, однако, никак в толк не возьму... Если вы здесь так боитесь гласности, то к чему вообще разрешать осмотр? Добро бы еще человек сам настаивал и рвался к вам, но ведь вы сами навязываете этот осмотр, а затем грозите убийством... Это же просто ловушка. Вдобавок, на что годится знание, которым ни с кем нельзя поделиться? Вся ваша затея похожа на издевательство.

— Вы преувеличиваете, сэнсэй, — заговорил Ёрики. — Никто не мешает вам делиться вашими мыслями с единомышленниками...

Господин Ямамото перебил его:

— Совершенно верно, разрешение, как правило, получается через третье лицо. Это делается для того, чтобы расширять круг единомышленников, и нисколько не противоречит тре-



бованию сохранения тайны. Слухи, общественное мнение, все эти так называемые голоса публики, лишенные конкретного источника, — это одно. А суждение единомышленника, лица ответственного, — это уже совсем другое.

— Единомышленники, единомышленники... Да в чем, собственно?

— Вот это мы и хотим вам показать. — Господин Ямамото стремительно встал и потер руки. Глаза его в припухших веках весело сузились. — Мне представляется, что вас больше увлечет не фактическая сторона дела, а сама идея. Мы начнем осмотр с камеры выращивания, но прежде мне хотелось бы вкратце познакомить вас с предметом наших исследований, с историей.

— Подождите, — сказал я, подняв руку. — Давайте сначала выясним еще один вопрос. — Я тоже встал, отступил на шаг и медленно опустил руки на стол. — Ёрики-кун... я знаю теперь, почему ты достал мне разрешение. Но я еще не знаю, кто и почему достал разрешение для тебя. Теперь я имею право знать это, не так ли? Ведь все, кто получил разрешение, являются единомышленниками. Так вот, кто и по какой причине выбрал тебя?

Ёрики тоже поднялся, слабо улыбаясь.

— Пожалуйста, — произнес он. — Теперь я могу вам сказать. Только я боюсь, что вы рассердитесь.

— Я не собираюсь сердиться. Я хочу знать правду.

— Справедливое желание, — сказал с придурковатым видом господин Ямамото. — Правда всегда привлекает. И Ёрики-кун освободится от камня на сердце.

— Это была Вада, — произнес Ёрики и облизнул губы.

— Вада?!

— Да, она работала у нас, прежде чем перейти к вам, — объяснил господин Ямамото. — Она была способным ассистентом с ясными и четкими убеждениями, что редко встречается у женщин. Но у нее был один недостаток, который делал ее совершенно непригодной к работе у нас. Она не переносит

вида крови. Поэтому она уволилась и перешла к вам. Кстати, поручился за нее перед вами как раз мой брат из госпиталя Центральной страховой компании.

— Да, да, я припоминаю...

Разрозненные звенья цепи вдруг с четким звоном соединились в одно целое. Все очень просто. Это, конечно, не значит, что все сомнения рассеялись и вопросов больше нет. Да, цепь с поразительной ловкостью извлечена из хаоса, но именно эта ловкость наводит на размышления. Совсем скверно то, что я никак не могу разглядеть фигуру самого фокусника. Цепь, однако, меня восхищает. Она великолепно составлена. Совершенно случайные, казалось бы, персонажи расположились вдруг по-иному и обрели ясные и отчетливые роли. Теперь появилась хоть какая-то надежда понять, для чего Ёрики завлек меня сюда. Во всяком случае, появилась возможность какого-то объяснения всему этому. И мое доверие к Ёрики... Впрочем, до доверия еще далеко. Но мне показалось, что я вот-вот стану доверять ему. Я медленно, чтобы было незаметно, перевел дыхание.

24

— Первоначально мы исследовали метаморфоз насекомых. Вы, разумеется, имеете какое-то представление об эмбриологии, Кацуми-сан?

— Нет, считайте меня дилетантом. Я не помню даже, что раньше бывает — гастрюла или бластула...

— Прекрасно. В таком случае постараюсь изъясняться попроще. — И господин Ямамото заговорил монотонно, постукивая незажженной сигаретой о край стола. — Разумеется, не метаморфоз насекомых был нашей целью. Задача в самом широком смысле состояла в планомерном преобразовании живых организмов вообще. Кое-чего наука добилась еще до нас.

У растений, например, удавалось вдвое увеличить содержание пигментов. С животными обстояло хуже. Дальше экспериментов по улучшению породы дело не пошло. Мы же стремились разрешить эту проблему радикально. Я бы сказал, это был дерзкий замысел оседлать эволюцию, заставить ее двигаться скачками и в нужном нам направлении. Вам, вероятно, известно, что онтогенез есть повторение филогенеза, то есть каждый организм в своем индивидуальном развитии от зародыша проходит все этапы исторического развития вида. Строго говоря, конечно, никакой организм не повторяет форму предка, но он во всех своих проявлениях в известном смысле пропорционален этой форме. И если вмешаться в развитие зародыша, то можно отклонить его от направления, заданного наследственностью, и получить организм совершенно нового вида. До нас были грубые попытки такого вмешательства. Создавались гротескные уродцы вроде двухголовых головастика или лягушек с пастью ящерицы, но все это было не то. Сломать часы может и младенец, а вот чтобы сконструировать часовой механизм, требуется специальное мастерство. Развитие организма управляется некими гормонами, своего рода противоборствующими стимуляторами. Именно взаимодействие этих элементов и определяет характерные черты данного организма. При необходимости, вероятно, можно было бы выразить это взаимодействие системой интегральных уравнений.

— На нашем жаргоне это называется сложной обратной связью.

— Вот именно, эта обратная связь необычайно сложна. И для выяснения ее сущности мы обратились к метаморфозу насекомых. Как известно, метаморфоз насекомых управляется в основном двумя гормонами. Одно время ставились опыты, при которых какой-нибудь из этих гормонов удалялся из организма насекомого. Регулирование хода развития зависит здесь от успеха в определении необходимой дозы того или

иного гормона. Это чисто техническая трудность. Она была преодолена почти одновременно в Америке и Советском Союзе лет десять назад. А через год мы тоже совершенно самостоятельно овладели этой техникой. И мы создали на редкость диковинных насекомых. Вот, взгляните.

Господин Ямамото вытащил из-за ширмы нечто вроде большой клетки для птиц. В ней ползали два живых существа серого цвета, величиной с ладонь. Мерзкие насекомые, покрытые слизью и жесткой щетиной того же серого цвета, что и тело.

— Что это такое, по-вашему? Глядите, шесть ног, вполне добропорядочное насекомое, несмотря ни на что... Это всего-навсего мухи. Вы удивлены? Ну, если угодно, личинки мухи, остановленные в развитии. Видите, у них рот устроен, как у мухи. Между прочим, они способны и к воспроизводству. Вот это самец, а это самка... Разумеется, это просто диковинка, никакого практического значения они не имеют, держим их в память о первом эксперименте. Свирепые твари, если сунуть к ним руку, преобильно кусаются. А когда у них бывает хорошее настроение — это бывает, по-видимому, в периоды полового влечения, — они издают странные скрипучие звуки. — Господин Ямамото вернул клетку за ширму. — А теперь, с вашего разрешения, я провожу вас в камеру выращивания.

Мы спустились на мостик, пересекли помещение и снова оказались в полутемном коридоре. Господин Ямамото идет впереди и продолжает через плечо начатый рассказ:

— ...и тогда международный обмен информацией по этому вопросу внезапно прекратился. Вернее, не совсем, конечно, прекратился, публиковались абстрактные соображения по технике внеутробного выращивания млекопитающих, но не больше. Все остальное заслонила настоящая стена молчания. Впрочем, это было вполне естественно. Для нас, людей, непосредственно занятых исследовательской работой, значение этого молчания было более чем ясным. Здесь вопрос касался

уже не техники и науки, он задевал что-то куда более глубокое и страшное. И оттого, что теоретически и технически все это представлялось вполне в пределах возможного, было еще страшнее. А вот и камера.

Мы остановились перед железной дверью, на которой масляной краской была намалевана цифра «3». Господин Ямамото оттянул засов. За дверью был бокс площадью в десять квадратных метров, три стены его были из стекла. Внутри медленно двигались вправо и влево десятки конвейерных лент, расположенных в несколько этажей. Сотни аппаратов, напоминающих станочки для шлифования линз, так же медленно и методично склонялись и выпрямлялись над лентами. А внизу четверо людей в белых халатах что-то делали за длинным металлическим столом.

— Внутри все тщательно стерилизовано, — сказал господин Ямамото, — поэтому пригласить вас туда я не могу. Обычно я тоже даю указания отсюда. Вот, взгляните, пожалуйста. В одной только этой камере ежедневно обрабатываются до тысячи трехсот зародышей. В соответствии с разработанной программой их отключают от нормальной линии наследственного развития. Вон там, прямо перед нами, зародыши подводных коров. Да... Вот так-то... Вначале мы содрогнулись, когда представили себе такую вот картину... — Господин Ямамото заглянул мне в лицо, возле уголков глаз у него прорезались морщины. — Мы, разумеется, естествоиспытатели, и нас не остановит пустая болтовня об осквернении природы. И все же, говоря по чести, когда я представил себе фабрику обработки зародышей, мне стало не по себе.

— Мне сейчас тоже не по себе, когда я вижу ее своими глазами...

— Не сомневаюсь... Вообще куски будущего, вырванные из целого, производят впечатление гротеска. Говорят, что представитель какого-то первобытного народа, впервые

очувтившись в современном городе и увидев гигантские здания, подумал, что это бойни для людей. Впрочем, простите, не примите мои слова буквально. Иначе говоря, страх проистекает из непонимания связи с человеческой жизнью. Бессмысленное, но неодолимое...

— То есть вы хотите сказать, что в этой вашей деятельности, похожей на страшный сон, есть смысл, который снимает страх?

Господин Ямамото кивнул. Кивнул, как врач, убеждающий пациента, безо всяких эмоций, с непоколебимой прямоотой и уверенностью. Но он ничего не сказал мне, откинул крышку металлического ящика у стены, щелкнул переключателем и произнес:

— Харада-кун, покажи нам, пожалуйста, зерно, которое вы сейчас готовите... — Он повернулся ко мне и объяснил: — Необработанный зародыш, только что снятый с плаценты, мы называем зерном.

Один из людей, работавших у стола, взглянул на нас через плечо, затем взял со штатива плоский стеклянный сосуд и поднялся к нам по железному трапу. У него были озорные глаза, и он едва заметно улыбался. Кажется, от этого мне стало немного легче. Ёрики кашлянул у меня над ухом.

— Йоркширская свинья, — пояснил Харада через перегородную трубку.

— Приросло? — спросил господин Ямамото.

Харада перевернул стеклянный сосуд вверх дном.

— Да, все в порядке.

Сосуд был заполнен студенистой красной массой. В центре ее располагалось червеобразное тельце, от которого во все стороны тянулись тонкие кровеносные сосуды. Господин Ямамото сказал:

— Это самое трудное — прирастить зерно к искусственной плаценте.словно посадка срубленного дерева. Хотя еще труднее, может быть, сбор зерен и хранение... пока их сюда

доставят... Возможно, главная проблема в этом. Приходится все время иметь дело с посторонними, тайна висит на волоске. Нельзя же быть осторожным беспредельно...

— Сейчас прирастить зародышей свиней удастся в семи-десяти четырех случаях из ста, — сказал Харада.

Господин Ямамото кивнул.

— Вон там, внизу, — продолжал он, — это рабочий стол. Там отбираются зародыши. Это единственный процесс, требующий человеческой руки, все остальное автоматизировано. Приросшие к искусственной плаценте зерна ставятся на конвейер. На конвейере они остаются в течение десяти дней. Видите эти устройства, которые кланяются над конвейерами? Это наши повара. Каждый из них подает на зерна строго определенные порции различных гормонов. Развитие зародыша в материнской утробе происходит за счет взаимодействия гормонов, выделяемых организмом матери и самого плода. Здесь характер взаимодействия видоизменен во времени и количественно. Развитие направляется по иной линии, оно определяется так называемым уравнением «Альфа». Впрочем, этими подробностями я затруднять вас не буду.

— Но ведь для разных видов сроки развития после оплодотворения различны, и потом возраст зародышей не может совпадать в точности.

— Просто замечательно, что вы обратили на это внимание. Действительно, у свиней, например, мы, как правило, берем зародышей на второй неделе, но все равно какие-то различия в возрасте имеются. Однако главное состоит в том, чтобы возраст не превышал некоего предела, после которого организм уже определяется как сухопутный или подводный. И если изменения в зародыше еще соответствуют уравнению «Альфа», то о точности беспокоиться нет смысла. Тем более что и материнские организмы различаются между собой, бывают молодые и старые. Необходимо только установить при рассортировке,

когда наступает этот момент предела. Нам отсюда не видно. В общем это можно узнать по цвету плаценты... она приобретает синеватый оттенок. Опытный глаз узнает сразу.

Харада немедленно вызвался найти и показать нам подходящий экземпляр. Пока мы ждали его, господин Ямамото сказал, что можно, пожалуй, покурить, достал из кармана халата окурок сигареты и, разглядывая табачный дым, как что-то диковинное, пробормотал:

— Из-за того, что нам, людям, приходится дышать воздухом, мы приобретаем нелепейшие привычки.

— В третьей камере зародышей обрабатывают до этого момента, — как бы в нетерпении произносит Ёрики обычным своим резким тоном. Видимо, чтобы стряхнуть сонливость.

Несмотря на напряжение, меня тоже клонит в сон, и я спохватываюсь. Я даже чувствую себя виноватым. Но господин Ямамото как ни в чем не бывало подхватывает:

— Правильно... В первой камере отделяется брак, во второй производится пересадка на искусственную плаценту, затем зародыш переносится сюда, а когда плацента изменяет цвет, его несут в четвертую камеру. Там начинается превращение его в подводное млекопитающее. Ага, кажется, нам сейчас покажут...

К нам торопливо возвращался Харада, бережно неся другой стеклянный сосуд. Кажется, действительно вокруг разветвленных нитей кровеносных сосудов лежит смутная тень.

— Это и есть признак изменения зародыша. Как только он обнаруживается, зародыш немедленно передают в четвертую камеру. Харада-кун, покажи его нам поближе... Видите, он скоро перерастет сосуд... Особенность этой стадии состоит в том, что более или менее оформляется спинной хребет, а передние почки и жаберные складки пребывают в наиболее активном состоянии. Вот это большое углубление у него под головой и есть жаберная складка. Спинной хребет нас сейчас не интересует.



Спросим себя, почему передние почки и жаберные складки, которые потом бесследно исчезнут, обретают активность только на этой стадии? Заранее прошу извинения за маленькую лекцию по биологии, но это очень важный вопрос.

Объяснения господина Ямамото сводились примерно к следующему.

В эволюционной теории существует важный закон, именуемый «законом соответствия». Суть его в том, что изменение одного органа в живом организме неминуемо ведет к изменению других органов. Повторение развития вида в индивидуальном развитии есть не просто механическое копирование пройденного, а физическая необходимость, содержащая в себе все возможности для эволюции. Повторяется не все. Кровь, например, почти не меняется с самого начала. И повторяются в развитии зародыша только те органы, которые дают начало для образования новых, а сами затем исчезают. Зародыш свиньи проходит стадию передних почек. Передние почки у взрослого организма имеются только у угрей. У зародыша свиньи они отмирают без всякого видимого эффекта примерно через пять дней, а на их месте возникают средние почки. На первый взгляд передние почки — совершенно бесполезный этап, но если их удалить, средние почки не образуются. Они же, в свою очередь, преобразуются в орган, на основе которого вырастают настоящие почки.

То же самое происходит и с жаберными складками. Ближайшая к голове половина перерождается в железу внутренней секреции, которая, в свою очередь, берет на себя функцию превращения остальной половины в легкие. Эта видоизмененная часть жаберной складки и становится органом, из которого возникают грудная железа и щитовидная железа.

Возникает вопрос: что произойдет, если жаберные складки не переродятся в железу? У рыб, например, эволюция останавливается именно на этой стадии. Но зародыш млекопита-

ющего, если задержать его на этой стадии, в рыбу, разумеется, не превратится. В лучшем случае получится какой-нибудь чудовищный слизняк, совершенно нежизнеспособный. Дело в том, что копируется далеко не все и многие органы, необходимые для превращения зародыша млекопитающего в рыбу, уже необратимо деградировали.

Господин Ямамото говорил без передышки. Затем он остановился, внимательно посмотрел на меня, улыбаясь толстыми губами, и осведомился:

— Такое объяснение вас устраивает?

И тут же, не дожидаясь ответа, пошел к двери, продолжая на ходу:

— Следуя по порядку, мы должны были бы осмотреть теперь четвертую камеру. Но там нет света, в сплошном мраке вращаются стеклянные шары, и больше ничего. Пройдемте прямо в пятую камеру, последнюю.

— Точно, — подтвердил Ёрики через плечо, уступая мне дорогу. — В таком же порядке осматривал и я, когда Вада-кун впервые привела меня сюда.

— Если желаете, можно будет потом посмотреть фильм, снятый в инфракрасных лучах.

— Нет, для меня все это слишком специально.

— Ну да, разумеется, технология ведь вас не очень интересует. Но давайте все-таки заглянем в пятую камеру. Это стоит посмотреть.

25

Мы вновь очутились в длинном коридоре, пол которого круто шел под уклон.

— На стадии жаберных складок определяется линия дальнейшего развития: превратятся ли складки в настоящие жаберы

или переродятся в железы внутренней секреции... — Господин Ямамото понизил голос, словно ему было неприятно эхо стен. — Как и при метаморфозе насекомых, это зависит от взаимодействия гормонов. Гормоны же выделяются нервными клетками. Поистине нервная система — это поразительная вещь. Мало того, что она абсолютно необходима для равновесия в живом организме, она является еще и источником энергии для эволюции. Так вот, если на этой стадии остановить действие гормонов, немедленно прекращается специализация растущих тканей. В свое время мы при помощи такого приема создали свинью-слизня почти в семьдесят сантиметров длиной.

— Такая тварь съедобна? — спросил Ёрики.

Он словно заранее приготовил этот вопрос. Он изо всех сил стремился показать, что все здесь для него привычно и обыденно. Мне это было неприятно.

— Отчего же, — спокойно ответил господин Ямамото, — вероятно, съедобна. Правда, вряд ли она хороша на вкус. Прекращение специализации означает, что останавливается развитие нервной системы и соответственно мышечных тканей — другими словами, количественный рост белка не сопровождается уже качественными изменениями.

Мимо нас, молча поклонившись, прошли мужчина и женщина в белых халатах. Коридор спускался все глубже, потолок стал сводчатым. Пол, кажется, стал еще более наклонным. Мне слышался шум, словно гул прибоя, но, может быть, это просто звенело в ушах.

— Если бы можно было остановиться на таких свиньях-слизнях, — продолжал господин Ямамото, повернувшись ко мне, — оставлять жабры зародышам млекопитающих было бы очень просто. На деле все обстоит гораздо сложнее. Задача ведь состоит в том, чтобы остановить на жаберной стадии развитие не всего организма, а только органов дыхания. Здесь

общей теорией гормональных функций не отделаешься. И здесь мы добились величайшего триумфа.

— Какой, однако, длинный коридор!

— Сейчас будет поворот, и за ним тупик. Здание построено в виде буквы «П», и мы обошли его из конца в конец. Устали?

— Нет. Но температура...

— С температурой приходится мириться. Мы ведь под поверхностью моря...

В этой камере дверей не было. Вдоль стены, оставляя карниз в два метра шириной, тянулся глубокий бассейн, наполненный водой. Он напомнил небольшой спортивный бассейн для плавания, но был ярко освещен изнутри, так что до дна, казались, было рукой подать. В левой стене бассейна виднелось окошко с какими-то измерительными приборами по бокам. В противоположной стене справа тоже было окошко, но размером побольше. И двое людей в аквалангах что-то делали перед окошком с измерительными приборами, поднимая в воде сверкающие тучи воздушных пузырьков.

— Ветеринар и кормилец, — поясняет господин Ямамото. В голосе его дрожит сдерживаемый смех.

Мы огибаем бассейн и входим в маленькую комнатку.

Это неказистое помещение, беспорядочно заваленное медикаментами, сверкающими хирургическими инструментами, аквалангами, какими-то странными приборами. Тупо гудит вентилятор, но все равно в нос бьет резкий противный запах. В углу что-то вычерчивает на миллиметровке маленький человек с узким лобиком. При нашем появлении он поспешно поднимается и предлагает сесть. Я озираюсь. Стульев всего два, и я отказываюсь. Мне не хочется оставаться здесь долго.

— У нас посетитель, — сказал господин Ямамото. — Скажите им, пусть работают так, чтобы все было видно.

Маленький человек вышел, волоча шнур микрофона. Мы вышли следом и тоже опустились на корточки у края бассейна.

Маленький человек что-то сказал в микрофон, двое в воде подняли лица и помахали нам руками.

— Следующий идет через две минуты, — объявил маленький человек, повернувшись к господину Ямамото.

Действительно, один из тех, в воде, показывал нам два пальца.

— Сейчас у нас рождаются по одному каждые пять-восемь минут... — сказал господин Ямамото. — Прежде чем попасть сюда, зародыши в жаберной стадии, которых мы видели в третьей камере, хранятся в соседней, четвертой камере. Срок зависит от вида животного, разумеется. Для свиней он составляет около шести месяцев. А странно звучит это слово — «хранятся», не правда ли, сэнсэй?

Я не в силах сдержать изумление.

— Но шесть месяцев при темпе один в пять минут — это же должно быть огромное количество!

— Они там распределены по пяти ступеням, шестнадцать тысяч штук в каждой, — заметил маленький человек, выпячивая подбородок. — Это составляет запас в восемьдесят тысяч штук.

— Будь вы, сэнсэй, специалистом в этой области... — проговорил господин Ямамото, глядя в воду. — Мне думается, вы бы весьма заинтересовались процедурой в четвертой камере... Система питания и ассенизации, регулировка температуры и давления... Особенно проблема температуры... Она у нас гораздо ниже, чем в материнской утробе... Мы подавляем переспециализацию жаберных складок и одновременно стимулируем развитие искусственных желез, форсирующих специализацию всех остальных органов... Да что говорить, это такой четкий процесс, что выражается математически, только это математическое выражение нельзя выносить за пределы лаборатории... Говоря попросту, мы клин клином вышибаем... Чтобы кристалл соли не растворился в воде, достаточно

превратить воду в насыщенный раствор, не так ли? Нечто аналогичное проделываем и мы, и нам удалось остановить эволюцию жабр, не влияя на развитие остальных органов.

У окошка в стене бассейна вспыхнул красный свет. «Идет!» — закричал маленький человек, ероша волосы. Ёрики, упершись руками в край бассейна, подался вперед.

— Это окошко является чем-то вроде искусственного детородного органа, — пробормотал он.

Люди в воде, посигналив что-то взмахами рук, становятся по сторонам окошка, стараясь держаться так, чтобы не заслонять его от нас пузырьками воздуха. Внезапно из окошка выскакивает черный металлический ящик. Люди в воде сейчас же принимаются манипулировать с приборами.

— Отделяют искусственную плаценту.

Они раскрывают ящик и извлекают из него полиэтиленовый мешок, который тут же на глазах раздувается в большой шар. Видно, как внутри переливается мутная красноватая жидкость. Один из людей втыкает в шар наконечник шланга, протянутого от прибора в стене, и поворачивает кран.

— Из шара отсасывается жидкость. Едва плацента отделена, как рефлекторно начинается жаберное дыхание, и эта операция должна проводиться с наивозможной быстротой.

Шар сморщился, и пластик облепил новорожденного поросенка. Поросенок сучит ножками и дергается. Один из аквалангистов вспарывает пластик ножом и снимает его с поросенка, как рубашку. В руках маленького человека вдруг появляется длинный шест. Этим шестом он выхватывает из воды ненужную уже оболочку — движения его до отворачивания привычны и сноровисты — и одним махом швыряет ее в железную бочку в углу. В нос ударяет тяжелый тошнотворный запах. Вот откуда идет эта резкая вонь.

Поросенок, которого придерживают за передние ножки, неуклюже барахтается. От него в воде распространяется

розоватое туманное облако. Другой аквалангист при помощи наконечника со шлангом чистит поросенка, обирая приставшие к его тельцу нечистоты. Видимо, это делается для того, чтобы не загрязнять воду в бассейне. Затем в ухо поросенку вставляют металлический шприц, и поросенок подпрыгивает.

— Барабанные перепонки ему все равно не нужны, и вообще эти места легко воспаляются. Мы сразу затыкаем им уши пластмассовыми пробками.

— Но ведь животное растет... — начал Ёрики и остановился, заметив, что я тоже открыл рот для вопроса.

— Ничего, — сказал я. — Спрашивай сначала ты.

— Да... Вопрос у меня простой. Не выпадут ли эти пробки, когда животное вырастет?

— Так... У этой пластмассы очень интересное свойство. Независимо от направления силы тяжести она всегда течет в сторону более высокой температуры. Природная теплота тела всегда будет притягивать пробки. Как видите, эта проблема решена у нас довольно остроумно. А ваш вопрос, сэнсэй?

— Я хотел о звуке... Как в воде обстоит дело со звуком?

— Понятно... К сожалению, здесь еще много неясного, и я не смогу дать исчерпывающий ответ. Но вот у рыб слуховые органы тоже закрыты костными щитками, и тем не менее они прекрасно слышат. Возможно, что наши пластмассовые пробки тоже не мешают слуху.

— То есть вы хотите сказать, что животные в воде не глухие?

— Ну разумеется! Подводные собаки, например, слышат просто великолепно.

— Море часто называют «миром безмолвия», — глубоко-мысленно заметил Ёрики. — Но, должно быть, не так уж он безмолвен, этот мир.

— Какая чепуха! — вскричал маленький человек, словно вдруг вспомнив о нашем присутствии. — Для того, кто слы-

шит, нет более оживленного места, чем море. Ведь каждая рыбка щебечет по-своему, будто птичка в роще.

— Есть проблема более сложная, чем слух, — сказал господин Ямамото, склоняя голову и поглаживая огромным пальцем кончик носа. — Они не владеют голосом, а это противоречит их инстинктам. Жаберное дыхание не дает, сами понимаете, возможности пользоваться голосовыми связками. С этой проблемой мы совершенно замучились. Немая собака не может стать сторожевым псом. Впрочем, собак-то мы научили.

— Научили лаять?

— Ну что вы... Научили скрипеть зубами. На эту мысль нас навела одна рыба. Неплохая идея, правда?

Аквалангист покончил с чисткой, оттолкнулся от дна и всплыл к самой поверхности, держа поросенка в вытянутых руках. Розовый, покрытый белым пухом, поросенок с изумленным выражением уставился на нас из-под воды, усиленно работая жаберными щелями, похожими на мясистые складки.

— Как, он уже смотрит?!

— Ага, заметили?... — господин Ямамото довольно засмеялся. — Я, помнится, сказал вам, что в организме ничего не меняется, кроме органов дыхания, но это не совсем так. В действительности имеют место еще кое-какие изменения.

Аквалангист взял поросенка под мышку, повернулся, мелькнув выцветшими голубыми шлангами за спиной, стремительно пересек бассейн и скользнул в окошко в стене напротив. За ним потянулся плоский белый шлейф серебристых пузырьков.

— Куда это он?

— В камеру молочного кормления, — ответил господин Ямамото. — Очки мне, — приказал он маленькому человеку и повел нас по карнизу к стене с окошками. — Как-нибудь потом я покажу вам анатомические схемы. Вы увидите, что

в некоторых органах, которые обыкновенно развиваются под влиянием гормонов переродившихся жаберных складок, имеют место определенные изменения. Самые характерные из этих изменений — исчезновение ряда желез с внешней секрецией: например, слезных, слюнных, потовых. Далее, дегенерируют веки, выпадают голосовые связки. Да вот еще легкие у млекопитающих. Они не исчезают с появлением жабр. Бронхи деградируют и выходят отверстием в стенке пищевода, и легкие становятся чем-то вроде гипертрофированного плавательного пузыря. Видимо, природа знает свое дело. Ведь подводным обитателям нет нужды ни в слезных, ни в слюнных железах.

— И они больше не могут ни плакать, ни смеяться?

— Полно вам! Разве животные плачут или смеются?

Из бассейна по железному трапу поднялся второй аквалангист. Кажется, он сменял маленького человека. Маленький человек принес какую-то двухметровую трубу, покрытую белым лаком, передал ее господину Ямамото и, отойдя в сторонку, принялся переодеваться в синий костюм для подводного плавания. Труба оказалась перископом. Господин Ямамото опустил объектив в воду, направил в сторону окна и заглянул в окуляры.

— Вот так. Пожалуйста...

Он передал перископ мне. Я приблизил глаза к окулярам, но ничего не увидел, кроме мутного молочного сияния. Решив, что запотели линзы, я полез за носовым платком.

— Нет, нет, — остановил меня господин Ямамото. — Так и должно быть. Присмотритесь внимательно. Это просто замутнена вода.

Я стал всматриваться и скоро действительно различил какое-то движение.

— Видите, как мельтешат? Это поросята. А предметы, которые похожи на большие соты и свисают сверху, — это

искусственное вымя. При кормлении часть молока неизбежно попадает в воду и замутняет ее.

— Почему же молоко не проникает сюда, в бассейн? Окно ведь ничем не загорожено.

— За окошком завеса, вертикальный ток воды. Такие же завесы есть и в самой камере кормления, они делят ее на четыре отсека. Температура в отсеках разная — от 0,3 до 18 градусов. Проникнуть сквозь завесы ничего не стоит. Искусственное вымя включается попеременно в разных отсеках, и животным волей-неволей приходится привыкать к температурным скачкам. Это весьма содействует развитию жировых желез, отложению подкожного жира и росту шерстяного покрова.

Глаза постепенно привыкают. Я вижу белый веретенообразный предмет, покрытый бесчисленными выступами, похожими на детские соски. Его облепили, прильнув ртами к выступам, десятки поросят. Все это напоминает гроздь винограда, покрытого белым налетом. Время от времени в поле зрения медленно проплывают тени пастухов в аквалангах.

— Их выдерживают здесь примерно месяц, затем «отнимают от груди» и переправляют на подводное пастбище.

26

«В лабораторию Ямамото, заказ № 112.

1. Йоркширов потомственных — 2 головы.
 2. Сторожевых собак против акул — 2 штуки.
 3. Собак охотничьих породистых — 5 штук.
 4. Молочных коров породы «3-я улучшенная» — 8 голов.
 5. Вакцины против желтой болезни на 200 голов.
- Указанное просим экстренно доставить по суше.
Ниигата, М., 3-е морское пастбище».

— Потомственные йоркширы? — спросил я. — То есть созданные вами признаки становятся наследственными?

Лодка, оборудованная прожектором, скользила над подводным пастбищем величиной с небольшое озеро. Воздух был тяжелый, дышать было трудно.

— Нет. В первом поколении это пока невозможно. Подводные млекопитающие, рожденные от первого поколения, достаточно жизнеспособны, но давать потомство не могут. Способность к размножению они приобретают только в том случае, если их, в свою очередь, выращивать вне материнского чрева. Полученных таким образом животных второго поколения мы называем потомственными — потомственная свинья, потомственная корова. Это требует много труда, да и средств, поэтому таких у нас пока мало. Впрочем, придет время, и мне думается, что подводные животные, способные к самостоятельному размножению, перестанут быть редкостью.

— А морское пастбище в Ниигата, это что такое?

— То, что написано. Пастбище на морском дне.

— Настоящее пастбище? Вы что же, и продукты на рынок поставляете?

— Гм... В этих делах я, признаться, профан. Во всяком случае, с весны прошлого года к нам вдруг стали поступать такие вот заказы. Первый, если не ошибаюсь, пришел с морского пастбища в Босо. Постепенно заказов становилось все больше, иногда они приходят из совершенно неожиданных мест: например, из глубоководного морского пастбища Ка-Эль в Тихом океане. Всего мы отправили до сих пор около двухсот тысяч голов коров и свиней; это составляет почти пять процентов сухопутного поголовья в нашей стране. Скорее всего этот скот поступает в собственность какой-то организации, и очень возможно, что с деловой точки зрения это вполне рентабельное предприятие.



— Даже не верится!..

— А я и сам хорошенько не понимаю. Хотя возьмите, например, отложения на дне океана, тот же глубоководный ил. Он является вполне сносным кормом для свиней. А раз так, то корма для свиней имеются в неограниченных количествах. Это позволяет пускать свиней на выпас, как овец. Почему же не допустить, что такое предприятие может быть рентабельным? Вон, глядите, как раз под нами доят вакуумным насосом корову.

— Если допустить, что такое огромное предприятие действительно существует, то почему о нем никто ничего не слышал? Нет, не могу поверить...

— Вот в том-то и дело, — резко сказал Ёрики, сидевший на веслах. — Организация, видимо, солидная...

Я еще не знал, враг он или друг, и потому не понял его тона. Может быть, он забрасывает удочку?

А я действительно колебался. Посещение этого места произвело настоящий переворот в моих мыслях — тут Ёрики оказался прав. Версия о торговле зародышами, о которой я раньше и слышать не хотел, надвигалась теперь на меня, как ощутимая реальность. А раз так, то необходимо заново переосмыслить всю цепь событий последних дней. Убийство заведующего финансовым отделом уже перестало, очевидно, быть центром этих событий.

Незаметно для меня самого стремление разыскать и настигнуть убийцу ослабело, сердце мое было теперь полно чувствами к похищенному ребенку. Я чувствовал, что становлюсь оппортунистом. Для того чтобы сохранить машину, я готов был подстроить ложное показание и объявить убийцей ту несчастную женщину. В каком-то смысле мое посещение лаборатории приблизило меня к сути дела, но я ощущал, что разрешение всей проблемы отодвинулось еще дальше. Что ж, дальше так дальше, мне все равно. С меня довольно,

я не желаю больше путаться в такие дела. Ёрики сказал, что полиция нас подозревает, но ведь и полиция, надо полагать, дорожит своим престижем. Пусть будет ложь, но это будет ложь машины-предсказателя, и полиция ухватится за нее, чтобы избавиться от такого запутанного дела. А сейчас я хочу одного: поскорее уйти отсюда и отдохнуть возле своей верной спокойной машины.

Но перед этим надо во что бы то ни стало сделать одно дело. Найти мое похищенное дитя и уничтожить его, пока не поздно. Если мне это удастся, я смогу навсегда повернуться спиной к делам господина Ямамото. Я найду самого заурядного человека и все начну сначала. Вот, кстати, помнится, в качестве объекта эксперимента предлагала себя Вада. Очень мило с ее стороны! Впрочем, с возрастом женщины перестают быть милыми. А в общем, наверное, у нее окажется мирное, тихое будущее, сотканное из маленьких радостей и маленьких печалей. Ничего особенно интересного, но более надежного объекта не найти.

— Почему, однако, все это держится в такой тайне? — спросил Ёрики. Видимо, не вынес молчания.

В эту минуту лодка причалила. Господин Ямамото с легкостью, поразительной для его телосложения, выпрыгнул на берег и, подав мне руку, спокойно ответил:

— Потому, что это дело слишком революционное. Оно произведет огромный переворот и во внутренней, и в международной обстановке. И даже мозговой трест организации не знает, вероятно, что из этого в конце концов получится.

— Зачем же заниматься делами, из которых неизвестно что получится?

— Возможно, с точки зрения финансовых баронов справиться с надвигающимися трудностями можно только путем создания искусственных колоний. Сейчас нет больше отсталых стран, где так прибыльно было торговать в старину, и к тому же

это куда более надежный способ вложения капитала, нежели война. Между прочим, сэнсэй, если бы ваша предсказывающая машина не стала объектом газетной шумихи, а была бы засекречена, эти господа, несомненно, явились бы к вам, чтобы узнать о будущем подводных колоний. Очень интересно знать, что бы она ответила. «МОСКВА», говорят, предсказала человечеству коммунизм, но вряд ли она принимала во внимание существование колоний на дне океанов.

— У нас не занимаются политическими предсказаниями.

— Ну разумеется! Ведь стеснять общество предсказаниями противоречило бы принципам либерализма.

Вдоль берега подводного пастбища шла высокая бетонная стена. Мы прошли через дверцу и снова оказались перед бассейном. Он был несколько больше бассейна в пятой камере, в стенах его чернели отверстия, забранные решеткой. Дрессировщик с аквалангом за спиной обучал подводную собаку. Шерсть собаки отливала черным блеском, словно средневековые латы.

— Это один из охотничьих псов, о которых говорилось в заказе. Он покрыт специальным жировым составом, защищающим кожу, ведь ему придется нырять и плавать в разных опасных местах. Видите, у него на лапах резиновые ласты. Обучение считается законченным, когда собака привыкает пользоваться ими. Этот будет отправлен завтра утром, и сейчас у него последняя тренировка.

Собака вдруг вытянула шею, изогнулась, откинув голову, и ринулась к одной из решеток. Миг — и она вернулась, держа в зубах рыбу.

— Вся штука, видимо, в том, что собака рыбу не убивает, — заметил Ёрики, а господин Ямамото добавил:

— Пока рыба в зубах, собаке приходится подавать воду к жабрам через нос, а не через рот. Это может делать только такой вот дрессированный пес.

Собака сунула морду в целлофановый мешок, который держал дрессировщик, подождала, пока дрессировщик зажал рукой отверстие мешка, и только тогда выпустила рыбу. Рыба действительно была живая. Видно было, как она двигается в мешке.

— Между прочим, сэнсэй, — сказал Ёрики, как будто что-то вспомнив, — знаете, как их пересылают по суше? Это тоже очень интересно. Есть такие грузовики-цистерны для перевозки нефти, у них позади болтаются цепи — может быть, вы видели. Так вот, животных сажают в эти цистерны. Отличная идея, правда? Когда я вижу, как эти грузовики мчатся штук по пять-шесть один за другим, ага, — думаю, — дело идет!..

— И теперь тебе не терпится показать свою осведомленность? — насмешливо сказал господин Ямамото.

— Ну вот еще... — смущенным голосом пробормотал Ёрики, после чего оба они расхохотались, как будто им было очень смешно.

Но мне-то было не до смеха. У меня не было сил даже улыбнуться.

27

Для возвращения домой лаборатория предоставила нам свою машину, и шофер из осторожности молчал. Мне нужно было сказать Ёрики одну-единственную вещь, прочих же разговоров с меня было достаточно. Ёрики, кажется, тоже был утомлен и не раскрывал рта. Незаметно я заснул. Меня разбудили уже возле дома. Очень болела голова.

— Завтра я буду спать до полудня...

— Завтра? Уже четвертый час.

Ёрики со слабой улыбкой машет мне в окно рукой. Я отвечаю ему кивком и вваливаюсь в дом. Я едва держусь на ногах.

Жена встречает меня каменным молчанием, но даже это на меня не действует. Опасаюсь, что не смогу уснуть от переутомления, протягиваю руку к бутылке виски у изголовья и, не дотянувшись, засыпаю.

Во сне меня снова и снова привозят в лабораторию Ямамото. Я уезжаю оттуда на машине и тут же опять приезжаю в другую лабораторию Ямамото. Словно в комнате с зеркальными стенами, все дороги бесконечно повторяют одна другую, и все ведут в бесчисленные лаборатории Ямамото. А там, за воротами, обитают страшные существа. Я не могу объяснить, чем они страшны, но страшны они нестерпимо. Они хотят покарать меня за то, что я опоздал на работу. Кара эта ужасна. У ворот уже читают обвинительное заключение. С каждым ударом сердца обвинение становится все более жестоким. Я должен спешить туда, и я должен бежать оттуда. И я уже сам не знаю, убегаю я или спешу. Куда бы я ни ехал, ворота лаборатории Ямамото ждут меня всюду...

В одиннадцатом часу я обнаруживаю, что лежу в постели у себя дома, и с облегчением вздыхаю. Этот мой вздох смешит меня, я смеюсь. Подобные сны частенько преследовали меня в молодости, когда я, бывало, выпивал слишком много саке. Я хотел поспать еще немного и вдруг вспомнил.

Я вскочил и пошел на шум пылесоса. Жена убиралась в моем кабинете на втором этаже.

— Я разбудила тебя? — сказала она, не поднимая головы.

— Нет, не беспокойся. Я хочу спросить тебя кое о чем.

— Где ты вчера был?

— Работал.

— Тебя так долго не было, я стала волноваться и позвонила в лабораторию.

— Я работал в другом месте!

Я почувствовал раздражение и обозлился на себя за то, что раздражаюсь. Но мне почему-то показалось, будто отныне

у меня есть право на злость. И когда я решил разозлиться по настоящему, зазвенел телефон. Я облегченно перевел дух.

Звонили из газеты. «МОСКВА-2» предсказала активизацию вулканической цепи на дне Тихого океана, и Советский Союз, стремясь выяснить возможную связь этого явления с необычайной температурой атмосферы в последнее время, предлагает сотрудничество заинтересованным организациям Японии. Газета спрашивала меня, примет ли это предложение лаборатория машины-предсказателя при ЦНИИСТе. Я ответил, что ничего сказать не могу, поскольку вся информация для прессы дается теперь исключительно через комиссию по программированию в Статистическом управлении. Чувство стыда, которое я всегда испытываю при подобных разговорах, с новой силой и совершенно особенным значением охватило меня.

За окном, меняя очертания, медленно тает ослепительное круглое облачко. Под ним ветка с листьями, крыша соседнего дома, двор. Еще вчера я верил в прочность своего ощущения непрерывности этого повседневного бытия. А теперь не верю. Если то, что я видел прошлой ночью, есть реальность, значит, мое ощущение повседневного меня обманывает. Все вывернулось наизнанку.

Я считал, что с помощью машины-предсказателя мир будет непрерывно становиться все более спокойным, все более прозрачным — прозрачным, как горный хрусталь. Я был идиотом. Или, может быть, слово «познать» означает в действительности не «увидеть порядок и закономерность», а «обнаружить хаос»?

— Постарайся еще раз вспомнить, что представлял собой этот родильный дом, куда тебя возили. Это очень важно.

Жена молчала, в замешательстве глядя на меня. Конечно, она не понимала, насколько это важно. И она представления не имела, как это меня заботит. А я не мог ей объяснить и едва

опять не разозлился. Даже если бы мне не навязали обязательство хранить тайну, все равно рассказать жене правду было бы невозможно. Это невероятно осложнило бы положение. Если судьба нашего нерожденного ребенка так потрясла меня, то что будет с женой, если она узнает... При одном предположении об этом у меня подкашиваются ноги.

Но выпытать у нее все-таки необходимо. Нельзя ли что-нибудь солгать?

— Как ты полагаешь, это был действительно родильный дом?

— А почему ты... — В ее голосе звучит беспокойство.

— Видишь ли, у меня есть основания полагать, что над нами зло подшутили.

— Как так?

— У меня был один старый товарищ, гинеколог. Он сошел с ума.

Это была вопиющая чушь, и в другое время я бы не удержался от смеха. Но я произнес это совершенно серьезно, и жена поверила. Лицо ее отвердело. Действительно, другое подобное оскорбление для женщины не придумаешь. Озорства ради положить на стол и вырвать из чрева младенца...

— Да, пожалуй, теперь мне начинает казаться, что это была не больница.

— На что это было похоже?

— Понимаешь... — Она сузила глаза и запрокинула голову. — Там все было голо и ужасно темно...

— Недалеко от моря?

— М-м...

— Здание двухэтажное? Одноэтажное?

— Д-да...

— А на дворе валяются железные бочки?

— М-м... Может быть...

— А врач как выглядел? Такой крупный мужчина, да?

— Д-да, возможно...

— Что же ты, совсем уж ничего не помнишь?

— Ведь мне дали какие-то пилюли. У меня все как в тумане; кажется, вот-вот вспомню — и не могу. Такое чувство, будто память у меня не моя. Но я отчетливо помню все, что было до того, как я приняла эти пилюли. Медсестру с родинкой на подбородке, например, я бы сразу узнала, если бы встретила.

Да, женщину с родинкой на подбородке я в лаборатории Ямамото не встречал. Кажется, остается только одно средство. Исследовать память жены машиной-предсказателем. Правда, это опасный путь. На этом пути уже погибла одна женщина, Тикако Кондо. Стоит ли попытка такого риска?

Я решился не потому, что ответил на этот вопрос. Просто меня охватила ярость. Нестерпимо уже одно то, что мне приходится испытывать такие страхи и волнения. С женой ничего не случится, я с нее глаз спускать не буду. Думать же об опасностях — значит унижать самого себя.

Я сказал жене:

— Мы идем. Пойди и переодейся...

28

Жена испытующе взглянула на меня, но промолчала. Может быть, потому, что я так ничего толком и не объяснил, а скорее всего мой тон просто не оставлял места для расспросов. Бывают случаи, когда нужно понимать без объяснений.

Я глядел, как жена с застывшим лицом спускалась на первый этаж, чтобы переодеться. Приходится признать, что я приспособил самоанализ к самооправданию. В конце концов, для чего я это затеял? Чтобы действительно защитить жену? Или чтобы использовать ее как послушный инструмент? Это

уже самодопрос. Мне становится стыдно, и я опускаю голову. А почему мне, собственно, стыдно? В чем моя вина? Этого я объяснить не могу. Или где-то в глубине души я уже предвидел страшную развязку, которая нас ожидала?

Как бы то ни было, ясно одно: я потерял уверенность. Ничего похожего на собственное мнение у меня больше нет. Осталось только непомерное беспокойство. Очень хочется бежать... Хотя странно было бы, если бы я не испытывал беспокойства. Я не знаю, сын у меня или дочь, это не важно. Мой ребенок будет иметь жабры, он будет жить под водой. Что же он подумает о нас, своих родителях, когда вырастет? Одна эта мысль приводит в содрогание. Это ужас, которого не выразишь никакими словами, который ничего не имеет общего с понятием об ответственности родителей. Детоубийство на фоне этого ужаса представляется благороднейшим, гуманнейшим поступком.

По лицу поползли капли пота. Я пришел в себя. Я простоял так минут десять и еще не умывался. Торопливо спускаюсь вниз. Сую в рот зубную щетку и ощущаю тошноту, словно с похмелья.

Раздался телефонный звонок. Я вдруг вспомнил про шантажиста — про отвратительного шантажиста, которому известны все мои действия и намерения, — не прополоскав рта, бросился к телефону. Звонил Томоясу из комиссии по программированию.

— Э-э... Я, собственно, по поводу советского предложения о сотрудничестве.

На этот раз его тягучий голос не раздражает меня, как обычно.

— Предложение отклоняется? — спрашиваю я равнодушно.

— Нет, не то чтобы отклоняется... Мы здесь решили пока выжидать и наблюдать.

Все по-прежнему. И газеты опять промолчат. Из выжидания и наблюдения сенсации не получится. Да и вообще интерес к машине за последнее время пошел на убыль. Вероятно, сработала пропаганда, утверждающая, что машина-предсказатель несовместима с либерализмом. Но теперь это меня не задевало. У меня просто не было сил обращать на это внимание. Если бы этот трус Томоясу, воображающий, будто он держит за шиворот будущее, узнал хотя бы сотую долю того, что я видел вчера ночью... Я молчал, и Томоясу заговорил снова:

— Кстати, как у вас с работой? Заседание комиссии состоится послезавтра, и я предвкушаю...

— Мы готовим интересный доклад. В частности, о характерных показателях личности.

— А в отношении убийцы?

С губы сорвалась на руку белая капля зубной пасты.

— Я составляю сегодня проект доклада, Ёрики передаст его вам, — быстро сказал я и повесил трубку.

И сейчас же снова раздался звонок. Вот на этот раз звонил действительно тот самый шантажист с моим голосом.

— Кацуми-сэнсэй? Как вы быстро взяли трубку! Вы словно ждали моего звонка... — сказал он со смехом и, не дожидаясь ответа, перешел на серьезный тон.

Его голос стал еще более похожим на мой:

— Впрочем, вы действительно ждали. Не правда ли?.. Ведь вы собираетесь совершить поступок, от которого я непременно предостерегу вас...

Да, в глубине души я действительно ждал звонка от этого шантажиста. Который уж раз он назойливо вмешивается в мои намерения. И все же я растерялся.

Если в моем доме не установлены скрыто подслушивающие устройства, то один только Ёрики мог предвидеть, что я собираюсь исследовать жену машиной-предсказателем. Но, с

другой стороны, Ёрики слишком ловок, чтобы так глупо раскрывать себя. Я ощутил близость невидимого соглядатая и поежился.

— Почему ты решил, что я ждал? Простая случайность!

— Совершенно верно. Ведь до моего звонка ваш телефон был занят.

Я смешался. Я еще допускал, что кто-то использует мой голос, записанный на магнитофонной ленте при помощи машины-предсказателя, но не представлял себе, как эта запись может всякий раз точно соответствовать положению вещей и правильно реагировать на мои слова.

— Вы удивлены? — осведомился мой собеседник. Понимался смешок: видимо, он догадался о моей растерянности. — Но хоть теперь вы поняли, кто я такой?

— Кто?

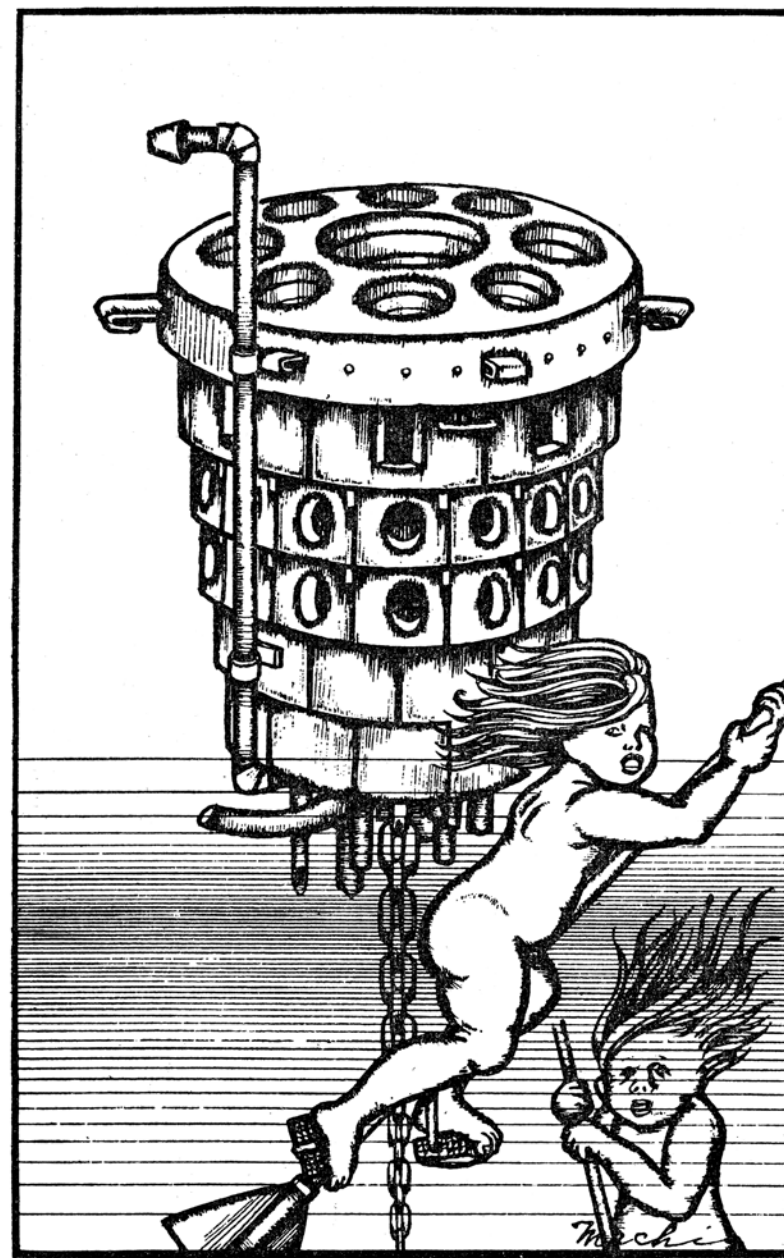
— Ну как «кто»... Неужели вы еще не поняли? Тогда даю вам еще один ключ. Перед этим вам звонил Томоясу-сан из комиссии по программированию.

— Ты Ёрики!.. Нет, ты, конечно, машина. Ты просто голос. Но управляет тобой Ёрики, это ясно. Он, должно быть, рядом с тобой. Пусть возьмет трубку, живо!

— Чепуха. Раз я говорю, то я и слушаю. Я позвонил вам по своей воле. Неужели вы полагаете, что машина способна на быстрые и точные ответы, если ею кто-то управляет? Кстати, сэнсэй, у вас рот набит зубной пастой. Вас, наверное, прервали во время умывания, не так ли? Если желаете, сходите и прополощите рот, я подожду. И прошу прощения, я не шучу. Я просто хочу доказать вам, что разговариваю по своей собственной воле.

— Тогда лучше скажи прямо и определенно, кто ты такой!

— Да, пожалуй, лучше сказать... Но неужели вы действительно не догадываетесь? Хотя это тоже возможно. Ну что же, сэнсэй, вы, конечно, уже обратили внимание на то, что мой го-



лос в точности походит на ваш. Вот вы сейчас подумали: ага, наверное, это просто случайное сходство. Так? Ладно, ладно, не будем спорить. Итак, сэнсэй, вы не пожелали узнать меня. То, что вы не желаете тратить на это усилий, и то, что я вынужден сейчас говорить с вами по телефону, — это, в сущности, две стороны одной медали. Я должен сообщить вам одно важное обстоятельство, и само это...

— А почему бы тебе не зайти сюда, ко мне? Ведь с глазу на глаз договориться было бы проще.

— Вы думаете? К сожалению, это невозможно. К тому же и разговор у нас не такой уж сложный...

— Тогда говори. И постарайся короче.

— Прекрасно. Постараюсь, — сказал голос выразительно и, помолчав, продолжал: — Коротко говоря, вы приняли решение совершить непоправимый поступок.

Я подумал, что нужно быть осторожным. Мой собеседник свободно пользуется и залихватскими интонациями бродяги и сухим, чиновничьим тоном. Значит, это не обычный человек, у которого что на уме, то и на языке. Какое ремесло требует проникновения за внешнюю оболочку человеческого существования, за маску общественного положения и профессии? Прежде всего, видимо, ремесло сыщика и шантажиста. Может быть, изображая из себя всезнайку, он просто хочет выведать мои намерения.

— Ну, знаете ли... — ответил на мое молчание голос, тихонько откашливаясь. — Хотя в том, что вы меня подозреваете, нет ничего удивительного. Это мне понятно. Итак, вы сейчас собираетесь выйти, взяв с собой жену? Так?.. Нет, не подумайте, пожалуйста, что я наблюдаю за вами в бинокль из какого-либо дома поблизости.

Впрочем, действительно, в настоящий момент у вашего дома дежурит наблюдатель. Посмотрите в окно в конце коридора, живее!

Я послушно оставил трубку и выглянул, как было сказано. Как раз в этот момент мимо ворот слева направо со скучающим лицом проходил мой шпион. Я попятился, вернулся к телефону и осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, взял трубку.

— Ну как? — сейчас же спросил голос. Как он узнал, что я уже у телефона? — Это тот самый молодой человек, с которым вы тогда подрались. Между прочим, весьма способный специалист по всякого рода убийствам.

— Ты откуда говоришь?

Терпеливо преодолевая тупую боль, которая поднимается от позвоночника к голове, я пытаюсь сообразить, откуда, разговаривая по телефону, можно одновременно наблюдать за моим домом.

— Да нет же, я уже, кажется, сказал, что звоню издалека. Ага, отлично, вот здесь у меня проезжают пожарные машины. Окно у меня открыто. Вы слышите? У вас ничего не слышно, не правда ли?

— Любой дурак может проделать такой фокус при помощи магнитофона.

— И это верно... Тогда запишите номер моего телефона. Будете знать номер, и ваши сомнения исчезнут. Я положу трубку, а вы позвоните, хорошо?

— Хватит с меня! Мне все равно.

— Нет, так не пойдет... — Голос вдруг стал увещающим. — Это очень важно. Я-то ведь вижу все насквозь...

— Ну и что из этого?

— Ты так ничего и не понял, бедняга...

Шантажист глубоко вздохнул. В его тоне была такая искренняя печаль, что меня даже не задел переход на фамильярное «ты».

— И ты до сих пор не догадываешься, кто с тобой говорит? Это же я. Ты сам... Я — это ты!

Долго я стоял неподвижно. Не только плоть, но и душа моя словно замерла, затаилась. Это не было простым чувством вроде страха. Это было странное состояние, в котором смешались спокойствие и смятение, как будто мне с самого начала сказали обо всем, и я давно все знаю, и все же в любой момент готов сойти с ума. Это спокойствие можно сравнить с ощущением идиотского веселья, которое испытываешь, когда видишь смутно знакомого тебе человека и вдруг обнаруживаешь, что это твоё отражение в зеркале. А смятение сродни невыразимо грустному отчаянию, какое бывает во сне, когда превращаешься в духа, паришь под потолком и смотришь сверху на собственный труп...

С трудом подбирая слова, я выговорил:

— Как же это?.. Значит, ты — это я... синтезированный машиной, что ли?

— Это не так просто. Ты же знаешь, что синтезированная личность не может вести такой разговор.

Я непроизвольно киваю.

— Но ведь у тебя не может быть сознания.

— Ещё чего!.. У меня же нет тела... Я — это всего-навсего запись на магнитофонной ленте, как ты и предполагал. И, естественно, я не могу обладать таким сокровищем, как сознание. Зато я более детерминирован и определен, нежели сознание. Мне в мельчайших деталях известна наперед вся работа твоей мысли. И что бы ты ни делал, как бы ни поступал, ты всегда останешься в пределах предусмотренной во мне программы.

— Кто же составил тебе конспект для этого разговора?

— Никто. Он определен самим тобой.

— Значит?..

— Правильно. Я — это второе предсказание твоего будущего, учитывающее знание первого предсказания. Короче, я — это ты. Ты, познавший себя до конца.

Я вдруг ощутил себя далеким крошечным существом. А на том месте, где я находился, тяжело и медленно, как вывеска парикмахерской¹, ворочалась огромная склизкая боль.

— Кто же приказал тебе позвонить? Ёрики?

— Ты все еще не понимаешь. Ты никак не можешь освоиться с истинным положением вещей. Моя воля — это твоя воля. Ты только не осознал ее, вот и все. Я поступаю так, как поступил бы ты, зная свое будущее.

— Как же ты управляешь магнитофоном?

— Перестань молотить чепуху. Конечно, мне помогает человек. Это Ёрики-сан, ты угадал... Но не думай, пожалуйста, что это его интриги или что-нибудь подобное. Все, что он до сих пор сделал, делалось по моей просьбе. И если ты подозреваешь Ёрики, подозревай лучше самого себя...

— Ладно, пусть так. А зачем тебе нужно было вести себя, как шантажист, пугать меня этими звонками?

— Я не пугал. Я предупреждал.

— Все равно, зачем был нужен этот окольный путь? Если тебе известно мое будущее — значит, вероятно, известны и мои враги? Почему нельзя было действовать более прямыми путями?

— Враги... Ты не исправим. Поистине враг в тебе самом. Твой способ мышления — вот кто наш настоящий враг. Я просто хотел спасти тебя от катастрофы... А-а, вот и хорошо, идет Садако. Впрочем, хотя я — это ты, тебе, конечно, неприятно, что я ее так называю. Ладно, буду называть ее женой. Она переделась и ждет тебя за дверью. И, вероятно, с недоумением слушает наш разговор. Позови ее и дай ей трубку, я хочу спросить ее кое о чем.

¹ В Японии вывеской парикмахерских служит медленно вращающийся цилиндр из стекла.

— И не подумаю!

— Правильно, я знал, что ты это скажешь. Если рассказать ей хоть о чем-нибудь, придется рассказать обо всем. На это у тебя не хватит смелости. Ты ведь так и не сказал ей, куда собираешься ее вести. Впрочем, в этом теперь нет необходимости.

— Это почему? Это оскорбление не пройдет даром...

— Ладно, ладно. Если не хочешь позвать ее к телефону, спроси сам. Спроси ее про фиктивную медсестру с родинкой... Твоя жена сказала, кажется, что родинка была на подбородке... А не ошиблась ли она? Может быть, родинка была не на подбородке, а на верхней губе?

30

Я задохнулся. Я просто забыл, что нужно дышать. Издалека пробивается луч света, и все вокруг меняет свой облик. Родинка не на подбородке, а на верхней губе... Подвела память, жена просто забыла. Значит, этой медсестрой была моя помощница Кацуко Вада? У нее родинка на верхней губе. Она стесняется и привыкла держать голову опущенной, чтобы родинка не бросалась в глаза. И тогда эта родинка видна у нижнего края подбородка, и затуманенная память переносит ее на подбородок.

— Садако! — в ужасе кричу я на весь дом. — Родинка у медсестры!

Дверь приоткрылась, и показалось испуганное лицо жены.

— Что с тобой? Ты так меня напугал...

— Эта родинка, где она была?.. Может быть, не на подбородке? Может быть, здесь?

— Пожалуй... Кажется, да...

— А точно? Вспомни хорошенько!

— Если я ее увижу, то вспомню, но... Пожалуй, что да.

— Именно на губе... — сказал голос в трубке.

Я торопливо махнул рукой, отсылая жену. Но она не ушла. Она стояла, глядя мне в глаза холодными глазами. Не понимаю, почему у нее такое лицо. Я крепче прижимаю трубку к уху и поворачиваюсь спиной.

— Другими словами... — продолжает мое второе «я», — этой медсестрой была, как ты догадался, Кацуко Вада. Твоя жена не знает ее, потому что Вада была больна, когда остальные твои сотрудники приходили к тебе на Новый год с поздравлениями. Но теперь ты понял, что твои представления о друзьях и врагах ни на что не пригодны?

— Если так, то все прекрасно. Ведь она сделала это по моему поручению, иначе говоря — по твоей просьбе.

— Чем же ты недоволен?

Я украдкой оглянулся. Жены уже не было.

— Тем, что теперь все мне кажутся врагами.

— Да, пожалуй... — произнес он спокойно и, как мне показалось, печально. — Что же, ты сам был беспощадным врагом самому себе. И мы ничем не могли помочь тебе, как ни старались.

— Понял, хватит! — Меня вдруг охватила ярость. — Довольно ходить вокруг да около! Какой вывод? Что я, по-твоему, должен делать?

— Чудак... Я думал, что ты уже сделал вывод. Прежде всего, теперь уже нет необходимости поднимать шум и тем более впутывать в эту историю жену.

— Я не поднимаю шума!

— Ну как же? Ты что, вообразил, будто жена так просто, безо всяких объяснений, согласится на исследование машиной? Если ты так полагаешь, то ты просто дурак. Ты с гордостью думаешь о себе: я-де человек хладнокровный, я все вижу и могу делать вид, что ничего не замечаю. А на самом деле ты скучен и консервативен до мозга костей, и жена теперь ни за

что не разрешит тебе заглядывать в ее душу. Почему? Да потому, что в ее душе есть нечто такое, что не предназначено для твоих глаз. Нет, не беспокойся, это не ревность и не измена. Это гораздо хуже. Презрение и безнадежность.

— Чушь!

— Нет. Засады устраиваются в самых неожиданных местах. Ты ничего и не подозреваешь — и вдруг наталкиваешься на препятствие, и это становится поворотным моментом в твоей судьбе. Чтобы заставить жену согласиться на исследование, тебе пришлось бы кое-что ей рассказать... И так волею неволей ты бы раскрыл тайну лаборатории Ямамото.

— Это всего лишь твое предположение.

— Это не предположение, это предопределение. Ты бы все равно пришел к такому выводу. И если бы я не позвонил тебе, ты так бы и поступил. Впрочем, были еще другие пути избежать этого. Например, испросить у господина Ямамото для твоей жены разрешение на осмотр лаборатории. Хотя это, кажется, не входило в твои намерения. Твои мысли направлены в диаметрально противоположную сторону. Ты побывал в лаборатории, ты начал понимать, что повседневное является всего лишь изнанкой реальности, и тем не менее ты думаешь только о том, как бы убить своего ребенка, порвать все связи с будущим и навсегда зарыться в этот мир изнанки. Помнишь, вчера вечером Вада-кун сказала тебе, что идет суд? Да, то был настоящий суд. А то, что я говорю тебе сейчас, это, возможно, решение суда. Не верится, что такой человек, как ты, закоренелый консерватор, консерватор до мозга костей, мог создать машину-предсказатель.

— Ты что же, позвонил мне специально, чтобы читать проповеди?

— Ты говоришь так, будто речь идет о постороннем человеке. Но ведь я — это ты... Впрочем, ладно... Как бы то ни было, число жертв нужно свести к минимуму. Ты уже знаешь,



что медсестрой была Вада-кун, и теперь нет необходимости исследовать жену машиной. Если ты хоть это уяснил, об остальном можно не беспокоиться.

— Значит, мой ребенок положен на искусственную плаценту и будет подводным человеком?

— Совершенно верно.

— Зачем? Кому это понадобилось?

— Понимаю. Тебе хочется знать причину. Это понятно. Давеча господин Ямамото все время ждал, что ты начнешь расспрашивать о внеутробном выращивании людей, но ты оказался, как он выражается, чересчур застенчивым человеком. Поэтому я запросил для тебя разрешение на осмотр питомника подводных людей. Для этого нужно отдельное разрешение. Вероятно, мой запрос уже рассмотрен, но за ответом тебе придется сходить в комиссию самому. Примерно часов в пять за тобой зайдут.

— Еще одно... Кто в конце концов убил этого заведующего финансовым отделом?

— Конечно, Ёрики-кун... Но не торопись с выводами. Приказ убить отдал я, то есть ты.

— Знать не хочу об этом!

— Можешь не знать, это ничего не меняет.

— А кто это сейчас кашлянул? Там Ёрики возле тебя?

— Нет, это Вада-кун.

— Все равно... Передай трубку!

— Возьмешь трубку? — спросил он в сторону, и ему ответил нежный смеющийся голос Вады:

— Давайте, сэнсэй, довольно вам с самим собой разговаривать.

Вот именно, с самим собой. Смешно получается, один я уже там есть, не хватает только, чтобы туда нагрязнул второй я. Но что за положение! Пальцы у меня вдруг одеревенели, и трубка едва не выскользнула из потной ладони. Пытаясь

удержать ее, я неловко повернулся и нажал на рычажок телефона. Набрал номер, но ответом было только низкое гудение.

Вероятно, так и должно было случиться. Если он является вторым предсказанием моего будущего и ему известно обо мне все до мельчайших деталей, значит, он предвидел и мою оплошность с трубкой. Но у меня были еще вопросы к нему. Если он приказал убить заведующего финансовым отделом, то выходит, что он существовал уже тогда. То есть еще до того, как я додумался до предсказания будущего отдельных людей. Когда же он появился на свет? И кто его создал?

Я позвонил Ёрики. Его не было. Вады, разумеется, тоже не было.

Жена сказала через дверь:

— Я готова.

— Все. Уже не нужно.

— Что не нужно?

— Не нужно идти. Все уже выяснилось.

— Вот как... Станный у тебя был разговор по телефону.

Я распахнул дверь и остановился на пороге. Жена, глядя в сторону, отстегнула брошь и швырнула на столик перед трюмо.

— Я хочу спросить тебя, — проговорил я. — Ты меня презираешь?

Жена подняла удивленное лицо, затем, словно нехотя, рассмеялась. И сказала сквозь смех:

— У тебя весь рот в зубной пасте...

Я хотел что-то сказать, но промолчал. Мне все стало противно. И сам себе я стал противен. Я не подозревал, что мы видим друг друга в последний раз, я — ее застывшую улыбку, от которой мне было тошно, она — мою идиотскую, заляпанную зубной пастой физиономию. Я закрыл дверь и вернулся к умывальнику. Прополоскал рот и начал бриться.

Через каждые тридцать минут я звонил в лабораторию, разыскивая Ёрики, а в промежутках неторопливо просматривал газеты. Как всегда, международные соглашения, вопросы о территориальных водах, экономический шпионаж... необычайно высокая температура атмосферы, повышение уровня Мирового океана, землетрясения... повествования о красавицах, об убийствах, о пожарах. Странно, что набор этих неприветливых явлений мог когда-то приводить меня в сентиментальное настроение. Я видел краешек будущего, и все обыденное, в том числе и мой сорокашестилетний возраст, казалось мне теперь неимоверно далекой стариной. У меня было такое ощущение, будто я свалился от усталости и остался один на дороге.

Незаметно я снова заснул. Газета, на которую я лег лицом, намочила от пота. Вернулся из школы Есио, бросил сумку и сразу помчался куда-то. Жена сердито закричала ему вслед. Я поднялся. Захотелось позвать Есио, поговорить с ним о чем-нибудь. Но в следующий момент его легкие шаги уже затихли где-то в далеком переулке.

Я спустился на нижний этаж. Жена окликнула из кухни:

— Может быть, поешь?

— Нет. Потом.

Я обул гэта¹ и вышел. Мне хотелось немного побродить.

Едва я вышел на улицу, как в глаза мне бросился мой шпион. Волоча ноги и пиная камешки на дороге, он шел в мою сторону, и лицо у него было такое, будто ему все на свете надоело. Увидев меня, он остановился как вкопанный. Я двинулся прямо на него, но на этот раз он и не думал убегать и поклонился мне со смущенной улыбкой.

¹ Гэта — род японской деревянной обуви.

— Ты что здесь делаешь?

— Виноват...

Я не стал больше разговаривать с ним и прошел мимо. Но он повернулся на пятках и пошел рядом со мною. Вряд ли он такой дурак, чтобы пытаться напасть на меня сейчас. Слышны голоса играющих детей, повсюду прохожие. Желая уязвить его, я заметил, что он здорово отличился прошлым вечером, но он только оскалил зубы в наивной улыбке и пробормотал:

— Да нет, я сделал только, как приказано...

— Это правда, что ты большой мастер убивать?

— Ну уж и большой. Так, выполняю поручения...

— А что тебе сейчас поручено?

— Виноват, сэнсэй... — Он как бы в затруднении опустил глаза. — Поручили пока только следить за вами, больше ничего...

— Кто поручил?

— Вы сами, сэнсэй, кто же еще?

Вот оно что! Итак, мое второе «я» имеет дело с заказами на убийства из-за угла. Никогда в жизни не подозревал, что способен на это. Если бы я не был напуган до оцепенения, меня бы, наверное, затрясло от отчаяния и ужаса.

— Так... И сколько человек ты уже убил?

— Да пустяки в общем-то... С тех пор как я у вас, не убил еще ни одного...

Я перевел дыхание.

— А до этого?

— Одиннадцать человек. Я ведь чем силен? Не оставляю никаких следов. Сперва оглушаю, а потом зажимаю нос и рот. Он и задыхается. Возни, конечно, много, зато уж комар носа не подточит. А ежели требуется сделать утопленника, тогда вставляю в нос резиновую трубку и вливаю воду. При этом нужно делать искусственное дыхание, тогда вода накачивается в легкие. От настоящего утопленника нипочем не отличить.

И душить можно тоже по-разному. Наложить вот так на все горло раскрытые ладони, взять поплотнее, тогда вообще никаких следов не будет. Правда, на это много времени уходит. И еще он сопротивляется. Тут уж первое дело — сломить у него дух. Наносишь какое-нибудь повреждение, легкое, не смертельное. Палец, к примеру, сломаешь или глаз выдавишь... Инструментом я никогда не пользуюсь. Инструмент непременно оставляет след. Всегда работаю голыми руками... Есть у меня такая способность: как увижу человека, кто бы он там ни был, сразу знаю, как у него дух сломить. С одного взгляда. Это вроде гипноза, что ли... Нажать на больное место, и человек готов, все равно что мертвый, делай с ним что хочешь. Взять, к примеру, вас, сэнсэй... Вообще-то это говорить не положено, ведь если человек такую вещь знает заранее, справиться с ним трудно. Ну вам, сэнсэй, можно... Так вот у вас это место — лицо или сбоку живота.

Для чего мое второе «я» наняло этого человека? Может быть, для охраны, но не исключено, что ему дали поручение по специальности. В любом случае все это очень странно. И незачем мне разгуливать с таким субъектом.

— Ты можешь идти домой.

Он ухмыльнулся и искоса посмотрел на меня.

— На такой крючок вы меня не подцепите, сэнсэй. Вы же сами сказали: ни при каких обстоятельствах не подчиняться приказам, даже вашим собственным, если не в письменном виде. Нет, меня вы не проведете. Лучше давайте зайдем куда-нибудь и закусим, если вы свободны. А то я утром забыл захватить завтрак. Я уж решил было потерпеть, но если мы будем вместе, приказая нарушу. Прошу вас, сэнсэй, сделайте одолжение... Было бы здорово поесть сейчас гречневой лапши...

В конце концов отказываться было лень, к тому же можно было рассчитывать как-то приручить этого подонка, и я согласился. Он потащил меня в ближайшую харчевню. У меня



тоже с утра ничего не было во рту, и, хотя есть не хотелось, я заказал себе лапшу в корзинке. А мой смертоносный приятель, несмотря на жару, взял суп с лапшой и засыпал в него огромное количество красного перца. Ел он страшно медленно, смакуя каждую лапшинку, и так увлекся, что не замечал мух, ползавших по его лицу. Это было еще более мерзко, чем его откровения о способах убийства.

По телевизору объявили пять часов. Шпион сейчас же вскочил и, оглянувшись по сторонам, сказал: «В пять часов я должен позвонить и узнать, куда вас сегодня везти...»

С обеспокоенным лицом он помчался к телефону в углу и схватил трубку. Кажется, ему ответили немедленно. Он произнес несколько слов, покивал, затем повесил трубку и вернулся. На лице его было написано облегчение.

— Господа уже собрались и просят пожаловать незамедлительно, — сказал он.

— Куда?

— Как куда? С вами же договорились... что я зайду за вами после пяти...

Так вот кого мое второе «я» посылает за мной! Этот субъект должен доставить меня в пресловутую комиссию питомника подводных людей. Значит, он тоже из них. Как все это, оказывается, просто и в то же время сложно. И каким все это кажется сложным и в то же время необыкновенно простым.

— А кому ты сейчас звонил?

— Господину Ёрики.

— Ёрики! При чем здесь Ёрики? Какое он-то имеет отношение к этой комиссии?

— Не знаю...

— А куда ехать, ты знаешь?

— Так точно.

Я первым выскочил из харчевни и тут же поймал такси. Сейчас, наконец, замкнется кольцо загадок, я увижу охотника,

который ставит ловушки, доберусь до ствола, который скрыт за ветвями. Заплачу, что я должен, но и вы, господа, вернете, что должны мне, затем мы подведем итог и посмотрим. Я не думал о том, что моя рубашка измята, а на ногах у меня гэта, что в кармане моем осталось всего тридцать иен. Там Ёрики, за такси пусть платит он.

Мой провожатый, как и подобает специалисту по убийствам, хорошо знал город. Он командует шоферу сворачивать то налево, то направо, словно нарочно выбирая самые глухие и узкие переулки. Но едем мы, кажется, не в ту сторону, куда я предполагал, не к строительному участку, и мало-помалу меня охватывает беспокойство. Вскоре мы выезжаем на знакомую улицу. Вот трамвайная линия, вдоль которой я прохожу по утрам и по вечерам. Мой провожатый хлопает шофера по плечу: «У табачной лавочки сверни и — направо, к белой ограде...»

— Что за дурацкие шутки? — растерянно сказал я. — Это же филиал ЦНИИСТА, моя лаборатория.

— Так точно, — отозвался шпион, отодвигаясь, чтобы дать мне выйти. — Так приказал Ёрики-сан...

Возражать и спорить не имело смысла. Я вышел и спросил вахтера. Все правильно, ответил вахтер, никакой ошибки нет, все уже собрались и ждут сэнсэя. Мой провожатый удовлетворенно закивал и стал поглаживать подбородок.

— В какой комнате?

— На втором этаже, в машинном зале.

В окнах второго этажа отражались закатные облака, стекла слепо отсвечивали белым блеском. Я попросил вахтера расплатиться за такси и пошел через двор. На полпути я обернулся. Вахтер испуганно глядел на мои гэта. А господин убийца неподвижно стоял рядом с ним, опустив длинные руки и улыбаясь.

У входа я переобулся в дзори, предназначенные для посетителей.

На первом этаже я заглянул в отдел обработки материалов. Неутомимый Кимура и его четверо молодых помощников методично и упорно рассортировывали и кодировали горы всевозможных данных, которые когда-нибудь для чего-нибудь могут пригодиться. Этот отдел можно назвать кухней для машины-предсказателя. Работа здесь монотонная, но требует большой точности, признает только факты, и никого здесь не волнует, идет эта пища машине на пользу или во вред. Говоря по правде, такая работа нравится мне больше всего. В отделе информации было пусто.

В коридоре второго этажа с его единственным окном было уже темно. Я прислушался, но ничего не услышал, кроме заглушенного уличного шума. Я осторожно подкрался к двери машинного зала и заглянул в замочную скважину, но ее заслоняла чья-то спина.

Я взялся за дверную ручку, быстро повторяя в уме то, что собирался сказать.

(«Кто вы такие?! Кто вам разрешил? Возможно, вы какая-то комиссия, но я не могу предоставлять этот зал сборищу, о котором впервые слышу. Во-первых, машина-предсказатель находится под строжайшим контролем правительства. Даже я сам обязан докладывать о своей работе с нею. Итак, прошу дать мне объяснение. Я не могу допускать своеволия. Не знаю, господа, какие у вас права, но здесь, во всяком случае, за все отвечаю я...»)

И я, предвкушая эффект этой речи, распахнул дверь. Ледяной ветер пахнул мне в лицо, ожег глаза. И я замер, не в силах произнести ни слова. Все было совсем не так, как я ожидал.

Это я был таким, каким меня здесь ожидали увидеть. Четверо мужчин и одна женщина, улыбаясь, смотрели на меня. И я знал их всех, слишком хорошо знал. И все они были совершенно спокойны.

Слева за столом сидели господин Ямамото и Кацуко Вада... Напротив, между двумя блоками машины, стоял Ёрики... Можно было примириться и с тем, что тут же в углу оказался Соба, эта верная тень Ёрики... Но справа у телеэкрана я увидел еще Томоясу из комиссии по программированию! Это меня доконало. Я-то, разиня, считал Томоясу простым винтиком казенного механизма!..

Куда ни шло, если фигура злодея возникает перед тобой из мрака неизвестности. Гораздо страшнее обнаружить, что ты жил с ним бок о бок и ни о чем не подозревал. Я был ошеломлен, я понятия не имел, как нужно держаться. Мелькнула мысль, что самый ужасный из призраков — это чуть измененный лик хорошо знакомого человека...

— Мы вас ждали, — произносит Ёрики.

Он делает шаг вперед и жестом предлагает мне занять место в пустом пространстве посередине зала. Остальные просто и сдержанно здороваются со мной. Мне сразу становится легче. Ну конечно, я ожидал чего-то совершенно необычного, и потому, видимо, самые заурядные вещи показались мне необыкновенными. На самом же деле все очень обыкновенно.

Я решил держаться как ни в чем не бывало. Усевшись на предложенный стул и вежливо склонив голову в сторону господина Ямамото, я с достоинством осведомился:

— Чем же мы будем заниматься на этом собрании?

— Рассмотрим вашу просьбу о разрешении на осмотр питомника подводных людей... — обычным своим серьезным тоном быстро проговорила Вада.

— В соответствии с вашим пожеланием, сэнсэй... — тут же добавил господин Ямамото и закивал с добродушной улыбкой на своей огромной, несколько растерянной физиономии.

Внезапно мне снова сделалось скверно. Нет, все-таки это очень необычно. Я уже не поспевал за стремительной сменой

своих ощущений. Лицо мое оставалось неподвижным, но душа, сжавшись в комок, забилась в самые недра моего существа.

— Официально настоящее собрание, — сказал Ёрики, — называется «Комиссия лаборатории ЦНИИСТА при административном бюро компании по разработке и эксплуатации морского дна». Но это слишком длинно и к тому же не выражает с достаточной полнотой существа дела. Поэтому обыкновенно мы называем себя просто «комиссией бюро».

— Хотя мы всего лишь комиссия, с нами очень считаются, — заметил Соба.

— Совершенно верно, — сказал господин Ямамото, покачиваясь на стуле. — Я ведь, кроме того, еще и член правления. Меня назначили сюда наблюдателем именно в силу важности комиссии при машине-предсказателе...

Я опустил глаза и пробормотал бессильным голосом:

— Кто вам разрешил пользоваться этим помещением?

— Я, — прозвучал вдруг голос в динамике машины.

— Второе предсказание вашего будущего, сэнсэй, — подтвердил, словно оправдываясь, Томоясу и оглянулся на динамик.

Воцарилось неловкое молчание. Они меня жалеют, подумал я. Мне не было стыдно за свой жалкий вид.

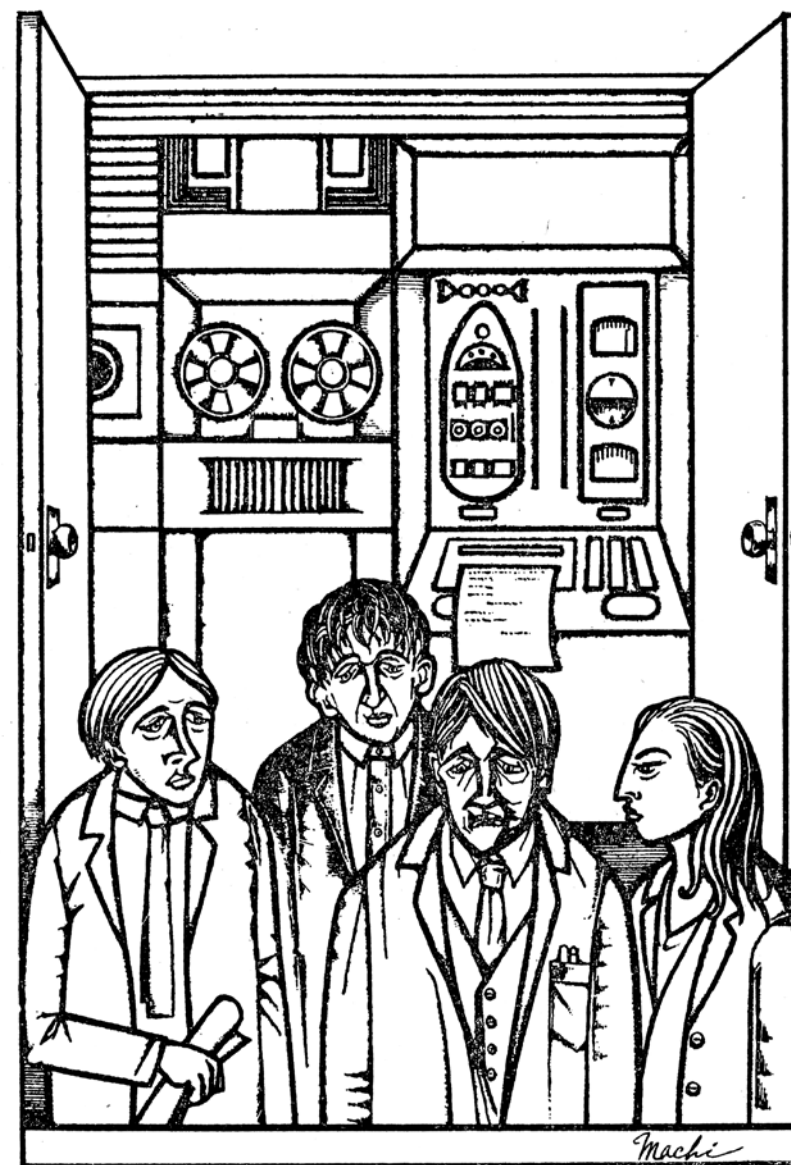
Господин Ямамото чиркнул спичкой.

— Начнем?.. — тихо сказал Ёрики.

Соба включил магнитофон.

— Пожалуй, начнем, — сказал Ёрики. Видимо, он здесь за председателя. — В соблюдении каких бы то ни было формальностей нужды, пожалуй, нет. Главный вопрос, который мы должны рассмотреть, — это просьба... гм... Кацуми-сэнсэя о разрешении на осмотр и наше решение по этой просьбе.

— Решение определено выводом, — произнесла машина моим голосом, — следовательно, вопроса для рассмотрения нет.



— Правильно, — сказала Вада, наматывая на палец прядь волос. — Остается претворить решение в жизнь.

— Не спорю. Но комиссия обязана дать объяснения. Если вам не нравится выражение «рассмотрение вопроса», пусть будет «ответ на просьбу», что ли... Итак, сэнсэй, принимая во внимание вывод, мы, к сожалению, вынуждены были отказать вам в вашей просьбе. Причина отказа заключается в том, что вы задумали убийство, сэнсэй, вы намерены совершить преступление, именуемое детоубийством. Мы отказываем вам, чтобы предотвратить это преступление...

Я проглотил слюну и поднял глаза. Но я не мог выразить словами то, что думал. Ёрики продолжал, словно успокаивая:

— Вместо осмотра, чтобы вы имели возможность полностью уяснить положение дел, мы намерены предложить вам посмотреть на телеэкране будущее подводного человека, предсказанное машиной. Это решение принято только нашей комиссией, но нам кажется, что это даст вам больше, нежели осмотр. А затем мы перейдем к выводу, о котором здесь уже говорилось. Разумеется, сначала мы объясним вам, как и почему был сделан этот вывод. Одновременно вы получите представление об истинной сути того, что происходило за последние несколько дней.

— А ведь убийцей оказался ты! — крикнул я старческим визгливым голосом, испугавшим меня самого.

— Вы уже давно об этом знали, сэнсэй... Только нельзя отрывать это от всего остального... Нужно понять это в связи с целым... иначе говоря, из каких соображений...

— Поэтому, — раздраженно прервала его Вада, — не лучше ли начать с вопросов, которые представляются сэнсэю самыми значительными? Например, когда и для чего было сделано второе предсказание его будущего...

Да, вероятно, мне хотелось знать это больше всего. Но я чувствовал, что меня видят насквозь, и был оскорблен. Подумать

только, даже эта Вада уже давно считает меня безнадежным невеждой! Это было нестерпимо. Я брякнул первое, что мне пришло в голову. Именно брякнул:

— Прежде всего я хочу знать, что это за вывод, о котором здесь толкуют?

— Видите ли... — проговорил Ёрики как бы в затруднении и огляделся.

Но остальные молчали, разглядывая свои ногти. Видимо, Ёрики понял это молчание как поддержку и, медленно облизнув губы, сказал:

— Вывод состоит в том, что нам придется, сэнсэй, просить вас умереть...

— Умереть?.. Что за чушь!

Я приподнялся со стула. Но я не ощущал беспокойства и даже, кажется, иронически улыбался. Ёрики продолжал:

— ...и сейчас мы постараемся объяснить вам причину этого...

— Довольно!

Что они мне могут сделать, эти субъекты? Да ничего, нужно просто встать и, не говоря ни слова, быстро выйти. И ничего не случится, ничего не может случиться. Но я поглядел на их лица, удрученные и расстроенные, и вдруг содрогнулся.

— Послушайте, сэнсэй, — сказала Вада, подавшись ко мне. — Вы не должны отчаиваться. Вы должны бороться до последнего.

Все согласно закивали. Ёрики сказал ободряюще:

— Вот именно. Это вывод, но вывод чисто логический. Мы же знаем, что логика меняется в зависимости от исходной гипотезы. Мы уже сделали все возможное, чтобы спасти вас, сэнсэй, но вы ни в коем случае не должны терять надежды. Вывод теперь вам известен, и мы рассчитываем, что вы сами найдете условия, на которых можно совершенно изменить ответ... А теперь прошу вас слушать внимательно.

Логика не может убить человека... Во всяком случае, не может быть логики, которая приказала бы мне умереть. Эти люди в чем-то ужасно ошибаются. Впрочем, я остался сидеть посередине зала не потому, что поверил их словам, и не для того, чтобы бороться с этой логикой. Уже были хладнокровно убиты два человека, из утробы матери похитили ребенка, где-то поблизости рыщет убийца-виртуоз. Какова бы она ни была, эта логика, убить меня им, видимо, ничего не стоит. Говоря по правде, даже слушать их было унижительно. Но почему-то я не мог двинуться с места. Мне казалось, что если я буду сидеть совершенно неподвижно, время остановится тоже.

— В общем, я буду объяснять по порядку... — торопливо заговорил Ёрики. — Я узнал о существовании этой организации примерно в сентябре прошлого года... как раз когда машина была закончена и стала показывать на экране, как бьются стаканы... В это время, если вы помните, к нам по рекомендации господина Ямамото из госпиталя Центральной страховой компании поступила Вада-кун. Коротко говоря, она мне и рассказала впервые об этом...

Вада, испытующе взглянув мне в глаза, заметила:

— Но я рассказала не сразу. Сначала я подвергла его строгому испытанию.

— Еще бы. — Ёрики покосился на нее. — Испытание было строгое. Я даже заподозрил было, что меня хотят завлечь в любовные сети. Она беспрерывно рассказывала мне всякие романтические и фантастические истории о будущем, которое якобы покажет машина. Я даже решил, что она поэт. Я относился к этому довольно благодушно, и вдруг оказалось, что это и есть страшное испытание.

— Я проверяла его реакцию на представления о будущем... о будущем, которое оторвано от настоящего. Вернее,

проверяла, что его интересует больше: сами предсказания или машина-предсказатель. Вас я тоже подвергала как-то испытанию, сэнсэй, вы помните?..

Да, что-то такое было. Ничего конкретного на память не приходит, помню только, как она болтала какую-то потешную чепуху и как мне было смешно. Я хочу ответить что-нибудь, но язык присох к гортани, и слов не получилось.

— Впрочем, вы, сэнсэй, оказались безнадёжны. Вы идумать не желали о том, что будущее может изменить настоящему. И следовательно... Как бы это сказать... Вот, например, машина-предсказатель не может отвечать, если не получит вопрос. Сама задавать себе вопросы она не может. Поэтому при работе с машиной-предсказателем очень многое зависит от того, кто задает вопросы. И вот в этом смысле вы, сэнсэй, как мне кажется, совершенно неспособны работать с машиной.

— Неправда! Важнее всего факты! — Мой голос был сухой и хриплый. — Предсказание — не сказка! Это... Это логическое заключение, выведенное исключительно из фактов! А ты тут несешь всякую... Э, да что говорить!..

— Вы уверены? Но разве машина способна иметь дело с самими фактами? Что, если главное в том, как факты переводятся на язык вопросов?

— Довольно. Это уже философия... А я, да будет тебе известно, простой техник.

— Именно. В этом-то, сэнсэй, и состоит ограниченность вашего метода, когда вы выбираете тему.

— Да кто вы, собственно, такие — учить меня? — Я закинул руку за спинку стула и наклонился вперед. Я пытаюсь кричать, но у меня спирает дыхание и каждая фраза застревает в глотке. — Ты, Ёрики-кун, убийца, что бы ты там ни говорил! А ты, Вада-кун? Ты украли моего ребенка! Вы здесь все сумасшедшие! А вы, Томоясу-сан? Вы чудовищный лицемер,

вот кто вы такой! Вы лгали и лгали на каждом шагу; и я даже не знаю, как вас назвать после этого!

— Но ведь я... — Томоясу, словно ища помощи, забежал взглядом по полу. — Я только старался спасти положение. Все, что было в моих силах...

— Это так, — сказал господин Ямамото и выставил в мою сторону плоскую ладонь. — Томоясу-сан тоже играл трудную роль. Позиция его была очень шаткой, ведь в его задачу входило скрывать от посторонних глаз нашу двойную организацию...

— Двойную организацию?..

— Погодите, вернемся к нашей теме, — сказал Ёрики. Он прошел мимо меня, возле двери повернулся и упер костяшки пальцев в служебный стол. — С некоторых пор мы начали использовать машину-предсказатель для нужд компании по разработке морского дна. Мы делали это тайком от вас, сэнсэй, но вы, наверное, догадывались. Нет, этот счетчик не точен. Он оборудован устройством, которое позволяет переводить его назад.

— Кто разрешил это самоуправство?

— Видите ли, по линии организации меня назначили заведующим этого зала. Разумеется, сначала я отказывался. Хотя компания по разработке морского дна обладает полномочиями, превышающими полномочия правительства, мне было страшно неприятно брать на себя такую ответственность без вашего ведома. Но руководство компании торопило меня. Оно спешило. Правда, оно понимало, что разработки морского дна зашли слишком далеко и пятиться уже поздно, но надо было узнать, какие плоды они принесут в будущем. И едва руководство прослышало о машине-предсказателе, как тут же на нее накинuloсь. Запросить предсказание официально было нельзя... организация абсолютно секретная... Тогда к нам откомандировали Ваду-кун, поискали, проверили и нашли, что я вполне под-

хожу. Но я долго отказывался от назначения. Мне хотелось во что бы то ни стало убедить вас, уговорить, чтобы ответственным лицом от нашей тайной организации стали здесь вы. Работать тайком от вас мне было неприятно. С другой стороны, следовало опасаться, что вы в любой момент можете обнаружить новые знания машины, которые она неизбежно получит при этой работе. Правда, в этом отношении вы были страшно лояльны и никогда не пускали машину в ход без разрешения комиссии.

— Это значит, — с раздражением сказала Вада, — что сэнсэй интересовало не будущее, а только сама машина.

— Нельзя ли тоном ниже?.. — резко заметил Ёрики и продолжал: — Коротко говоря, в предвидении таких затруднений руководство компании поручило Томоясу-сан тормозить, поелику это возможно, работу комиссии по программированию... Но это противоестественное положение не могло продолжаться до бесконечности, нужно было искать выход...

— И вы решили меня убить?

— Нет, не тогда. Мы поняли, что иного выхода нет, гораздо позже. Вы не смотрите, сэнсэй, что Вада-кун говорит здесь таким тоном. Она ведь тоже вся извелась, стараясь вас спасти. Компания предложила несколько проектов вашего легального устранения, но мы не согласились. Мы не могли поступать с вами жестоко. Мы отлично понимали, что для вас значит ваша машина. Тогда не кто иной, как Вада-кун, предложила подвергнуть вас машинному анализу и выяснить ваше будущее. Результат пробного испытания оказался не очень благоприятным, но мы решили, что для окончательного вывода этого недостаточно. Решили уточнить... И мы задали машине предсказать ваши действия, когда вы будете обладать конкретными знаниями о работах на морском дне.

— И что получилось?

— Э-э... — Ёрики замолчал, сжал губы и принялся вычерчивать на углу стола маленькие квадратики.

— Землетрясение! — воскликнул вдруг Соба, глядя на потолок.

Действительно, по ногам к коленям поползли мелкие округлые толчки. Это продолжалось всего несколько секунд.

— Итак? — сказал я.

Ёрики растерянно кивнул.

— Да. Э-э... Одним словом, мы поняли, что это безнадежно.

— Что безнадежно?

— То есть что это будущее для вас невыносимо, сэнсэй. Вы не могли себе представить будущее иначе, как продолжение повседневного. В этом смысле вы возлагали на машину большие надежды, но вы не могли идти к будущему, которое оторвано от настоящего... которое отрицает настоящее, разрушает его. Вы являетесь, возможно, лучшим специалистом по программированию, но программирование есть не что иное, как превращение качественной реальности в реальность количественную. А без обратного синтеза этой количественной реальности в качественную будущее постигнуть нельзя. Это просто и понятно, но вы, сэнсэй, были в этом отношении неисправимым оптимистом. Будущее для вас всегда было лишь механическим продолжением количественной реальности. Вот почему реальное будущее оказалось для вас невыносимым, хотя вы всегда питали огромный интерес к его предсказанию.

— Не понимаю. Все это ерунда. О чем ты говоришь?

— Погодите, я постараюсь объяснить. Потом вы увидите это будущее на экране своими глазами. Вы не только открыто выступили против него, но даже усомнились в возможностях машины.

— Ничего не понимаю. И почему в прошедшем времени?..

— Потому что все это предсказала машина. И чтобы предотвратить наступление этого будущего, вы нарушите обещание, как вы пытались сделать это несколько часов назад, и разоблачите тайну организации.

— А если даже и так? Что плохого в том, что я против этих подводных колоний с подводными людьми? Тогда мы получим будущее второго предсказания, выведенное из новых условий, и оно будет великолепным. Я полагаю, ценность машины-предсказателя в том и заключается, что она дает возможность заблаговременно исключать такие идиотские варианты будущего.

— Значит, по-вашему, машина-предсказатель нужна не для того, чтобы строить будущее, а для того, чтобы законсервировать настоящее?

— В том-то все и дело... — торопливо вмешалась Вада. — В этом весь Кацуми-сэнсэй. Кажется, говорить больше не о чем...

— Нельзя же рассуждать так узколобо, — сказал я, сдерживая закипающую злость. — Не думаете же вы, что это будущее с подводными колониями — единственно возможное? Нет идеи опаснее, чем возведение предсказания в абсолют, я постоянно, до горечи во рту твердил вам это. Ведь это же фашизм. Все равно что предоставить божественную власть политикам. Почему вы не попробовали предсказать будущее при условии разоблачения тайны?

— Мы пробовали, разумеется... — ровным голосом сказал Ёрики. — В результате получилось, что вас убьют, сэнсэй.

— Кто?

— Наемный убийца, который ждет снаружи.

33

...И ПОЭТОМУ меня убьют? Какая-то нелепость! Убить, чтобы не дать предсказанию осуществиться, — это еще понятно. Но убить специально для того, чтобы осуществилось предсказание об убийстве? Конечно, это просто предлог, чтобы расправиться со мной.

— Неверно, — прозвучал в динамике голос моего второго предсказания, и я вдруг почувствовал, будто моя одежда сделалась прозрачной.

— Что неверно?

— То, что ты сейчас думаешь.

Все взгляды обратились на меня. Голос машины продолжал:

— Ты ошибаешься. Это предсказание не удовлетворило Ёрики-кун и его товарищей. Они принялись ломать голову над тем, как тебя спасти. И они обратились ко мне за советом.

— Второе предсказание вашего будущего, сэнсэй, — поспешно вставил Ёрики. — Никто так не заботится о судьбе человека, как он сам. Вдобавок ваше второе предсказание знает вас лучше, чем вы...

— Совершенно правильно... Все, что было потом, сделано по моему плану. Я же являюсь отражением твоего разума, твоей неосознанной волей.

— И эти убийства... эти ловушки...

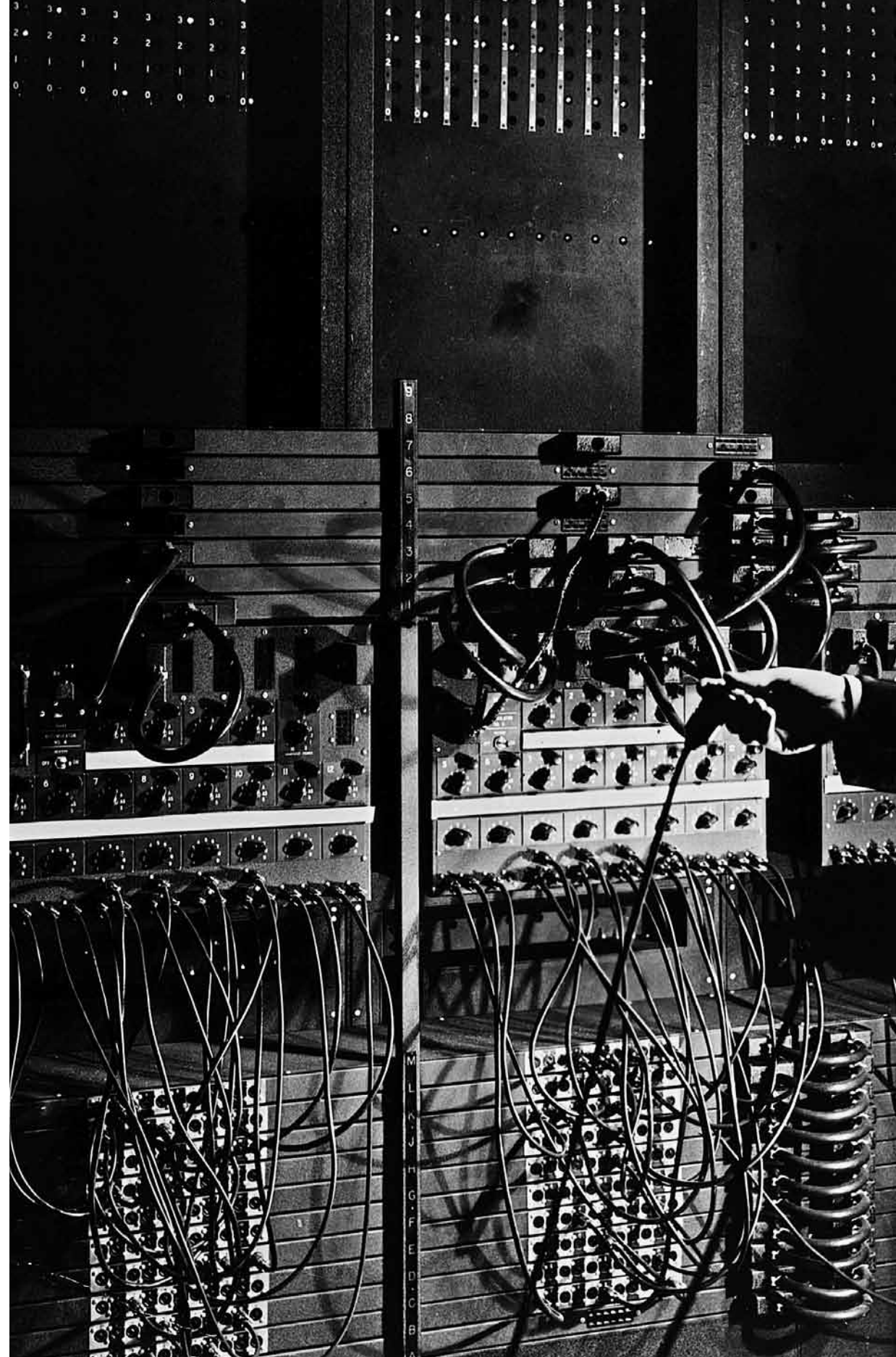
— Да. Никто не несет за них ответственность. Ты делал это для себя.

— Не верю. — Почему-то я поглядел на Ёрики.

Ёрики опустил глаза и поднес пальцы к вискам.

— Почему же? План был вполне логичный, — спокойно возразил голос. У меня было такое ощущение, будто чья-то рука ощупывает мои внутренности. — Подумай сам. Все отвечало одной задаче: что нужно сделать, чтобы ты, узнав будущее, не разгласил тайну организации. Первое убийство преследовало две очевидные цели. Во-первых, ты сам оказался под подозрением и уже не мог апеллировать к общественности, что бы ни случилось. Во-вторых, тебе намекнули на существование торговли зародышами и тем самым подготовили тебя к восприятию дальнейшего...

— Но разве не странно, что именно в тот день я впервые додумался до предсказания индивидуального будущего?



И этого заведующего финансовым отделом мы встретили совершенно случайно.

— Ты ошибаешься. Намек на эту идею тебе дала машина. Идея же была подготовлена заранее. Если бы ты сам не заметил намек, Ёрики-кун подсказал бы тебе. Что же касается заведующего, то тебя навел на него опять же Ёрики-кун. Ревнивец довел несчастную женщину до того, что она сболтнула лишнее. Она проболталась, заведующий узнал. По правилам организации необходимо было заставить обоих молчать. Обещанием объяснить насчет больницы Ёрики-кун выманил мужчину в условленное место и привел туда тебя. Остальное ты знаешь. Ёрики-кун убил его, а я пригрозил тебе по телефону. Женщина же послушно покончила самоубийством, приняв яд, который передал ей Соба-кун.

— Как это жестоко!

— Да, пожалуй...

— Убийство не может быть разумным, в каких бы благородных целях оно ни совершалось...

— Подобными банальностями вопроса об убийстве не решишь. Убийство является злом не потому, что отнимает у человека его бренную плоть, а потому, что отнимает будущее. Мы часто говорим: жизнь бесценна. По сути, под жизнью мы понимаем будущее. Возьмем тебя. Не ты ли намеревался уничтожить своего ребенка?

— Это совсем другое дело...

— Почему же другое? Тебе претило будущее ребенка, и ты относился к его жизни совершенно равнодушно. В поворотные эпохи, когда будущее не определено... когда для спасения одного будущего приходится жертвовать другим будущим... в такие эпохи убийства неизбежны. Разве это не так? Что бы ты сделал, если бы та женщина не умерла? Ты бы исследовал ее машиной-предсказателем и, узнав о подводных людях, поднял бы шум на весь мир.

— Естественно.

— Сказано откровенно. Да, именно так бы ты и сделал. Благодаря тебе общественное мнение возмутилось бы, разъяренная толпа обрушилась бы на питомники подводных людей, и будущее было бы растоптано...

— Откуда тебе это известно?

— Это рассказала машина, которую ты создал.

— Пусть так. Все равно у будущего, которое еще даже не началось, нет права судить настоящее.

— Не право, а воля.

— Воли тем более не может быть.

— И это говоришь ты? Ты, который сам разбудил спящее будущее? Видимо, ты и сам не понимаешь, что сделал. Когда собака кусает хозяина, виноват хозяин. И говоря по правде, тебе нечего было бы возразить, если бы вместо той женщины расправились с тобой...

— Да, было и такое мнение, — сказал Ёрики.

— Но мы не теряли надежды до последней минуты. Мы решили сделать все возможное. И это благодаря тому, что Ёрики-кун сам вызвался на опасную роль убийцы...

— Я только... — пробормотал Ёрики.

— Да, скажи спасибо Ёрики... Скажи ему спасибо, что тебя не убили из-за угла... и ты имеешь теперь возможность, хотя бы временную, заглянуть в будущее... И между прочим, наш сын... Да, ты еще не знаешь, у нас мальчик. Это не моя идея, эту идею подала мне Вада-кун...

Я взглянул на Ваду, но она не отвела глаз. Она была бледна, словно потеряла много крови, и глаза ее были острые, как у птицы. Вдруг я вспомнил наш вчерашний разговор, когда она сказала, что будет судить меня. Нет, она не чувствовала себя виноватой. Наоборот, она обвиняла меня. Что толку пугать оборотня грозными взглядами? Моя ярость утонула в смятении.

— Благодаря ей ты связан теперь с будущим... Это наш общий подарок тебе, творцу машины-предсказателя. Ты понимаешь? Потому что ты чист перед будущим. Это действительно очень важно... Ведь преступление перед будущим в отличие от преступления перед настоящим и прошлым является существенным и решающим.

— По-твоему, я должен быть благодарен за то, что из моего сына сделали урод-раба? У меня слов не хватает...

— Подожди. Ты опять ничего не понял. Я объясню тебе позже... Как бы то ни было, после того, как мы с Ёрики ударили по рукам, тебе, наконец, показали лабораторию господина Ямамото. Ты, возможно, считал все эти события разрозненными, случайными, но на самом деле они были нанизаны на единый стержень. Все было продумано заранее. И цель была достигнута. Тебе дали заглянуть в будущее, но обязали ничего не разглашать. Остальное зависело от тебя самого. Мы ждали, не сводя с тебя глаз. Решишься ли ты войти в будущее или отступишь?..

— И что же?

— Что ты спрашиваешь? Речь идет о тебе самом... Несмотря на все наши усилия, ты остался прежним. Ты впутал в это дело жену и поставил себя в положение, которое вынуждало тебя открыть ей все. Одним словом, результат оказался тот же, что и при первом предсказании. Правда, ты пришел к этому результату несколько окольным путем. Если бы я не остановил тебя, ты бы неизбежно разгласил тайну, не правда ли?.. И вот тебя пригласили сюда, чтобы принять последние меры.

— Господин Ямамото сказал вчера, что убивать вовсе не обязательно. Что есть и другие меры.

— Да, есть. Обычно пользуются менее заметными способами. Как-никак компания ежедневно приобретает восемьсот зародышей. Не говоря уже о врачах и посредниках, о скупке зародышей ежедневно узнают восемьсот матерей. В год это

составляет двести девяносто тысяч человек. Ты, наверное, думаешь: хороша тайна! Но интересно, что тайна все-таки сохраняется. Для того чтобы погасить праздное любопытство, матерям внушают, что зародыши скупаются с преступными целями и что они, матери, становятся соучастницами преступления. Страх, за который женщина получает семь тысяч иен, заставляет ее держать язык за зубами. Без платы было бы, конечно, сложнее... Вот ты думаешь: зачем платить по семь тысяч за зародышей, если их все равно выбрасывают в канализацию? Но для подводных колоний эти три миллиарда в год — капля в море. Семь тысяч иен за целую человеческую жизнь — это же так дешево. Между прочим, психологи, исходя из нынешних цен на продукты и предметы ширпотреба, подсчитали, что человеческая душа стоит как раз семь тысяч иен. Интересно, правда?.. Нет, семь тысяч иен, которые получила твоя жена, имеют, конечно, совсем другой смысл. Это была просто демонстрация. Стоимость души тоже не всегда одинакова. Как бы то ни было, когда имеешь дело с большим числом людей, прорывы неизбежны. Пока это происходит среди тех, кто сознает себя участником преступления, это не страшно. Индивидуальное заболевание, вроде болезни желудка. В какой-то мере это даже на руку компании, потому что количество поступающих зародышей увеличивается. Но совсем другое дело, когда тайна просачивается наружу. Слухи превращаются в неиндивидуализированное общественное мнение, они свирепствуют, как грипп. Естественно, приходится принимать меры... Иногда приходится наказывать очень строго: например, когда проваливается посредник, как это было с той женщиной. Со всеми так нельзя, слишком хлопотно. То есть убить не трудно, но много возни с трупом. Поэтому обыкновенно прибегают к таким способам, которые не оставляют следа. Например, усиливают чувство страха, а если это не помогает, искусственно вызывают психическое

расстройство... Но не может же быть, чтобы ты предпочел смерти сумасшествие.

— О себе ты бы не рассуждал так легко...

— Не говори глупости... Твоя смерть — это моя смерть. Впрочем, не будем сентиментальными. Если бы у тебя достало сил рассуждать хладнокровно, ты бы сам пришел к такому решению... Это куда лучше, чем влачить существование человеческого обломка. Вдобавок компания любезно согласилась выплатить твоей семье страховую премию...

— Страховую премию? Какая доброта!.. Но если твоя воля — это и моя воля, то выходит, что моя смерть будет своего рода самоубийством. А разве самоубийцам полагаются страховые премии?

— Об этом не беспокойся. Твоя смерть будет выглядеть как несчастный случай. Ты погибнешь, коснувшись проводов высокого напряжения...

34

СКОЛЬКО прошло времени? Не знаю. За окнами стало совсем темно. Никто не шелохнулся, и я сижу, словно во сне, мертвой хваткой вцепившись в свое время. Мне кажется, что если это молчание будет длиться вечно, следующее мгновение не наступит никогда.

Думал ли я о чем-нибудь? Кажется, думал, но все о каких-то пустяках. Кто выгладил брюки для Ёрики — его хозяйка или Вада?.. Куда я засунул счета за телевизор?.. Я увяз в этой путанице мыслей и не мог пошевелиться.

Видимо, наши эмоции воздействуют на нервную систему гораздо сильнее, чем мысль. Я ждал момента, чтобы бежать. Все мускулы были напряжены, как у кошки, готовой к прыжку. Нет, сравнение с кошкой — не просто слова. Ибо в памяти

моей, словно утверждая непрерывность повседневного бытия и протестуя против сумасшедшего разрыва этой непрерывности, всплыла залитая солнцем веранда, уставленная цветами. Пока существует эта веранда, я не умру, ни за что не умру.

Вдруг, скрипнув стулом, поднялся Соба.

— Ну что же, пора?..

— Убивать? — Я тоже вскочил, опрокинув стул.

— Нет, что вы... — испуганно произнес Ёрики.

— У нас еще два часа, — быстро заговорила Вада. — Мы должны показать вам по телевизору питомник подводных людей, а затем, если пожелаете, вам покажут будущее колоний на морском дне...

— Он обязательно пожелает, — сказал голос из недр машины. — Такова программа, недаром смерть отложена до девяти часов. Логика не убедила его, он еще не понимает. И он еще намерен сопротивляться...

— Значит, можно начинать? — сказал Соба и протянул руку к пульту за спиной Томоясу.

Томоясу отстранился от него.

— Если разрешите, сначала стакан воды... — проговорил он, стесненно поглядев на Ваду.

— Может быть, фруктового сока?

— Да, пожалуйста. Горло совершенно пересохло... Простите, что я вас беспокою...

— Ничего, пожалуйста. Мне все равно нужно сойти вниз и передать Кимуре, чтобы они уходили, не дожидаясь нас...

Высоко подняв голову, она скользящей походкой направилась к выходу. Я остановил ее.

— Значит, Кимура и его сотрудники тоже связаны с этой организацией?

— Нет, они ничего не знают... — ответил вместо нее Ёрики.



В ту же секунду, изо всех сил оттолкнувшись ногами от пола, я прыгнул к двери. Рассказать все Кимуре и просить о помощи, иного выхода нет. Вся эта банда сошла с ума... Но не успел я коснуться дверной ручки, как дверь распахнулась и на пороге, как бы для того, чтобы подхватить меня, если я поскользнусь и упаду, возник тот самый молодой человек, специалист по убийствам из-за угла. Он стоял, растерянно улыбаясь, подняв длинные руки, словно не зная, что с ними делать.

— Вы все-таки хотите... К чему это, сэнсэй?..

Я бросился на него, целя левым плечом ему в грудь, рассчитывая сбить его с ног и проскользнуть справа. Но я в чем-то промахнулся. Я ощутил сильный толчок в левую сторону живота, перевернулся, и в следующий момент меня швырнуло к противоположной стене. Я лежал в странной, противоестественной позе.

Нижняя часть тела словно оторвалась и провалилась куда-то. Затем способность к нормальному пространственному восприятию вернулась ко мне, и я почувствовал, как из-под сердца вспучивается острая боль.

Ёрики и Томоясу подняли меня и, поддерживая с обеих сторон, водворили на прежнее место. «Пот...» — тихо сказала Вада, кладя мне на ладонь сложенный носовой платок. Господин Ямамото качал головой и горестно вздыхал. Я оглянулся на специалиста по убийствам. Он стоял на прежнем месте в прежней позе, смущенно приоткрыв рот.

— Вы сами так велели, сэнсэй... Предупредили: если, мол, я сделаю так, то ты не теряйся... Я тогда подумал, что это шутка, но не мог же я...

— Ладно. Ступай и жди, — сказала машина.

Кажется, он не отличал голоса машины от моего. Нисколько не удивившись, он кивнул и вышел, шаркая подошвами брезентовых туфель.

— Начинайте без меня, — сказала Вада и тоже вышла.

— Ты говоришь и поступаешь в точности, как предсказано, — укоризненно сказала машина, четко выговаривая каждое слово.

Ёрики погасил свет, и Соба включил телевизор.

Внезапно, словно темнота освободила меня, я закричал. Горло у меня пересохло, и голос был как чужой.

— Зачем... Зачем все это нужно? Если хотите убить, то почему не убиваете?

Ёрики обернулся в сиреновом свете, падавшем с экрана.

— Нам ведь все равно, сэнсэй... — робко сказал он. — Если вы отказываетесь смотреть...

Я замолчал... корчась от боли в животе.

Интерлюдия

Питомник подводных людей

Комментирует господин Ямамото

На экране железная дверь, на которой белой масляной краской намалевана цифра «3». Появляется молодой человек в белом халате и останавливается перед объективом, щурясь от яркого света.

— Сначала камера выращивания. Мы покажем вам вашего ребенка, сэнсэй... (К молодому человеку.) У вас все готово?

— Так точно... Здесь, в третьей камере...

— Нет-нет, ничего объяснять не нужно. Покажите сэнсэю его сына.

(Молодой человек кивает и открывает дверь. Обстановка почти такая же, как в камере выращивания для свиней. Молодой человек поднимается по железному трапу и исчезает.)

— Если пройти по этому коридору дальше направо, то выходишь к заднему фасаду здания, где вы вчера были, сэнсэй... Помните? К бассейну, в котором обучали собаку... Длинный подземный переход, из конца в конец пешком больше тридцати минут, мы сейчас подумываем, не провести ли там узкоколейку.

(Молодой человек возвращается со стеклянным сосудом в руках.)

— Прирос?

— Да, превосходно.

(Стеклянный сосуд крупным планом. Зародыш, похожий на головастика. Прозрачное сердце колыхается, как горячий воздух. В темном студне фейерверком раскинулись кровеносные сосуды.)

— Это ваш сын, сэнсэй... Как он вам понравился?.. Бодрый парнишка, не правда ли?.. А теперь, если не возражаете, пойдете дальше. (Экран гаснет.) Подождем немного, пока они там все подготовят. Так вот, наш питомник подводных людей делится на три сектора: сектор выращивания, сектор воспитания и сектор обучения. Сектор выращивания мы осматривать не будем, он ничем не отличается от камер для животных. Что же касается сектора воспитания и сектора обучения, то разница между ними возрастная. В первом содержатся дети от рождения и до пяти лет, во втором — свыше шести. Таких у нас пока очень мало, это уроженцы тех времен, когда дело находилось еще в стадии эксперимента. Один ребенок восьми лет, восемь — семи с половиной, двадцать четыре — семи и, наконец, сто восемьдесят один — шести лет. Пятилетних детей у нас уже сорок тысяч, четырехлетних и младше ежегодно получается от девяноста до ста тысяч. Поэтому работа в секторе обучения уже с будущего года тоже начнется с настоящим размахом. Сейчас в разных пунктах на океанском дне ведется скоростное строительство отделений этого сектора. Их будет больше двадцати, и каждое сможет принять от трех до десяти тысяч детей...

(«Простите, мы заставили вас ждать», — прервал голос. Экран освещается. Внутренность гигантского бассейна. Бесчисленные ряды длинных полок, разделенных на крошечные отсеки. И в каждом отсеке плавает подводный младенец.)

— Это камера сосунков. Они поступают сюда из родильной камеры по пять сотен, а то и по тысяче ежедневно. В идеале их нужно было бы выдерживать здесь до «отнятия от груди»... пять месяцев... но для этого потребовались бы бассейны

на сто двадцать тысяч мест. Это практически невозможно. Поэтому мы держим здесь всех до двух месяцев и для эксперимента по триста младенцев каждого последующего месяца. Остальные в двухмесячном возрасте передаются в филиалы сектора воспитания при управлениях будущих подводных колоний. Работников у нас постоянно не хватает, и это служит источником известного беспокойства, но, как это ни странно, смертность здесь чрезвычайно низкая. В этом бассейне тринадцать тысяч младенцев, а всего таких бассейнов пять. Есть еще образцовый бассейн для детей от трех до пяти месяцев и отделы воспитания и обучения для питомцев этого бассейна. Это вы потом увидите, а сейчас посмотрите, как младенец получает молоко...

(Объектив приближается к одному из отсеков. Это коробка из прозрачного пластика. В ней, опустив голову и подняв зад, спит подводный младенец, крошечное существо, покрытое белыми морщинами. Видно, как работают его жабры. В потолке коробки имеются выступы, от них к большой трубе, проходящей поверх полки, тянутся тонкие шланги. Внизу проходит еще одна труба, от нее к каждой коробке идет ответвление.)

— Через верхнюю трубу подается молоко, нижняя отсасывает нечистоты...

(Подплывает техник в акваланге, кивает нам и легонько стучит в стенку коробки. Младенец просыпается, медленно переворачивается на спину и, часто-часто работая жабрами, приникает ртом к одному из выступов на потолке. Лицо у него совершенно такое же, как у любого сосущего младенца, но странно видеть, как при каждом глотке из жаберных щелей выбивается молоко. Постепенно внутренность коробки заволакивается белым туманом. Теперь понятно, что нижняя труба служит для смены воды.)

— Самой трудной проблемой было не питание, а температура. Мы ожидали, конечно, что с развитием жабр после-

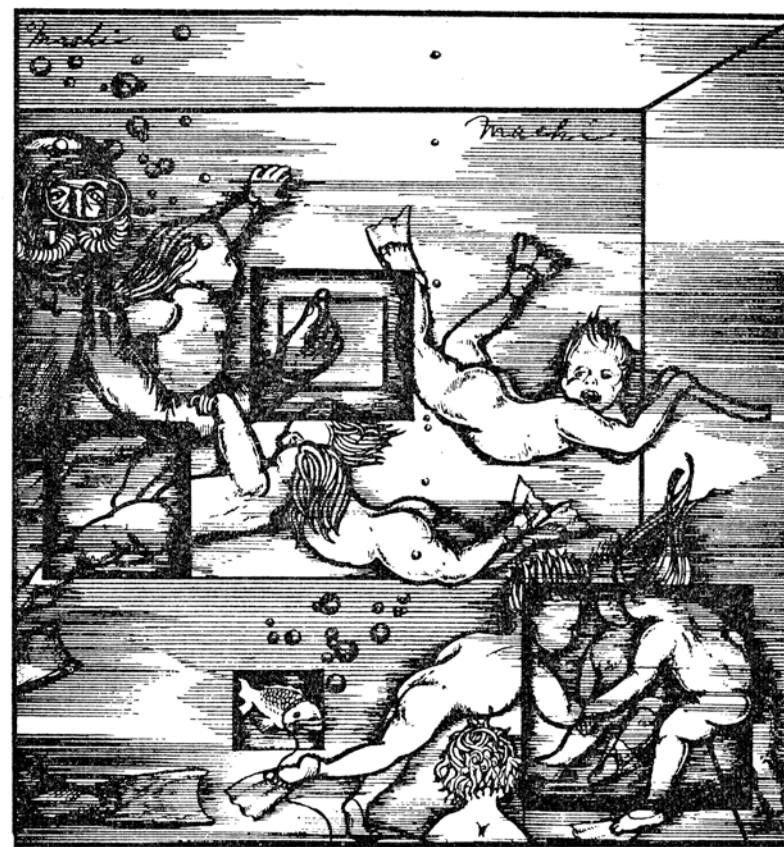
дуют изменения в железах с внешней секрецией, в структуре кожи, в процессах накопления подкожного жира, но мы ничего не знали конкретно. Вдобавок мы совершенно измучились с проблемой физической и физиологической сопротивляемости кожного покрова. Со взрослыми дело обстоит просто: какой-нибудь костюм из синтетики, и все в порядке, ведь вода плохо проводит тепло... Кстати, этот вопрос у нас решен успешно... Главное было в том, какую температуру поддерживать в период молочного кормления. Как вам известно, теплокровные животные не зависят от температуры среды, их тело имеет постоянную температуру, и благодаря этому они могут тратить большие количества энергии. Подводные люди, как оказалось, обладают повышенной приспособляемостью, они способны понижать свою температуру в соответствии с температурой воды, и если бы мы дали им эту возможность, они превратились бы в вялых, ни к чему не пригодных существ, почти лишенных энергии. С другой стороны, нельзя их приучать и к температуре в тридцать пять градусов, потому что это нарушило бы нормальное развитие кожного покрова и отложение подкожного жира. Это была настоящая дилемма. Но мы разрешили ее. Видите эту верхнюю трубу?.. Она двойная, по ней течет не только молоко, но и морская вода, охлажденная до шести градусов по Цельсию. Обычно к детям обращены соски, подающие молоко, но трижды в сутки — утром, днем и вечером — поворотом рычага в кабине управления труба поворачивается, и из сосков на младенцев устремляется холодная вода, по восемь секунд с десятисекундными интервалами. Массаж холодной водой под давлением. Результаты превзошли все ожидания. Жаль, что нельзя показать вам этого, но как малыши барахтаются, когда принимают душ!.. (Смеется, машет рукой.) Однако довольно, пойдете дальше. Времени у нас не так много, поэтому перейдем сразу к последней группе, к пятилетним детям.



(Экран гаснет и снова загорается. Бассейн размером в классную комнату начальной школы. Человек тридцать детей, мальчики и девочки, с резиновыми ластами на ногах свободно плавают во всех направлениях. Это обыкновенные японские ребята, но у них странно раскрытые немигающие глаза, длинные волосы, клубящиеся, как водоросли, жаберные щели у горла и слишком узкие грудные клетки. Слышится неумолчный шум, похожий на скрип ржавого металла. С потолка свисает целый лес металлических труб. На поверхности воды плавают куски дерева. В стенах сложной формы выступы с отверстиями. Видимо, это устройства для игр.)

— Слышите шум? Они скрипят зубами. Скрип зубами — это речь подводных людей. Голосовые связки отмерли, да под водой они и ни к чему. Подводные люди пользуются азбукой Морзе, язык у них японский, так что переводить не трудно. Преимущество такой речи в том, что разговаривать можно при помощи какого-нибудь предмета. Можно разговаривать по секрету, прикасаясь друг к другу пальцами, можно говорить во время еды с набитым ртом, постукивая ногой по полу. Создана очень простая азбука из букв, представляющих сочетания горизонтальных и вертикальных линий. В настоящее время уже восемнадцать человек наших сотрудников, все из бывших телеграфистов, свободно владеют речью подводных людей, работает также электронная переводная машина, и мы имеем возможность давать нашим питомцам достаточно хорошее образование. Смотрите, все насторожились. Должно быть, пришел приказ из кабины связи.

(Некоторое время все дети неподвижно смотрят в одну сторону. Затем, обгоняя друг друга, бросаются к люку слева. Объектив следует за ними. Появляются две женщины в аквалангах. Одна стоит у большого ящика, другая постукивает двумя дощечками. Видимо, она что-то объясняет. Дети выстраиваются перед ними. Женщины извлекают из ящика и раздают им по



очереди какие-то черные предметы величиной с большую книгу. Один из детей, получив черный предмет, немедленно откусывает от него.)

— Ужин.

(Женщина с дощечками бьет жующего ребенка. Тот, скрипнув зубами, бросается наутек.)

— Наказание за плохое поведение. У нас воспитывают строго. Есть можно только в своей комнате.

— Этот ребенок... Он что, засмеялся?

— Гм... Способы выражения чувств у них несколько другие. Во всяком случае, в том смысле, как мы это понимаем, он не смеялся. Вместе с легкими у них отмерла и диафрагма, так что смеяться они не могут. Интересно также, что они не плачут. В числе других желез у них исчезли и слезные, и они не могут плакать, если бы даже захотели.

— Но, может быть, они плачут как-нибудь иначе, без слез?

— Если верить Джеймсу, человек плачет не потому, что ему грустно, наоборот, ему грустно потому, что он плачет. Возможно, не имея слезных желез, они не знают грусти.

(Перед объективом проплывает девочка. Она удивленно оглядывается. Маленькое острое лицо, огромные блестящие глаза. Пронзительно скрипнув, она переворачивается и уплывает прочь...)

— Какая жестокость!

— Что вы сказали?

— Это же трагедия...

(Господин Ямамото смеется.)

— Нет, так нельзя. Вы навязываете им свое сочувствие на основе предвзятых аналогий. Лучше перейдем дальше... К разцовому отделу обучения для шестилетних и старше...

(С экрана.)

— Разрешите сделать небольшой перерыв?..

— Да, верно. Это далековато. Им придется перевозить телекамеру на субмарине. А пока включите свет, пожалуйста...

Гипотеза о конце четвертого ледникового периода

Сообщение делает во время перерыва господин Томоясу

— Я ведь простой чиновник, так что я коротко, в двух словах... Вы уже слышали кое-что об этом, Кацуми-сэнсэй, вам сегодня утром звонили по телефону. Это советское предло-

жение о сотрудничестве в исследованиях насчет активизации вулканической гряды на дне Тихого океана. Если говорить по правде, мы с помощью Ёрики-сан уже давно провели эти исследования. Конечно, Советский Союз тоже имеет все эти данные, но здесь уже вопрос политики...

— Если возможно, покороче, — замечает Ёрики.

— Да, конечно... Впрочем, иначе чем коротко я рассказать и не смогу, я ведь в этих делах совершеннейший профан. В общем вулканическая гряда на дне Тихого океана действительно активизировалась. Видимо, это связано как-то и с колебаниями погоды в последнее время. Особенно с необычайно высокой температурой в летние периоды в Северном полушарии. Сначала предполагалось, будто здесь виноваты солнечные пятна или там человечество расходует все больше энергии и поэтому увеличилось количество углекислого газа в атмосфере, но оказалось, что объяснить это дело только такими причинами нельзя.

Известно было также, что уровень морей и океанов будет повышаться из-за таяния ледников и полярных шапок, которые приписываются четвертому ледниковому периоду, но нынешнее повышение не соответствует расчетам. Скажем, известно было, что через тысячу лет льды растают полностью и уровень океанов, совсем как после прошлого, третьего ледникового периода... в общем уровень океанов должен подняться метров на сто, поэтому многие страны стали понемногу переносить города и предприятия подальше от берегов, на возвышенности и плоскогорья. Только наше правительство пустило это дело на самотек и притворяется, что знать ничего не знает... наверное, потому, что у нас нет плоскогорий.

Однако после прошлого геофизического года выяснилось, что воды в океанах прибыло гораздо больше, чем растаяло льдов. В три раза больше, если верить измерениям, представляете? Некоторые ученые даже утверждают, что в



три с половиной раза... С другой стороны, опущение суши не объясняется и истощением грунтовых вод. А это может значить только одно: что где-то вновь и вновь образуется морская вода. Другими словами, что начали в огромных масштабах действовать подводные вулканы. Как правило, вулканические газы почти целиком состоят из водяного пара, считается даже, что вообще вся океанская вода получилась из вулканических газов. Я в этом мало понимаю, но дело обстоит, видимо, именно так...

И, судя по тому, как резко увеличивается количество воды, это не какое-нибудь местное извержение... Я плохо в этом разбираюсь, но началось, кажется, черт знает что. По последним представлениям, например, земная суша — это участки коры, содержащие большое количество радиоактивных веществ, которые ее разогрели, расплавили и выпятили. Значит, под корой полно расплавленной лавы. Лава эта иногда раздувается и даже выходит на поверхность, и мы получаем вулканы. Но это для лавы не выход. Мало того, эти участки коры из-за лавы становятся все толще, все тяжелее, они давят на лаву, и лава в конце концов начинает вылезать у их границ, как варенье из раздавленного пирожка. Это происходит, конечно, на границах моря и суши.

Считается, что такие вещи должны повторяться каждые пятьдесят-девяносто миллионов лет. И вот обнаружили, что на границе Тихого океана и Азиатского материка происходит подозрительное движение. В так называемом тихоокеанском огненном кольце, в поясе землетрясений... Не знаю даже, что это значит... И тогда получается, что и нынешняя температура атмосферы и повышение уровня океанов — это не просто явления, связанные с ледниковым периодом, а признаки громадной катастрофы, наступающей раз в пятьдесят миллионов лет. Вот что называется гипотезой о конце четвертого ледникового периода...

Неизвестно, кто первый ее высказал, но она начала распространяться, и тогда все государства спохватились и быстренько распустили геофизический год. Ведь если гипотеза верна, то в ближайшем будущем начнут извергаться в сотни раз больше подводных вулканов, нежели сейчас, уровень океанов и морей станет повышаться на тридцать метров в год, так что лет через сорок поднимется на тысячу метров. Опубликуйте такую вещь, и что получится? Государственный и общественный порядок немедленно рухнет. Если не считать такую гигантскую страну, как Советский Союз, все окажется под водой, утонет Европа, исчезнет Америка, оставив после себя одни Скалистые горы, а от Японии останется лишь десяток гористых островков. Правительствам надлежит держать это в тайне от населения, пока не будут выработаны соответствующие меры.

Действительно, все правительства обязались ничего не раскрывать. Но в правительствах постоянно происходят всевозможные изменения, доверять им до конца нельзя... Поэтому самые крупные из финансовых королей объединились и создали своего рода комитет по выработке необходимых мер. Впоследствии этот комитет развернулся в компанию по разработке и эксплуатации морского дна...

— Это же нечестно!

Кончик языка у меня горел, как будто мне в рот влили крепкую кислоту. Не знаю, то ли я действительно разозлился, то ли решил, что должен разозлиться, то ли злость была только предлогом, но я испытывал необходимость кричать во все горло.

— Если бы я знал... — Язык совсем не слушался меня. — Почему? Почему не сказали мне сразу? Если бы я знал с самого начала... я бы...

Ёрики остро взглянул на меня исподлобья.

— Вы так думаете? — сказал он.

— Да как же так можно!.. — Мой голос больше походил на стон. — Вы скрыли от меня самый решающий фактор...



— Вряд ли это имело бы значение. Мало того, если бы все это было вам известно заранее, сэнсэй, вы бы еще упорнее цеплялись за настоящее и натворили бы много плохого.

— Почему?..

— Этот всемирный потоп вас пугает?

— Да!

— А избавило вас от этого страха существование подводных людей?

Я попытался ответить, но не мог. У меня было такое чувство, будто я вот-вот заскулю, как затравленное животное... Все тело в огне, только от ног ползет ледяной холод. Словно на ползает смерть.

— Вот почему, — медленно сказал Ёрики, — все эти разговоры о подводных вулканах я считаю второстепенными.

— Почему же? — недовольно произнес Томоясу. — Настоящее — это не просто ледниковый период, это конец четвертого ледникового периода. Возможно, начало совершенно новой геологической эпохи...

— Все это так. Но подводные колонии имеют огромное самостоятельное значение независимо от геологических катастроф. Они сами по себе представляют замечательный мир, и это вовсе не потому, что они являются вынужденной мерой. Для меня, например, повышение уровня Мирового океана — это только хороший аргумент, чтобы расшевелить власть имущих.

— Неправильный взгляд, Ёрики-сан, неправильный взгляд...

— Пусть неправильный. У нас с вами, Томоясу-сан, разные точки зрения... Да, сэнсэй, мы служим одному делу, но взгляды у нас разные. Эта шайка финансистов намерена хорошо заработать на нашем предприятии, не правда ли, Томоясу-сан? Или вы считаете, что они жертвуют свои бренны капиталы во имя будущего?

— Вы преувеличиваете, — возмущенно сказал Томоясу. — Второстепенный это вопрос или третьестепенный, не-

сомненно одно: все города и села пойдут ко дну. Что бы вы там ни говорили, это несомненно.

Образцовая школа для подводных людей

Комментирует господин Ямамото

(Мир океанских глубин... Что-то вроде тюльпана на тонком стебле выделяется на черном фоне подводного неба.)

— Это здание образцовой школы... Интересная архитектура, не так ли?.. Здание построено из пластика, стены полые, в полостях газ. Здание легче воды. Принцип, обратный наземному, где все основано на силе гравитации. Кроме того, для жильцов этого здания верх и низ в общем не имеют значения, поскольку они свободно передвигаются в пространстве. Горизонтальные плоскости никого не связывают, поэтому входы и выходы устроены сверху. Конструкция чрезвычайно простая. Да и приятнее всего то, что не нужно думать ни о давлении воды, ни о водопроницаемости. В морской глубине всегда мирно и тихо.

(Объектив приближается к зданию.)

— Какое оно громадное...

— Сейчас там всего двести сорок детей, но рассчитано оно на тысячу. В нем и школа, и интернат... Подходящий домик, правда?.. В ближайшем будущем таких соорудят здесь двадцать одну штуку. На двадцать одну тысячу детишек от шести до десяти лет. Нет, строить не трудно. Скоро переходим на массовое производство. Готовые секции будут доставлять на место и собирать, затем их надуют газом, и постройка закончена. Немного больше времени будет, вероятно, занимать крепление фундамента.

(Объектив передвигается вдоль здания. По экрану плывут пояса огней, похожих на огоньки светлячков. Светятся, видимо, сами стены. В поле зрения проносится стая мелких рыб.)

— Приглядитесь внимательно. Эти ярусы огней почти незаметно для глаза постоянно меняют яркость. Волны более яркого и более тусклого света ритмично передвигаются сверху вниз... они играют роль своеобразной приманки для рыб. У каждого вида рыбы есть своя излюбленная яркость; замороженные этим световым движением, они начинают скользить вниз, а там их поджидают разинутые пасти ловушек. Я думаю, что в будущем такой способ рыбной ловли получит широкое распространение. Уловы очень богатые. Поэтому рыбаки, промысляющие в этом районе...

— А где это?

— Примерно на середине линии, соединяющей Ураясу и Кисарадзу.

— И никто до сих пор не обнаружил вас?

— Глубина там пятьдесят-шестьдесят метров. Вдобавок там убрали слой ила... двадцать пять метров, как раз на высоту здания... Без водолазного костюма на такую глубину не заберешься. А учащимся подниматься на поверхность строго запрещено...

— А воспитатели?

— Когда приходит их время, стержень, на котором крепится здание, раздвигается. Тогда от поверхности до крыши остается всего двадцать метров.

(Объектив достигает крыши. Это купол с большим круглым люком в центре. Над люком, балансируя на одной ноге, стоит мальчик. У его плеча рыба в ладонь величины.)

— Вышел встречать... Это первый и самый старший из подводных людей. В этом году ему исполнилось восемь лет, а на вид ему можно дать лет двенадцать-тринадцать. И даже больше. Это можно объяснить тем, что он растет без родителей, но главное в другом. Под водой все живое развивается поразительно быстро. Я как-то читал в одной публикации Академии наук СССР, что для растений биологический КПД



в пять процентов на суше соответствует почти ста процентам в океане. Для полового созревания слону требуется сорок лет, а гигантский кит способен давать потомство уже через два-три года после рождения.

(Мальчик издает едва слышимый скрип и кланяется. Рыба неровит ткнуться мордой в его губы, он осторожно отстраняет ее. На секунду кажется, что он улыбается, но это, наверное, не так. Его тело обтянуто свитером и рейтузами, на ногах ласты. Над головой, словно дым, колышутся легкие волосы, глаза раскрыты необыкновенно широко. Движения его грациозны и легки, как у девушки. И только жабры и узкая грудь производят неприятное впечатление.)

— Как он приручил эту рыбу? Он любит животных, этот мальчуган. Зовут его, в переводе на фонетику, Ирири... хотя это просто знаки азбуки Морзе. А теперь взгляните на поверхность крыши.

(Вид крыши сверху. Под прозрачным пластиком можно разглядеть густые, как пена, черноватые заросли.)

— Это разновидность пресноводной хлореллы, но мы приучили ее к морской воде. Растение идеальное по питательности, содержит более дюжины различных аминокислот. Печенье из него — любимое лакомство для детей.

(Мальчик, не меняя позы, только слегка согнув ноги в коленях, начинает тихо опускаться в люк. Скрипнув зубами, зовет за собой рыбу.)

Объектив следует за ними. Мальчик переворачивается вниз головой и увеличивает скорость. Быстро работающие ноги в ластах. В глубине колодца множество детей. Они держатся за поручни в стенах и ждут. Неумолчный шум, как будто трещат цикады...

— Нет, рыбу он приручил здорово. Вот так они постепенно приучат и превратят рыб в своих домашних животных... *(В микрофон.)* Остановитесь на минуту.

(Гулкий голос из динамика.)

— Осмотрите мастерские?

— Да, мы быстро.

(Объектив останавливается. В стенах ровные ряды овальных дверей. Совсем как пчелиные соты.)

— Сейчас мастерскими почти не пользуются, пока никому, но в будущем они станут классами для политехнического обучения.

(Объектив приближается к одной из овальных дверей. Мальчик вместе с рыбой, вцепившейся ему в волосы, проскальзывает вперед.)

— Здесь будут заниматься всем, что необходимо на практике, начиная с физических и химических экспериментов и управления машинами и кончая техникой обработки пищевых продуктов. Так что, как только оборудование завершится окончательно, это будут скорее даже не классы, а небольшие

цехи. Через пять лет, когда старшие классы укомплектуются полностью, школа сможет перейти на самообслуживание.

— А после окончания школы?

— Сейчас строятся подводные заводы. Многие, вероятно, пойдут работать на подводные рудники и нефтяные промыслы. Постоянно не хватает рабочих рук на подводных пастбищах. Самые способные перейдут в специальные школы, где из них будут готовить врачей, инженеров, техников. Предполагается, что сначала они будут помогать людям, а потом и во все заменят человеческий персонал.

(Томаясь поспешно.)

— Имеются весьма основательные возражения относительно этих специальных школ...

— Это не проблема. Во-первых, возможности подводных людей ограничены, и потом слишком мала их абсолютная численность.

(На экране мастерская. Нет никаких станков, но пол, потолок и стены покрыты всевозможными полками, выступами и крючьями, а инструменты парят посередине помещения, подвешенные к пластиковым шарам. Мальчик с гордым видом поглядывает то на объектив, то на инструменты.)

— Смотрите, это изобретение Ирири. *(В микрофон.)* Попросите его показать.

(Слышится скрип... Мальчик кивает, ловит один из инструментов вместе с шаром и присоединяет к трубке, торчащей из стены.)

— Оттуда подается сжатый воздух. Это основной источник энергии под водой. Есть еще газообразное горючее, сжиженные газы...

(Мальчик поворачивает кран. Инструмент начинает вибрировать, пуская струи воздушных пузырьков. Под потолком пузырьки собираются в один большой пузырь, который медленно высасывается через вентиляционное отверстие. Рыба гоняется за пузырь-

ками. Мальчик опускает вибрирующий наконечник инструмента на виниловую доску и мгновенно перерезает ее пополам.)

— Автоматическая пила... Изрядно, не правда ли? Каждую деталь придумал он сам... и сделал своими руками, конечно. Это мастерская обработки пластиков, здесь подобраны все необходимые инструменты. Под водой пластики играют такую же роль, как железо на суше, и освоение их составляет основу всей жизненной техники... И все-таки это невероятно. Ведь ему всего восемь лет. Видимо, под водой ускоряется не только физическое развитие.

— Откуда берется энергия? Для работы с пластиками нужны довольно высокие температуры, да еще освещение...

— Разумеется, электричество... Это самая трудная проблема под водой, хотя дело несколько упростилось развитием производства изоляционных материалов. Но без электричества обойтись невозможно.

— Невозможно?

— Совершенно невозможно. Тепловую и механическую энергию еще можно получить другими способами. Но вот связь, например... Радиоволны под водой не проходят, приходится пользоваться ультразвуком, а для генераторов ультразвука необходимо электричество. Хорошо бы также перейти на самоснабжение сжатым воздухом. Сейчас электроэнергия подается сюда по кабелям с суши, но в будущем необходимы средства, которые не зависят от суши... что-нибудь вроде малогабаритных атомных электростанций, каких-нибудь теплоцентралей на нефти или генераторов, использующих подъемную силу газа под водой. Тогда научно-исследовательские институты можно будет строить как угодно далеко от берега, и перестанут быть мечтой подводные города-исполины. Ого, еще одно изобретение?

(У мальчика в руках длинный прямой шест, в нижней части которого прикреплены педали. Мальчик садится на шест



верхом, нажимает на педали, и на конце шеста начинают вращаться лопасти. Шест поднимается по вертикали. Мальчик склоняется набок, и шест движется горизонтально.)

— Подводный велосипед. Очень доволен, что на него смотрят люди...

— Я вижу, к людям он все-таки привязан?

— Да... Ирири очень привязан... Этот мальчик — наш первый эксперимент, и в процессе выращивания мы допустили, наверное, какие-то ошибки. У него не полностью отмерли железы с внешней секрецией. Вы заметили, например, какие у него глаза? Это потому, что слезная железа у левого глаза частично уцелела. Возможно, в этом причина неполного выгорания.

— Неполного выгорания?

— Вы, конечно, понимаете, что человеческие эмоции в известной мере зависят от способности кожи и слизистых к осязанию. Возьмем, например, выражения «мороз по коже», «мурашки по телу», «в горле пересохло», «он к ней липнет». Даже из таких словосочетаний видно, какую роль осязание играет для формулирования наших настроений и переживаний. Если говорить коротко, способность к осязанию является проявлением инстинктивного стремления защитить море от воздуха. Я вижу, вам кажется, будто я говорю чепуху, но вы послушайте, это очень важно... Как известно, даже у человека, самого совершенного из наземных животных, все — кровь, кости, протоплазма — почти полностью составлено из элементов, присущих морю. Жизнь выкристаллизовалась в море, мало того, она всегда зависела от моря. Даже когда она покинула морскую стихию, она забрала с собой на сушу море, обернув его в свою кожу. Вот большим вводят иногда раствор поваренной соли. Но и сама кожа есть не что иное, как метаморфоза моря. И хотя сопротивляемость ее выше, чем у остальных органов, она тоже порой не может обходиться без помощи моря. В конечном

счете железы с внешней секрецией — что это, как не помощь изнемогающей коже со стороны моря? Слезы есть море для глаз... И все наши эмоции являются лишь определенными состояниями желез с внешней секрецией... другими словами, стадиями оборонительной войны моря против суши.

— И если этой войны нет, то нет и эмоций?

— Я не говорю, что нет. Но это, вероятно, нечто совершенно непостижимое для нас. Там, в море, им не приходится воевать с атмосферой. Все равно как рыбы, например, не знают страха перед огнем.

(Мальчик на велосипеде принимается играть со своей рыбой в пятнашки.)

— Иногда, глядя на других детей, не на Ирири, действительно спрашиваешь себя: да полно, есть ли у них душа? Есть, конечно, но она совсем другая, чем у нас.

— Значит, это единственный ребенок, похожий на человека?

— Да... Его поведение понятно нам. *(Впадает в сентиментальный тон.)* С душой наземного существа в морской глубине. Неполное выгорание, иначе не назовешь...

(Преследуя рыбу, мальчик скользит мимо объектива и исчезает из помещения.)

— Не потому ли он так умен и развит?

— Нет, в отношении умственных способностей другие дети ему не уступают. Один мальчик, на три месяца моложе его, сконструировал часы, которые работают на сжатом воздухе. Правда, стрелка передвигается раз в пятнадцать минут, но все-таки...

(Объектив, следуя за мальчиком, медленно приближается к другим детям...)

Господин Ямамото вновь переходит на деловой тон:

— Здесь, в среднем поясе здания, они живут, а нижние этажи отведены под обычные классы. Обучение, как и у нас, начинается



с чтения, письма и счета, но вот чему учить их дальше... Существует мнение, что самую важную роль в их жизни будут играть такие науки, как физика жидкостей и органическая химия. В конце концов не нам строить догадки на этот счет... По-видимому, истина определится, когда они получат учителей из своей среды. Слишком различны основы ощущений в воздухе и под водой...

(Многоярусный балкон... Играющие дети... Одни глядят на объектив с откровенным любопытством, другие совершенно равнодушно.)

— И, конечно, им не преподают ни историю, ни географию, ни социологию. Мы не можем решить, как объяснить им взаимоотношения между ними и человечеством.

Томоясу шмыгает носом.

— Совершенно естественно. Они бы прокляли нас, только и всего...

— Ну уж нет... *(Отрицательно качает головой.)* Вы говорите так потому, что переоцениваете наземного человека.

(В любопытстве и в равнодушии подводных детей есть одна общая черта. Это странная холодность. Под их взглядами человек сам себе начинает казаться «предметом». Я не могу не согласиться с господином Ямамото, когда он задает себе вопрос: есть ли у них душа?)

...Шалун подплывает к объективу и пытается закрыть его ладонями. Девочка сосредоточенно следит за моллюском, ползущим по стене. Мальчики окружили Ирири с его велосипедом. Маленькая девочка ловит заблудившуюся рыбеику и сует в рот, но мальчик постарше заставляет ее выплюнуть... Группы детей — возможно, это дежурные — моют стены сжатым воздухом... Маленький мальчик прижимается щекой к подводной собаке...)

— На этом наш беглый осмотр и закончим... Соба-кун, выключите, пожалуйста...

(Кто-то глубоко вздыхает... На экране дрожит, сжимаясь, световое пятно...)

Часть третья

Облик грядущего

35

Световое пятно на экране сжалось и исчезло. Никто не шевелился. Никто не включил свет, и никто не попросил сделать это. Может быть, будет еще что-нибудь?.. В глубине души я надеялся, что будет продолжение. Ведь тогда я поживу еще немного...

Но молчание затягивается, и меня охватывает ужас. Странное дело, я был подавлен тем, что мне показывали, мое существо протестовало, и вместе с тем мне было интересно. Незаметно для себя я пытался подсчитать, сколько в подводном здании мальчиков и сколько девочек — кажется, число их было в общем одинаковое, — я строил произвольные догадки относительно будущих браков. Словом, я чувствовал себя экспериментатором в лаборатории. Но вот экран погас, я снова оказался в темноте и стал тем, чем был раньше. Снова превратился из экспериментатора в подопытное животное. Я ожидаю смерть... Приговоренному к смерти подали из жалости чашку чая. Но смерть остается смертью...

Ногти впиваются в ладони. Я сижу как приклеенный и цепляюсь за мгновения. Неужели, несмотря ни на что, я и вправду поверил моему второму «я», что это я сам требую своей смерти? Усомниться в машине-предсказателе — значит подтвердить ее суждение. Признать ее правоту — значит тоже

подтвердить... Это все равно, что бросать монету, обе стороны которой одинаковы. Итак, заколдованный круг? Но это же бессмыслица. Чтобы отвергать смерть, не нужно иных причин, кроме нежелания умирать.

Больше я не вытерплю, подумал я. Впрочем, я только думаю. Я не действую. Не то что я не сознаю своего положения. Просто это такая пассивность, от которой можно избавиться не через вспышку эмоций, а, наоборот, через вялость и расслабленность. Но мои мускулы туго стянуты напряжением и заскорузли, как старая кожа. Кажется, стоит мне повернуть голову, и будет слышно, как заскрипит шея.

Соба пошевелинулся и поднял лицо, словно собираясь спросить о чем-то. Я попытался воспользоваться этим, чтобы освободиться от проклятого оцепенения. Я заговорил. Жалкий у меня был голос, как будто на мои голосовые связки наклеили парафинированную бумагу. Я окончательно утратил чувство собственного достоинства.

— Возможно, суша по сравнению с морем действительно менее удобна для жизни... — лепечу я. — Но ведь именно благодаря этому неудобству животное эволюционировало до человека. Тут я не могу согласиться...

— Вот уж в самом деле... — шепчет Вада.

— Предубеждение! — живо воскликнул господин Ямато. — Да, живые существа эволюционировали в борьбе с природой. Да, четыре ледниковых периода сделали австралопитека современным человеком. Кто-то даже удачно заметил, что человек выскочил из волшебного платка, именного глетчером. Все это так... Но человечество в конце концов покорило природу. Оно искусственно преобразовало и улучшило почти все, что есть в природе. Иначе говоря, оно обрело силу превращать эволюцию из процесса случайного в процесс сознательный. И нельзя ли допустить, что миссия живого, для выполнения которой оно выползло на сушу, на



этом закончилась? В старину линзы приходилось шлифовать, а нынешние пластиковые линзы выходят из производства готовыми. Эпоха, когда «муки и страдания создавали жемчуг», миновала... Не пора ли и самому человеку освободиться от дикости в перейти к рациональному преобразованию самого себя? И на этом замкнуть кольцо борьбы и эволюции. Пришло время вернуться на старую родину — в море, но уже не рабами, а хозяевами.

Тут он почему-то вздохнул, и я, собравшись с духом, возразил:

— Но ведь они как раз рабы. Они живут в колониях, у них нет ни своего правительства, ни своей политики.

— Это сейчас... — раздраженно сказал Ёрики. — Во все эпохи все новое рождается от рабов.

— Такой взгляд на подводных людей означает самоотрицание. Наземное человечество заживо становится реликтом прошлого.

— Придется стерпеть. Стерпеть этот скачок и, значит, стоять на позициях будущего.

— Если я предаю подводных людей, то вы предаете наземное человечество!

— Лучше, сэнсэй, подумайте вот о чем, — произнес Томоясу, покачивая головой, словно желая показать, что уж он-то разбирается во всем. — Города кишат безработными, деловая активность непрерывно падает...

— Все это верно, кто же спорит... Но все равно у вас нет никакого права держать в тайне этот чудовищный план.

— У нас есть это право. Его нам дало подводное человечество через машину-предсказателя. Вдобавок в свое время все это будет опубликовано.

— Когда?..

— Когда большинство матерей будут иметь хотя бы по одному подводному ребенку. Когда предубеждение против

подводных людей больше не будет грозить нашему делу. К этому времени угроза потопа надвинется вплотную, и человечество встанет перед выбором: либо война из-за суши, либо покровительство подводных людей... Разумеется, народ, — Ёрики встал, скрипнув стулом, — выберет подводных людей.

Он обернулся и сделал знак Собе. Этот жест показался мне исполненным такой неумолимой решимости, что я сжался, словно неожиданно наткнулся во мраке на невидимую преграду. Соба сейчас же поднялся и вложил в машину лист программной карты. Затем, глядя в наблюдательное устройство, начал настройку.

Вдруг я ощутил в левом плече боль, острую, как от укола иглы. Но это не была игла. Это была рука Ёрики. Он неслышно подошел сзади и положил руку мне на плечо. Он наклонился и тихо сказал:

— Это облик грядущего, сэнсэй... Истинное будущее... Вы так стремились увидеть его...

36

И машина рассказала такую историю.

Толстые пласты ноздреватого ила на пятикилометровой глубине, неподвижные и мертвые, косматые, как шкура допотопного зверя, вдруг вспучились, поднялись и сейчас же распались, обращаясь в кипящие темные тучи, гася бесчисленные звездочки планктона, роившиеся в прозрачном мраке.

Обнажилось изрезанное трещинами скальное основание подводной равнины. Из трещин, выбрасывая обильную пену, полезла вязкая, светящаяся бурым блеском масса и протянула на несколько километров скрюченные, как корни старой сосны, отростки. Продуктов извержения становилось все больше, исчезло темное сияние магмы, и уже только исполин-



ский столб газа, бешено крутятся и разбухая, беззвучно и стремительно поднимался сквозь тучи взбаламученного ила. Но даже этот столб бесследно исчезал задолго до поверхности, растворяясь в неимоверной водной толще.

Как раз в это время в двух милях к западу проходило курсом на Йокогаму грузопассажирское судно «Нанте-мару» Южно-американской линии. Когда корпус его внезапно содрогнулся и заскрипел, это обстоятельство не вызвало ни у команды, ни у пассажиров никакой тревоги. Они ощутили лишь мимолетное недоумение. Вахтенный офицер на мостике не без удивления отметил стаю дельфинов, испуганно выпрыгнувших из воды, а также мгновенное, хотя и незначительное, изменение цвета моря, но и эти явления не показались ему заслуживающими специального упоминания в судовом журнале. В небе расплавленной ртутью сверкало июньское солнце.

Между тем неуловимое колебание воды — зародыш гигантского цунами — уже катилось в океанских глубинах к материку волнами невероятной длины и со скоростью в двести семьдесят километров в час.

Цунами легким ветром пронесся над подводными пастбищами, над подводными городами, над подводными нефтепромыслами. Многие из подводных людей, занятых сбором рыбьей икры, вообще не заметили его.

На следующее утро цунами обрушился на побережье Японии от Сидзуока до Босо. «Нанте-мару» получил по радио сообщение, что Йокогама больше не существует, и остановился в открытом океане.

Выражение «больше не существует» совершенно сбило капитана с толку, но еще более странным показалось ему поведение пассажиров. Почему они отнеслись к этому сообщению так спокойно? Впрочем, странности начались не сегодня. Эти люди зафрахтовали корабль целиком, подняли на борт какую-то гигантскую машину, но по прибытии в порт назначения не

выгрузились, а приказали идти обратно. Причем за время плавания они устроили в трюме что-то вроде лаборатории и не отходили от своей машины ни на шаг. Их возглавлял человек по имени Ёрики. Кто они, эти люди?

— Значит, это были вы?

— По-видимому, да.

— Вы знали, что Йокогама погибнет, и молчали?

— Как можно... Население было предупреждено, и почти все эвакуировались.

— А я? Я тоже был на этом корабле?

— Нет, сэнсэй... Вы уже давно...

Наводнение не прекращалось. Двое алчных людей, мужчина и женщина, слонялись вдоль берега. Ничего ценного им не попадалось. То, что они приняли было за браслет, оказалось вставной челюстью. Потом женщина заметила в воде утопленника. Ей стало страшно и захотелось домой. Мужчина попробовал перевернуть тело концом палки. Но утопленник вдруг оскалил зубы, показал ему язык и уплыл в глубину. Это был разведчик подводных людей. Говорят, что женщина упала в обморок.

Вода все не отступала, непрерывно происходили землетрясения, люди рассказывали друг другу о странных утопленниках. Беспокойство усиливалось. Возникли слухи о том, что куда-то исчезло правительство, и это было самое страшное. Слухи не были лишены оснований: правительство перешло в море.

Правительственное здание стояло на холме, откуда открывался прекрасный вид на скалистую пустыню и на заросли ламинарий подводного района номер один. Неподалеку от холма, за ущельем в двадцать метров шириной, возвышались по три в ряд гигантские оранжевые тюльпаны заводов, производящих магний и пластмассу. Этот удивительный пейзаж открывался чиновникам из окон их плавучего цилиндрического здания, прикрепленного к скалистому дну тремя опорами.

Наконец над поверхностью моря выдвинулась антенна, и началась радиопередача. Правительственное сообщение гласило:

1. Четвертый ледниковый период закончился. Наступает новая геологическая эпоха. Надлежит воздерживаться от опрометчивых поступков.

2. С целью упрочить впоследствии международное положение государства правительство заблаговременно и в строгой тайне создавало подводных людей и вело разработку колоний на морском дне. В настоящее время имеются восемь подводных городов с населением по триста тысяч человек в каждом.

3. Подводные люди счастливы и подчиняются порядку. Они оказывают государству всевозможную помощь в нынешнем бедственном положении. Скоро вы начнете получать продукты и предметы первой необходимости, изготовленные на морском дне.

4. Последнее. Японское государство намерено претендовать на акваторию в границах, указанных в отдельном документе.

5. Дополнительное сообщение. В настоящее время рассматривается вопрос о снабжении специальными пайками женщин, имеющих детей среди подводных людей. Ждите дальнейших сообщений.

(Этот последний пункт имел наибольший успех. Под него подпадало уже подавляющее большинство матерей.)

Позади правительственного здания возвышались еще три дома такой же формы, но меньше по размерам. В них располагались обычные жилые помещения, на крышах стояли частные вертолеты, все было устроено весьма комфортабельно. В обширном парке за колючей проволокой, куда подводным людям заплывать воспрещалось, были живописные долины, ко-



ралловые рифы, роши разноцветных водорослей. В погожие дни хорошо полежать на морском дне с аквалангом за спиной, полюбоваться, как пульсирует и колыхнется солнечный диск в волнах, похожих на матовое стекло, или с гарпунным ружьем всей семьей отправиться на пикник... Но квартирная плата невероятно высока, и тем, кто не пользуется особыми привилегиями от правительства, это не по карману. Далеко не все, кому хочется, могут позволить себе такое жилье.

Вдобавок жизнь на суше все-таки продолжалась. Еще работали электростанции, действовали заводы, были и улицы с магазинами. Простые люди, преследуемые наступающим морем и инфляцией, кое-как сводили концы с концами. В крайнем случае всегда можно было наняться надсмотрщиком на подводные пастбища.

Странное движение возникло среди матерей на суше. Они хотели общаться со своими детьми. Но подводные люди не понимали, чего от них хотят, и не пошли навстречу. Поэтому правительство закрыло на это глаза. Зато возникло гражданское агентство, которое организовывало прогулки по морскому дну. Дела агентства процветали.

Однажды произошел инцидент. Из-за ограды, куда было запрещено заплывать подводным людям, мальчик в акваланге застрелил из гарпунного ружья подводного ребенка. Правительство не нашло в этом состава преступления, но рассерженные подводные люди ответили забастовкой. Тогда растерявшееся правительство поспешило признать за подводными людьми все человеческие права. После этого в отношениях между сторонами произошли большие изменения. А через несколько лет три представителя от подводных людей — юридический, торговый и промышленный — вошли в правительство.

Шли годы, уровень моря повышался все быстрее. Люди откочевывали все выше в горы. Они жили в постоянном движении и, наконец, совсем утратили привычку к оседлой жизни. Не было уже ни железных дорог, ни электростанций. Никто больше ни о чем не думал, люди существовали на подаяние подводного мира. На каком-то берегу кто-то затеял прибыльное дело: установил несколько перископов и показывал желающим жизнь моря. Дело пользовалось большим успехом. Скучающие старики выстраивались в очереди, чтобы за несколько медяков полюбоваться на жизнь детей и внуков и убить время.

Но прошло несколько лет, и перископы тоже оказались под водой и покрылись ржавчиной.

— А те, кто поселился в подводных домах? Что стало с ними?

— Они жили там по-прежнему.

— И ничего?

— Ничего. Только часовой с гарпунным ружьем был уже без акваланга. Подводные люди приняли решение бережно охранять их как экспонаты человеческого прошлого.

— Разве это хорошо, Томоясу-сан?

— Как вам сказать... Впрочем, к тому времени я скорее всего уже умру...

Настал день, когда подводные люди образовали свое правительство. Оно получило международное признание. Многие страны тоже пошли по пути создания подводных колоний.

Но и у подводных людей была своя беда. Одного на несколько десятков тысяч поражало странное заболевание. Видимо, оно вызывалось дурной наследственностью. Не исключено, что давали о себе знать некоторые железы с внешней секрецией, которые оставались у первого поколения, поколения Ирири. Правительство назвало это заболевание «болезнью суши»

и постановило немедленно по обнаружении прибегать к хирургическому вмешательству.

37

— Вот видите! — зло и победоносно произнес я.

— Что?

— Теперь настала их очередь тосковать по суше!

Мне никто не ответил. На всех лицах было одинаковое выражение почтительной грусти, словно эти люди стояли у постели умирающего. Даже у нетерпеливой Вады плотно сжаты губы и лицо человека по ту сторону любви и ненависти. Я ни с того ни с сего вдруг подумал: а действительно, что уж теперь упрямиться...

— Это безнадежно далеко от нас, — проговорил кто-то низким голосом.

Кажется, господин Ямамото. Да, далеко... Это будущее так же безнадежно далеко от нас, как первобытный мир... У меня что-то затряслось в груди, я почувствовал тошноту и хрипло кашлянул.

Видимо, я запутался. Сделать вид, что я признаю будущее, бежать и при первой возможности предать все гласности?.. Если в том, что называется справедливостью, есть хоть какая-то доля моральной ценности, я должен поступить именно так. А если нет? Честно признать, что я враг такого будущего, и затем встретить смерть?.. Если в том, что называется честью, есть хоть доля моральной ценности, я должен поступить именно так. Значит, если я не верю машине, то первое, а если верю — то второе...

Впрочем, я не совсем точно выразился, когда сказал, что запутался. Это я внушил себе, что нужно запутаться. И скорее всего я так и не сумею принять окончательное решение



и буду убит, как жалкий слизняк. Хуже всего то, что я перестал верить себе, что сам себе кажусь ничтожеством, жалким слизняком. И машина, вероятно, все это предвидела.

Я произвольно сказал вслух:

— Но можно ли относиться к машине как к последней инстанции?

— Вы все еще сомневаетесь? — В голосе Ёрики смешались удивление и сочувствие.

— А разве не бывает ошибок? Ведь чем отдаленнее будущее, тем больше ошибки. И дело не только в ошибках... Кто поручится, что все это не вымысел машины? Изменила или выбросила то, что ей непонятно, и преподнесла нам более или менее правдоподобную историю... Ты же сам знаешь ее способности... Если ввести в нее, например, данные о трехглазом человеке, она автоматически переправит три на два.

— Это она тоже предсказала. Что вы рано или поздно усомнитесь в ее способности предсказывать и тогда... — Ёрики не окончил и сделал вид, будто закашлялся.

— Я не говорю, что сомневаюсь. Сомневаться и относиться как к последней инстанции — вещи разные. Я хочу только сказать, что совершенно иное будущее.

— Иное будущее?

— Вы делаете вид, что благодетельствовали подводных людей, а я вот сомневаюсь, скажет ли этот будущий рыбочеловек вам спасибо за эти благодеяния. Я уверен, что он будет вас смертельно ненавидеть.

— Свинья не обижается, когда ее называют свиньей...

Внезапно я ощутил во всем теле слабость и онемение и замолчал. Так бывает, когда смотришь на звезды, думаешь о бесконечности Вселенной и вдруг чувствуешь, что вот-вот заплачешь. Это не отчаяние и не сентиментальность, а соединенное действие сознания собственной ограниченности и физической немощи.

— Но... — Это слово само собой вырвалось у меня, и я стал искать, что сказать дальше. — Что стало с моим сыном?

— Все хорошо, — донесся откуда-то издалека теплый голос Вады. — Это наш лучший вам подарок, сэнсэй.

38

А затем машина рассказала такую историю.

Жил один юноша. Он был практикантом на подводных нефтепромыслах. Однажды он помогал ремонтировать радиомачту — она была укреплена на пластиковом поплавке и плавала по поверхности — и случайно вылез из воды без воздушного скафандра. (Это герметический костюм с приспособлением для постоянного притока к жабрам свежей морской воды; подводные люди пользуются им во время работ на воздухе.) С тех пор он не мог забыть этого странного ощущения. Но такие вещи были строго запрещены медицинским надзором. За них наказывали. Поэтому юноша никому ничего не рассказал, и это сделалось его тайной.

Но того беспокойного ощущения, будто ветер что-то унес с его кожи, забыть он не мог, и он стал все чаще покидать город и плавать вдали от других людей. Он уходил на подводное плато, которое, как говорили, было когда-то сушей. На таких местах во время приливов и отливов возникали стремительные течения и водовороты, со дна поднималась муть, образуя причудливые полосы и принимая форму подвижных скал, и все вокруг заволакивалось туманом. Юноша вглядывался в этот туман и представлял себе облака в небе. Разумеется, облака в небе были и теперь, и он не раз видел их в кино на уроках. Но теперь все облака были одинаковы. Говорят, что давным-давно, когда земной шар покрывали огромные материки и рельеф суши был очень сложным, это заставляло облака принимать бесконечно



разнообразные формы. Интересно, на что это было похоже, когда по небу плавали такие призраки, и какие чувства испытывали древние наземные люди, когда глядели на них?

Правда сами наземные люди не были для юноши диковинкой. Их всегда можно видеть в воздушных комнатах музея. Вялые и безжизненные на вид, они неуклюже передвигаются среди издревле привычных им предметов обихода, придавленные к полу силой тяготения. Верхняя часть туловища у них непомерно огромна, потому что заключает в себе воздушный насос, именуемый легкими. Они совершенно беспомощны — для того чтобы принять самую обычную позу, им приходится пользоваться так называемым стулом. Нет, вряд ли они могут иметь отношение к мечте. На уроке искусствоведения юноше рассказывали, каким беспомощным и варварским было искусство в древности.

Например, музыка... По определению это искусство, основанное на колебаниях... Колебания разных частот распространяются в воде и воспринимаются всей поверхностью тела. Но для наземных людей музыка состояла в колебаниях воздуха. И эти колебания наземные люди воспринимали не всем телом, а только крошечными органами, которые называются барабанными перепонками. Естественно, что их музыка была примитивной и монотонной.

Этому нельзя не поверить, когда видишь наземных людей в музее. Впрочем, как у них все обстояло в действительности, вообразить себе невозможно. Может быть, это был какой-то особенный мир, совершенно отличный от того, каким он представляется из-под воды? Легкий изменчивый воздух... Изменчивые облака, танцующие в небе... Нереальный мир, исполненный всевозможных фантазий...

Книги по истории рассказывают, как храбро сражались и умирали предки на этой великой суше, обитатели смуты и муки. У них было отсталое сознание, но они обладали так

называемым «духом борьбы». И несмотря на консерватизм, у них достало мужества погрузить в собственное тело хирургический нож и дать начало подводному человеку. И, как говорится в книгах, каковы бы ни были их побуждения, надо быть благодарным им за это их мужество.

Но почему мужество и отвага не ощущаются в наземных людях, которые в музее? Учитель объяснил, что их деградация связана с потерей ведущей роли в обществе. Возможно, это и так, но что если в них есть нечто такое, чего нам не дано понять? И никак нельзя согласиться с тем, что у них никогда ничего не было, кроме «духа борьбы»... Юноша много думал обо всем этом, хотя, разумеется, не так последовательно. С тех пор как ветер коснулся его кожи, мир прошлого за воздушной стеной обрел для него странную притягательную силу. Наука наземной эпохи достигла довольно высоких ступеней развития. Наземной эпохе отведено немало страниц даже в учебниках для начальной школы. Но о внутренней жизни наземных людей не говорилось почти ничего, если не считать упоминаний об особенностях их системы ощущений. Исследования в этой области не поощрялись из страха перед «болезнью суши»: эта болезнь была всего лишь видом нервного расстройства, обусловленного природным предрасположением, но почему-то носила характер идейной инфекции — возможно, потому, что история подводной эпохи была еще короткой и в общественном устройстве оставались еще детали спорные и чреватые ошибками. Сблуживать это табу тоже подстегивал юношу.

Теперь он украдкой уплывал из города ежедневно после работы. Все свободное время он кружил на подводном скутере в поисках следов жизни наземных людей. Под волнами, сияющими тусклым голубым светом, как перевернутое зеркало, он проплывал над подводными пастбищами, огибал метеостанции, подвешенные на бесчисленных буйках, про-



носился сквозь столбы воздушных пузырьков, извергаемых подводными заводами.

Но за такое ограниченное время ему не удавалось достичь места, где, встав на ноги, можно высунуть голову из воды. В окрестностях его города суши уже давно не было.

Однажды юноша остановил учителя музыки и задал вопрос: не была ли музыка наземных людей чем-то вроде ветра, который они воспринимали не только ушами, но и всей кожей? Учитель отрицательно покачал головой.

— Ветер есть простое движение воздуха, а не колебание.

— Но ведь существовало выражение «песня несется по ветру»?

— Вода передает музыку, но вода не музыка... И считать воздух чем-то большим, нежели простое промышленное сырье, значит впасть в мистицизм.

Но юноша почувствовал в ветре нечто большее, чем промышленное сырье. Учитель ошибается. И юноша решил, что он еще раз сам проверит, музыка ветер или нет.

Через некоторое время наступили трехдневные каникулы. Воспользовавшись этим, юноша со своими товарищами сел на прогулочный корабль для экскурсии по историческим местам. Этот быстроходный корабль за половину дня доставил их к гигантским руинам, которые в древности назывались «Токио». Там туристские базы, оборудованные всем необходимым, магазины удивительных сувениров, всемирно известный зоопарк с наземными животными. Там можно побродить и погоняться за рыбами по заброшенным лабиринтам и ущельям между нагромождений бесчисленных бетонных коробок. Это интересно, сопряжено с некоторым риском и приятно щекочет нервы. А если подняться над руинами, то можно разглядывать сверху странную сеть улиц. Улицы — это вроде тоннелей, только без покрытия. Наземные люди были прикованы к земле и могли пользоваться только горизонтальными плоскостями, вот для

чего им были нужны улицы. Какая бесполезная трата пространства!.. На первый взгляд это кажется смешным, но если вдуматься, зрелище грандиозное. Следы мучительной борьбы предков с землей... Следы их усилий избавиться от силы тяготения и стать легче... Ведь у них даже пустой пластиковый коробок падал сверху вниз... Боролись друг с другом за кусочки земной поверхности... Передвигали свои тела, попирая сушу тонкими ногами... Суша, ветер, а вода в этом громадном пустом пространстве падала сверху вниз редкими каплями...

Но у юноши не было времени предаваться размышлениям об этих диковинных вещах. Восторженность и любопытство он оставил своим наивным приятелям, а сам незаметно отстал от них и один поплыл дальше. Если плыть в течение суток на северо-запад, он достигнет клочка суши, о котором упоминали на уроке географии. Садилось солнце, наступало время, когда волны сияют особенно красиво; но чем дальше он плыл, тем монотоннее и мрачнее становилось все вокруг. Эти места, лишь недавно поглощенные морем, еще, казалось, носили на себе отпечаток смерти.

Он обернулся и посмотрел на огни платформы для обозрения, висящей над руинами Токио, как огромная светящаяся рыба. Ему вдруг стало страшно и захотелось вернуться, но ноги сами забили по воде, увлекая его в противоположную сторону...

Юноша плыл и плыл... Постепенно пейзаж под ним становился все более диким, появились рифы и глубокие ущелья... Торчали шипами мертвые остовы наземных растений... Едва заметные белесые пятна на склоне какого-то холма — должно быть, кости наземных животных, загнанных и убитых наступающим морем...

Юноша плыл всю ночь. По дороге он три раза останавливался передохнуть и подкрепиться сладким желе и пойманными рыбешками. Он никогда раньше не плавал так долго без

скутера и теперь от усталости не чувствовал ни рук, ни ног. Но он продолжал плыть и на рассвете наконец достиг цели. Дно здесь поднималось и выступало над водой. Это и была суша. Маленький островок в полкилометра окружностью, едва выдвигавшийся над поверхностью моря.

Напрягая последние силы, он выполз из воды. В своем воображении он представлял себе, как встанет во весь рост и услышит музыку ветра, но едва он покинул море, как вся тяжесть мира вдруг навалилась на него. Он приник к земле и не мог пошевелиться. С огромным трудом он смог поднять один палец. И вдобавок было страшно тяжело дышать, словно во время спортивной борьбы, когда запрещенным приемом зажимают жабры. Но он не обратил на это внимание, ведь кислород есть и в воздухе.

А желанный ветер дул. Ветер коснулся его глаз, и, как будто в ответ, из глаз что-то полилось. Он был доволен. Это слезы. Значит, «болезнь суши»... Ему уже не хотелось двигаться.

Очень скоро он перестал дышать.

Сменили друг друга несколько десятков дней и ночей. Море поглотило и этот маленький островок. Труп юноши еще долго качался на волнах.

«А я? Я могу поднять палец?» — подумалось мне. Нет, кажется, не могу. Пальцы тяжелы, словно свинцовые. Как у этого подводного мальчика, который выполз на берег.

Где-то далеко раздался гудок электрички. С грохотом проехал грузовик. Кто-то тихо кашлянул. Потом, наверное от ветра, дважды сотряслись стекла в оконных рамах.

К двери, словно прилипая к полу, медленно приближались шаркающие шаги моего убийцы в брезентовых туфлях. Я все еще никак не мог поверить... Неужели человек имеет



обязательства только потому, что существует?.. Да, вероятно, так, в споре между отцами и детьми судят всегда дети... Созданные судят создателей, что бы там создатели ни думали, это, вероятно, закон действительности.

Шаги остановились за дверью.



Преодолев запутанный лабиринт, ты все же пришла, доверившись полученному от него плану, ты наконец пришла в это убежище. Несмело ступая, ты поднялась по лестнице, поскрипывающей, как педали органа; и вот комната. Затаив дыхание, постучала — ответа почему-то не последовало. Вместо ответа вприпрыжку, как котенок, подбежала девочка и открыла тебе дверь. Ты окликаешь ее, пытаешься узнать, не передавал ли он тебе что-нибудь, но девочка, ничего не ответив, только улыбнулась и убежала.

Тебе был нужен он, и ты заглянула в дверь. Но не увидела его, не увидела ничего, что напоминало бы о нем, — мертвая комната, в которой витает дух запустения. Вид тусклой стены заставил тебя вздрогнуть. Ты собралась было уйти, хотя испытывала чувство вины, но вдруг тебе попались на глаза три тетради, лежавшие на столе, и рядом — письмо. Тут ты сообразила, что попала все-таки в ловушку. Какие бы горькие мысли ни овладели тобой в эту минуту, все равно — соблазн непреодолим. Дрожащими руками разрываешь конверт и начинаешь читать письмо...

Ты почувствовала, наверно, злость, почувствовала, наверно, обиду. Но я выдержу твой взгляд, упругий, как сжатая пружина: я во что бы то ни стало хочу, чтобы ты

продолжала читать. У меня нет никакой надежды, что ты благополучно преодолеешь эти минуты и сделаешь шаг в мою сторону. Я уничтожен им или он уничтожен мной? — так или иначе занавес в трагедии масок упал. Я убил его, признал себя преступником и хочу сознаться во всем до конца. Из великодушия или наоборот, но я хочу, чтобы ты продолжала читать. Тот, кто обладает правом казнить, обязан выслушать показания обвиняемого. И так просто отвернуться от меня, стоящего перед тобой на коленях, — не заподозрят ли тебя в том, что ты соучастница преступления? Ну ладно, садись, почувствуй себя как дома. Если воздух в комнате спертый, сразу же открой окно. Чайник и чашки, если понадобятся, на кухне. Как только ты спокойно усядешься, это убежище, запрятанное в конце лабиринта, превратится в зал суда. И пока ты будешь просматривать показания, я, чтобы сделать конец трагедии масок еще более достоверным, готов ждать сколько угодно, латая прорехи в занавесе. Да и одни воспоминания о нем не дадут мне скучать.

Итак, возвратимся к тому, что произошло со мной совсем недавно. Было утро, за три дня до того момента, который для тебя «сейчас». И в ту ночь ветер, смешанный с дождем, в котором будто растворили мед, с жалобным стоном сотрясал окно. Весь день я обливался потом, а когда зашло солнце, захотелось погреться у огня. Газеты писали, что еще вернутся холода, но как бы то ни было, дни стали длиннее, и только кончится этот дождь, сразу почувствуешь, что наступило лето. Стоило подумать об этом, и сердце начинало тревожно биться. В нынешнем моем положении я похож на фигурку из воска, бессильную перед жарой. При одной лишь мысли об ослепительном солнце вся моя кожа вздувалась волдырями.

Тогда я решил любым способом покончить со всем, пока не наступило лето. По долгосрочному прогнозу, в течение трех-



четыре-х дней распространится высокое атмосферное давление с материка и возникнут метеорологические явления, характерные для лета. Мое единственное желание — в течение трех дней закончить приготовления для твоей встречи и сделать так, чтобы ты начала читать это письмо. Но нельзя сказать, что три дня — срок достаточный. Как ты сама видишь, показания, о которых я упоминал, — это три исписанные убористым почерком тетради, которые охватывают события целого года. В день я должен обработать по тетради, добавлять, вычеркивать, переделывать и оставить тебе в таком виде, который бы удовлетворил меня, — труд поистине огромный. Я настроился на работу и, купив на ужин пирожки с мясом, обильно сдобренные чесноком, вернулся сегодня домой часа на два раньше обычного.

Ну и какой же результат?... Отвратительный... Я вновь ощутил, к чему может привести убийственный недостаток времени. Пробежал написанное и почувствовал омерзение к себе — записки выглядят почти как попытка оправдаться. Но такое неизбежно в эту залитую дождем, будто созданную для гибели ночь, когда промозглая сырость тревожит душу. Не стану отрицать — финал выглядит достаточно жалким, но я тешу себя надеждой, что всегда полностью отдавал себе отчет в происходящем. Без этой уверенности я вряд ли мог бы писать с такой неутолимой жадностью, независимо от того, послужат мои записки подтверждением алиби или, наоборот, вещественным доказательством виновности. Я до сих пор твердо убежден в одном, и не потому, что нелегко признать свое поражение: лабиринт, в который я сам себя загнал, был моим логически неизбежным страшным судом. Но вопреки ожиданиям мои записки вызывают жалким голосом, похожим на голос приبلудной кошки, запертой в комнате. Не знаю, удастся ли мне, забыв, что я располагаю всего тремя днями, обработать записки настолько, чтобы они меня удовлетворили.



Ну хватит. Настал момент, когда я утвердился в мысли откровенно рассказать обо всем — ощущение, точно в горле застрял непрожеванный кусок жилистого мяса, стало для меня невыносимым. Если те страницы, которые вопиют, покажутся тебе никчемными и ты их только пролистаешь — ну что ж. Ты, например, не переносишь визг электрической дрели, шуршание тараканов, скрежет металла по стеклу. Но вряд ли можно сказать, что это самое важное в жизни. Почему визг электрической дрели — понять можно: он, видимо, ассоциируется с бормашиной. Два же других звука вызывают — не назовешь иначе — какую-то нервную сыпь. Но мне еще не приходилось слышать, чтобы сыпь была опасна для жизни.

Однако всему есть мера, пора, пожалуй, кончать. Сколько ни нагромождай оправданий, оправданиям — они ни к чему. Куда важнее то, чтобы ты не бросила на полдороге это письмо — мое время кончается, оно накладывается на твое настоящее, — а потом перешла к чтению записок... Я буду не отступно следовать за течением твоего времени, читай их не отрываясь до последней страницы...

Сейчас ты уже, наверное, успокоилась? Чай в низкой зеленой банке. Кипяток — в термосе.

Черная тетрадь

Прежде всего — последовательность тетрадей по цвету обложек: черная, белая, серая. Между цветом и содержанием нет, конечно, никакой связи. Я выбрал их наугад, просто чтобы легче было различать.

* * *

Начну, пожалуй, с рассказа об убежище. Да, собственно, какая разница, с чего начать. Легче всего начать рассказ с того самого дня. Это было примерно полмесяца назад, когда я, как я тебе объяснил, на неделю должен был поехать в командировку. Моя первая большая поездка, с тех пор как я вышел из больницы. Я думаю, для тебя это тоже был памятный день. Я придумал и цель командировки — проверка хода работ по сооружению завода полиграфической краски в Осаке. Первое, что пришло мне в голову. На самом же деле с того дня я укрылся в доме S. и стал готовиться к осуществлению своего плана.

В тот день я писал в своем дневнике:

«26 мая. Дождь. По газетному объявлению посетил дом. Увидев мое лицо, девочка, игравшая во дворе, заплакала. Решил остановить выбор на этом доме — место прекрасное, расположение квартиры почти идеальное. Бодрит запах нового

дерева и краски. Соседняя квартира как будто еще не занята. Хорошо бы и ее снять, но...»

Но я не собирался скрываться в доме S. под чужим именем, не собирался выдавать себя за другого. Это, может быть, покажется неразумным, но у меня был свой расчет. Мое лицо сейчас уж никак ни годилось для мелких плутней. Действительно, игравшая у подъезда девочка, по виду уже школьница, только увидела меня, начала всхлипывать, будто перед ее глазами еще плыл страшный сон. Правда, управляющий, стараясь как можно лучше обслужить клиента, был невероятно приветлив...

Нет, приветлив был не только управляющий. Как это ни печально, почти все люди, встречавшиеся со мной, были приветливы. И поскольку их не тянуло слишком глубоко вникать в мои дела, каждый делал хорошую мину. И это понятно. Если они не решались взглянуть мне прямо в лицо, им ничего не оставалось, как быть приветливыми. Потому-то я и имел возможность избегать бессмысленных расспросов. Окруженный непреодолимой стеной приветливости, я всегда был совершенно одинок.

Дом только что построили, так что примерно половина из его восемнадцати квартир еще была не занята. Управляющий, сделав понимающее лицо, без всякой моей просьбы услужливо выбрал самую дальнюю квартиру на втором этаже, рядом с черной лестницей. Во всяком случае, внешне он был чрезвычайно услужлив. Квартира мне понравилась, хотя бы потому, что ее выбрали для меня специально. Разумеется, там была и ванная, а в самой комнате стояли, хотя и не особо изысканные, стол и два стула, и к тому же она в отличие от других квартир имела эркер, очень большой — почти как застекленная терраса. Черная лестница вела к стоянке для пяти-шести машин, и оттуда можно было выйти на другую улицу. Это, конечно, очень удобно и еще больше повышало ценность квартиры. Я должен был с самого начала все предусмотреть и потому тут же заплатил за три месяца вперед. Потом я попросил купить мне в ближайшем

магазине постельные принадлежности. Управляющий, изображая безмерную радость, болтал без умолку, рассказывал, как хорошо устроена вентиляция, какая квартира солнечная. А покончив с этой темой, готов был начать рассказ уже о своей жизни. Но, к счастью, ключ от квартиры, который он протянул, выскользнул из его пальцев и со звоном покатился по полу. Управляющий в замешательстве ретировался. Я вздохнул с облегчением... Как хорошо, если бы с людей всегда вот так легко можно было сдирать налет лжи.

* * *

Стемнело, стало невозможно разглядеть пальцы на руке, даже поднесенной к самому лицу. Комната, которая не знала еще человеческого тепла, была безжизненно холодной и неприветливой. Но она казалась мне лучше, чем приветливые люди. К тому же, с тех пор как случилось это несчастье, я больше всего полюбил темноту. Правда, как было бы хорошо, если бы все люди на земле вдруг лишились глаз или забыли о существовании света. Наконец удалось бы достигнуть единодушия относительно формы. Все люди согласились бы, что хлеб — это хлеб, независимо от того, треугольный он или круглый... Да, вот, например, как было бы хорошо, если бы та маленькая девочка, еще не видя меня, зажмурилась и услышала только мой голос. Тогда, может быть, мы привыкли бы друг к другу, стали друзьями — вместе ходили в парк, ели мороженое... И только потому, что всюду лез этот назойливый свет, девочка ошиблась, приняв треугольный хлеб не за хлеб, а за треугольник. То, что называют светом, само по себе прозрачно, но все предметы, попадая в его лучи, становятся непрозрачными.

Однако свет все же существует, и тьма — это лишь строго ограниченная временем отсрочка исполнения приговора. Когда я открыл окно, в комнату, как клуб черного пара, ворвался

пропитанный дождем ветер. Захлебнувшись им, я закашлялся, снял темные очки и вытер слезы. Электрические провода, верхушки столбов, карнизы стоящих в ряд домов вдали, на широкой улице, слабо поблескивали, когда на них падал свет фар пронесившихся мимо автомобилей, точно следы мела на черной доске.

В коридоре слышались шаги. Привычным движением я снова надел очки. Из магазина принесли постельные принадлежности, которые я заказал через управляющего. Деньги я подсунул под дверь и попросил оставить покупки в коридоре.

Итак, приготовления к старту как будто закончены. Я разделся и открыл платяной шкаф. В створку с внутренней стороны было вделано зеркало. Я снова снял очки, сбросил повязку и, пристально вглядываясь в зеркало, начал разбинтовывать лицо. Намотанные в три слоя бинты насквозь пропитались потом и стали вдвое тяжелее, чем утром, когда я их наматывал.

Как только я освободил лицо от бинтов, на него выползли полчища пиявок — багровые, переплетающиеся келоидные рубцы... Ну что за отвратительное зрелище!.. Все это повторяется каждый день, как урок, — пора бы привыкнуть.

Меня еще больше разозлил мой, казалось бы, беспричинный испуг. Если вдуматься — не имеющая никаких оснований, неразумная чувствительность. Стоит ли поднимать такой шум из-за какой-то оболочки человека, да еще из-за ее небольшой части — кожи лица? Честно говоря, подобный предрассудок, устоявшийся взгляд ничуть не удивителен. Например, вера в колдовство... расовые предрассудки... безотчетный страх перед змеями (или тот же болезненный страх перед тараканами, о котором я уже писал)... Вот потому-то не прыщавый желторотый юнец, живущий иллюзиями, но даже я, заведующий важной лабораторией в солидном институте и накрепко, чуть ли не корабельным канатом привязанный к обществу, страдал от охватившей меня душевной аллергии. Прекрасно

сознавая, что для особой ненависти к этому обиталищу пиявок нет никаких оснований, я ничего не мог поделать с собой и испытывал к нему непреодолимое отвращение.

Я, разумеется, предпринимал бесчисленные попытки преодолеть себя. Чем пройти мимо, отвернувшись, гораздо лучше посмотреть правде в глаза и привыкнуть к своему положению раз и навсегда. Если сам перестанешь обращать внимание, другие начнут поступать так же. Это несомненно. Исходя из этого, я и в институте стал часто говорить о своем лице. Я, например, с наигранной веселостью сравнивал себя с чудовищем в маске, которое показывают в телевизионных мультфильмах. Говорил с той же наигранной веселостью, как удобно видеть и не быть видимым, когда можешь подсматривать за другими, для которых выражение твоего лица скрыто. Самый быстрый способ привыкнуть самому — приучать других.

Такой результат был, пожалуй, достигнут. Очень скоро в лаборатории я уже не чувствовал прежней напряженности. Дошло до того, что чудовище в маске тоже перестало быть пугалом, и в бесконечном его появлении на экранах телевизоров и в комиксах мои товарищи стали даже усматривать определенный резон. Действительно, маска, если, конечно, под ней не гнездятся пиявки, безусловно, имеет свои удобства. Если облачение тела в одежды знаменует прогресс цивилизации, то вряд ли можно быть гарантированным от того, что в будущем маска не станет самой обыденной вещью. Даже теперь маски часто используются в важнейших обрядах, на празднествах, и я затрудняюсь дать этому факту исчерпывающее объяснение, но мне представляется, что маска, видимо, делает взаимоотношения между людьми значительно более универсальными, менее индивидуальными, чем когда лицо открыто...

Временами я начинал верить, что хоть и медленно, но все же пошел на поправку. Однако я еще по-настоящему не представлял себе, сколь ужасно мое лицо. А все это время под



бинтами продолжалось непрерывное наступление пиявок. Обмороживание жидким воздухом не поражает так глубоко, как ожог, и, следовательно, заживление должно идти сравнительно быстро. Однако вопреки уверениям врачей, сокрушив все возможные оборонительные рубежи — прием теразина, инъекции кортизона, радиотерапия, — орды пиявок, бросая в бой все новые и новые силы, расширяли и без того обширный плацдарм на моем лице.

Однажды, например... Это случилось в обеденный перерыв, в тот день, когда я возвратился после совещания по согласованию работы нашей лаборатории с другими. Молодая лаборантка, только в этом году окончившая институт, подошла ко мне, перелистывая страницы книги, всем своим видом показывая, что хочет мне что-то сказать. «Посмотрите, сэнсэй, какая забавная картинка». В книжке, которую она мне со смехом протянула, под ее тоненьким пальчиком был рисунок Клее, названный «Фальшивое лицо». Лицо было расчерчено параллельными горизонтальными линиями, и, если смотреть на него с определенной точки, казалось, что оно все обмотано бинтами. Оставались лишь узкие щелочки для глаз и рта — все это безжалостно подчеркивало отсутствие в лице всякого выражения. Я неожиданно почувствовал себя глубоко уязвленным. Девушка не имела, конечно, злого умысла. Я ведь сам сознательно своими разговорами спровоцировал ее на такой поступок. Ничего, успокойся!.. Если раздражаться из-за подобного пустяка, то все мои усилия будут лопаться, как пузырьки на воде... Так я уговаривал себя, но вынести этого не мог — рисунок даже начал казаться мне моим собственным лицом, отражавшимся в глазах девушки... «Фальшивое лицо», видное другим, но само неспособное посмотреть... Меня мучила мысль, что девушке я кажусь именно таким.

Неожиданно для себя я выхватил книжку из рук девушки и разорвал ее пополам. Вместе с ней разорвалось и мое сердце.

Из раны, точно содержимое протухшего яйца, вылилось мое нутро. Опустошенный, я собрал разорванные страницы и с извинениями вернул их девушке. Но было уже поздно. Раздался звук, который в обычных условиях, даже напрягаясь, невозможно услышать: будто в термостате зашуршала, изогнувшись, металлическая пластинка. Наверно, это девушка плотно сжала под юбкой колени, точно стараясь слить их в одно целое.

* * *

Я еще, по всей вероятности, не осознал всего, что скрывалось за моей тогдашней тоской. Буквально физически ощущая муки стыда, я все же не мог точно определить, чего же, собственно, я так стыжусь. Нет, пожалуй, если бы захотел, то смог, но я инстинктивно избегал заглядывать в пучину и спасался в тени избитой, банальной фразы: подобное поведение недостойно взрослого человека. Я убежден, что в жизни человека лицо не должно занимать такое уж большое место. Значимость человека в конечном счете нужно измерять содержанием выполняемой им работы, и это связано с уровнем интеллекта, лицо же тут ни при чем. И если из-за того, что человек лишился лица, его общественный вес уменьшается, причиной может быть лишь одно — убогое внутреннее содержание этого человека.

Однако вскоре... Да, через несколько дней после этого случая с рисунком... Волей-неволей я стал все яснее сознавать, что удельный вес лица значительно больше, чем я наивно предполагал. Это предостережение подкралось внезапно, откуда-то изнутри. Все мое внимание было поглощено подготовкой к защите от нападения извне, поэтому я был застигнут врасплох и в мгновение ока повержен. Причем атака была столь резкой и неожиданной, что я не сразу осознал свое поражение.

Когда я возвратился вечером домой, мне непреодолимо захотелось послушать Баха. И не то чтобы я не мог жить без Баха — просто мне казалось, что моему неровному, зазубренному, что ли, настроению, у которого неимоверно сократилась амплитуда колебаний, больше всего подходит именно Бах, а не джазовая музыка или Моцарт. Я не такой уж тонкий ценитель музыки — скорее ревностный ее потребитель. Когда работа у меня не клеится, я выбираю музыку, больше всего соответствующую нерабочему настроению. Если мне нужно на какое-то время прервать размышления — зажигательный джаз; если я хочу напрячь себя — раздумчивый Барток; если стремлюсь испытать чувство внутренней свободы — струнный квартет Бетховена; если мне нужно на чем-то сосредоточиться — нарастающий по спирали Моцарт; ну а Бах — прежде всего когда необходимо душевное равновесие.

Но вдруг меня охватило сомнение — не спутал ли я пластинку. А если нет, то, значит, проигрыватель неисправен. Настолько была искажена мелодия. Такого Баха я еще никогда не слышал. Бах — бальзам, пролитый на душу, но то, что я услышал, не было ни ядом, ни бальзамом, а каким-то бесформенным комом глины. Это было нечто лишнее смысла, глупое, все музыкальные фразы до одной представлялись мне вываленными в пыли, приторными леденцами.

Это случилось как раз в тот момент, когда ты с двумя чашками чаю вошла в комнату. Я ничего не сказал, и ты, видимо, подумала, что я погрузился в музыку. Ты тут же тихонько вышла. Значит, это я сошел с ума! И все равно я не мог поверить в это... Неужели изуродованное лицо способно влиять на восприятие музыки?.. Сколько я ни вслушивался, умиротворяющий Бах не возвращался, и мне не оставалось ничего другого, как примириться с этой мыслью. Вставляя сигарету в щель между бинтами, я нервно спрашивал себя, не потерял ли

я еще чего-то вместе с лицом. Моя философия, касающаяся лица, нуждалась, кажется, в коренном пересмотре.

Потом, точно из-под ног вдруг выскользнул пол времени, я погрузился в воспоминания тридцатилетней давности. Этот случай, о котором я с тех пор ни разу не вспоминал, внезапно ожил, отчетливо, точно цветная гравюра. Все вышло из-за парика моей старшей сестры. Трудно объяснить почему, но эти чужие волосы казались мне чем-то невыразимо непристойным, аморальным. Однажды я потихоньку стащил его и бросил в огонь. Но мать как-то это обнаружила. Она приняла мой поступок очень близко к сердцу и учинила допрос. И хотя мне казалось, что я поступил правильно, когда меня стали допрашивать, я не знал, что ответить, и стоял растерянный, красный. Нет, если бы я попытался, то смог бы, конечно, ответить. Но мне казалось, что даже говорить об этом неприлично, брезгливость сковывала язык... Ну и если заменить слово парик словом лицо, то станет ясно, почему непереносимое внутреннее напряжение так точно совпало с пустым звучанием разрушенного Баха.

Когда я, остановив пластинку, выбежал из кабинета, точно спасаясь от погони, ты вытирала стоявшие на обеденном столе стаканы. То, что произошло дальше, было настолько внезапно, что сейчас я не могу восстановить в памяти, как все это случилось. Столкнувшись с твоим противодействием, я смог наконец полностью осознать, в каком положении оказался. Правой рукой я сжал твои плечи, левой попытался залезть под юбку. Ты закричала и вдруг, напрягшись, как пружина, вскочила. Стул отлетел в сторону, стакан упал на пол и разбился.

Схватившись за упавший стул, мы, не дыша, замерли друг против друга. Мои действия, может быть, и правда были слишком грубыми. Но я находил им и некоторое оправдание. Это была отчаянная попытка одним усилием вернуть

то, что я начал терять из-за искаженного лица. Ведь с тех пор, как это случилось, физической близости между нами не было. Хотя теоретически я признавал, что лицо имеет лишь подчиненное значение, но все же избегал посмотреть на себя со стороны, уходил от этого. Я был загнан в угол, и у меня не оставалось другого выхода, кроме как броситься в лобовую атаку. Видимо, своим поступком я хотел доказать, что барьер, воздвигнутый между нами моим лицом, призачен, что его не существует.

Но и эта попытка окончилась неудачей. Ощущение твоего лона, точно припорошенного алебастровой пылью, блуждающими огоньками до сих пор покалывает кончики моих пальцев. В горле у меня, будто пучок колючек, застрял хриплый вопль. Я хотел сказать что-нибудь. Мне хотелось многое сказать... Но я не мог вымолвить ни слова. Оправдание?.. Сожаление?.. А может быть, обвинение? Если уж говорить — нужно было выбрать что-нибудь из этого, но сделать выбор я, кажется, уже не успевал. Если выбрать оправдания или сожаление, то лучше уж просто улетучиться как дым. Если же выбрать наступление, то я бы разодрал твое лицо, и ты бы стала подобна мне или даже еще страшнее. Вдруг ты заплакала навзрыд. Это был жалобный, безысходный плач, похожий на урчанье воздуха в кране, из которого перестала течь вода.

Внезапно на моем лице разверзлась глубокая дыра. Она была такой глубокой, что в ней, казалось, могло легко поместиться все мое тело и еще место бы осталось. Откуда-то засочилась жидкость, похожая на гной из гнилого зуба, и застучала каплями. Сопровождающее этот звук зловоние, наполнившее комнату, ползло, будто полчища тараканов, отовсюду: из обивки стульев, из шкафа, из водопроводного крана, из выцветшего, засиженного мухами абажура. У меня возникло непреодолимое желание заткнуть на лице все дыры. Захотелось прекратить эту пародию на игру в прятки, когда не от кого прятаться.



Отсюда был лишь один шаг до моего плана изготовить маску. В том, что такая идея появилась, не было ничего удивительного. Ведь для сорняка вполне достаточно клочка земли и капли влаги. Не принимая близко к сердцу, не придавая этому серьезного значения, со следующего дня, как и намечал, я стал просматривать оглавления старых научных журналов. Нужная мне статья об искусственных органах из пластика должна быть примерно в летних номерах за позапрошлый год. Да, моей целью было сделать пластиковую маску и прикрыть ею дыры на лице. Согласно одной теории, маска служит не простым заменителем, а выразителем весьма метафизического желания заменить свой облик каким-то другим, превосходящим собственный. Я тоже не мыслил категориями рубахи и брюк, которые можно менять, когда захочется. Не знаю, как поступили бы древние, поклонявшиеся идолам, или юнцы, вступающие в пору половой зрелости, я же не собирался возложить маску на алтарь своей второй жизни. Сколько бы ни было лиц, я неизменно должен был оставаться самим собой. Маленькой «комедией масок» я пытался лишь заполнить затянувшийся антракт в моей жизни.

Мне без особого труда удалось найти нужный журнал. Согласно статье, можно создать части тела, внешне почти не отличающиеся от настоящих. Правда, все это относилось лишь к воспроизведению формы, что же касается подвижности, то здесь оставалось еще много нерешенных проблем. Нужно постараться, чтобы маска, если мне удастся ее создать, обладала мимикой. Мне бы хотелось, чтобы она могла свободно растягиваться и сокращаться в плаче и смехе, следуя за движением мускулов лица, управляющих мимикой. И хотя нынешний уровень высокомолекулярной химии вполне позволяет добиться этого, наши возможности в области технологии не-

сколько отстают. Но одно то, что надежда существовала, уже было для меня в то время прекрасным жаропонижающим. Когда нет возможности лечить зубы, не остается ничего иного, как глотать болеутоляющее.

Прежде всего я решил встретиться с К., автором статьи об искусственных органах, и поговорить с ним. К. сам подошел к телефону, но был очень неприветлив и разговаривал со мной безо всякого интереса. Может быть, он испытывал предубеждение против меня — человека, тоже занимающегося высокомолекулярными соединениями. Но все же обещал уделить мне час после четырех.

Поручив дежурному проследить за приборами и просмотрев несколько документов, я быстро ушел. Улица сверкала, точно отполированная, ветер разносил запах маслин. Эта сверкающая улица, этот запах вызывали у меня острое чувство зависти. Пока я ждал такси, мне казалось, что со всех сторон на меня gazeют, будто видят перед собой незаконно вторгшегося пришельца. Но я терпел этот слишком яркий солнечный свет — пока все было лишь негативом, в котором черное — белое, а белое — черное, и, если удастся получить маску, я сразу же смогу получить позитив.

Нужный мне дом находился на улице, тесно застроенной жилыми зданиями, недалеко от станции кольцевой железной дороги. Это был обыкновенный, ничем не примечательный дом, на котором висела малозаметная табличка «Научно-исследовательский институт высокомолекулярной химии К.». Во дворе у ворот как попало были расставлены клетки с кроликами.

В тесной приемной стояли лишь истертая деревянная скамья и пепельница на ножках, лежало несколько старых журналов. Я почему-то пожалел, что пришел сюда. Институт — звучало внушительно, но вряд ли это было то место, где следовало выбирать лечащего врача. Может быть, К. —

обыкновенный шарлатан, пользующийся доверчивостью своих пациентов. Обернувшись, я увидел на стене две фотографии в замусоленных рамках. На одной — в профиль лицо женщины без подбородка, напоминающее мордочку полевой мыши. На другой — оно же, чуть улыбающееся, ставшее несколько привлекательнее, видимо, после пластической операции.

Сказывалась длительная бессонница — что-то давило на переносицу, сидеть на твердой скамье было невыносимо. Наконец вошла сестра и проводила меня в соседнюю комнату. В ней разливался молочный свет, проникавший сквозь жалюзи. На столе у окна никаких шприцев не было, зато устрашающе блестели какие-то незнакомые инструменты. Около стола стояли шкаф с историями болезней и вращающееся кресло с подлокотниками, напротив — такое же кресло для пациентов. Несколько поодаль — невысокая ширма и рядом кабинка на колесиках для переодевания. Стандартное оборудование кабинета врача. Оно привело меня в уныние.

Я закурил. Приподнявшись в поисках пепельницы, я замер от неожиданности, увидев содержимое эмалированного лотка. Ухо, три пальца, кисть руки, щека от века до губы... Они лежали как попало в лотке, еще дыша жизнью, будто только что отрезанные. Мне стало не по себе. Они казались более настоящими, чем настоящие. Честно говоря, даже и в голову не приходило, что слишком точная копия может производить такое тягостное впечатление. Хотя достаточно было посмотреть на срезы, чтобы убедиться, что это всего лишь пластиковые муляжи, мне все равно казалось, что я ощущаю запах смерти.

Из-за ширмы вдруг появился К. Меня поразила его неожиданно приятная внешность. Вьющиеся волосы, очки без оправы с толстыми стеклами, похожими на доньшки стаканов, мясистый подбородок... И к тому же от К. исходил родной, привычный мне запах химикатов...



Теперь была его очередь испытать беспокойство. Некоторое время он молчал, в замешательстве глядя то на мою визитную карточку, то на мое лицо.

— Итак, вы... — К. замолчал, снова бросил взгляд на мою визитную карточку и голосом, уже совсем другим, нежели по телефону, сдержанно закончил: — Вы пришли ко мне как пациент?

Конечно же, я пациент. Но каким бы превосходным ни было искусство К., я не смел питать ни малейшей надежды, что ему удастся выполнить мое желание. Единственное, на что я мог рассчитывать, — это на совет. С другой стороны, сказать об этом прямо, в лоб и обидеть собеседника тоже было бы невежливо. К., видимо, объяснил мое молчание робостью и продолжал участливо:

— Садитесь, пожалуйста... На что жалуетесь?

— Во время эксперимента произошел взрыв жидкого кислорода. Обычно мы использовали жидкий азот, поэтому по привычке я был не особенно осторожен...

— Келоидные рубцы?

— Как видите, по всему лицу. Наверно, я предрасположен к появлению келоидов. Мой врач решил отказаться от дальнейшего лечения, так как малейшая неосторожность может вызвать рецидив.

— Вокруг губ лицо как будто не пострадало?

Я снял темные очки и показал ему.

— Благодаря очкам глаза тоже уцелели. Мое счастье, что я близорук и ношу очки.

— Да, вам повезло! — И с жаром, будто это касалось его самого: — Ведь речь идет о глазах и губах... Если они теряют подвижность — очень плохо... Одной формой обмануть никого не удастся.

Вроде бы увлеченный своим делом человек. Пристально разглядывая мое лицо, он, казалось, в уме уже вырабатывал

план. Чтобы не разочаровывать его, я поспешил переменить тему разговора:

— Мне попалась написанная вами работа. По-моему, летом прошлого года.

— Да, в прошлом году.

— Я был потрясен. Просто не мог представить себе, что достижимо такое искусство.

К. с видимым удовольствием взял из миски согнутый палец и, слегка перекатывая его на ладони, сказал:

— Знали бы вы, какая это кропотливая работа. Разве чем-нибудь отличается дактилограмма этого пальца от настоящего? Потому-то я и получил на первый взгляд странное распоряжение полиции — регистрировать все дактилограммы...

— Формой служит гипс?

— Нет, я использую вязкий кремний. Дело в том, что гипс не позволяет передать мельчайшие детали... А здесь, смотрите, даже заусенцы у основания ногтей и те ясно вырисовываются.

Я боязливо прикоснулся к нему кончиками пальцев — ощущение, точно потрогал что-то живое. И хотя я понимал, что это нечто искусственное, меня все равно охватил какой-то суеверный страх, будто я прикоснулся к смерти.

— Все-таки мне это представляется кошунством...

— И тем не менее все это — куски человеческого тела...

К. с гордым видом взял другой палец и срезом вниз поставил его вертикально на стол. Казалось, что мертвец, проткнув доску стола, высунул наружу палец.

— Попробуйте-ка сделать, чтобы он был вот таким, чуть грязноватым, это не так просто. Призываешь все свое мастерство, чтобы предельно точно воспроизвести тот или иной орган пациента, стараешься передать почти неуловимое, только ему присущее своеобразие... Это, например, средний палец,

и поэтому внутренней стороне первой фаланги придан вот такой оттенок. Разве он не напоминает следы никотина?

— Наносили кисточкой или еще чем-нибудь?

— Отнюдь нет... — К. впервые громко рассмеялся. — Краска ведь сотрется моментально. Изнутри, слой за слоем, накладываются вещества разных цветов. Например, ногти — тут поливинилацетат... Если нужно — полоска грязи под ногтями... суставы и линии морщин... вены — здесь нужна легкая синева... Вот так-то.

— Чем же они отличаются от обыкновенных ремесленных поделок? Их ведь может изготовить кто угодно?..

— Это конечно. — И, почесывая колено: — Но в сравнении с изготовлением лица все эти вещицы — лишь первые неуверенные шаги. Лицо есть лицо... Во-первых, существует такая вещь, как выражение. Верно? Морщинка или бугорок в какую-то десятую долю миллиметра, оказавшись на лице, приобретают огромное значение.

— Но подвижность-то вы ему не можете придать?

— Вы хотите слишком многого. — К., расставив ноги, повернулся ко мне. — Я отдал все силы, чтобы создать внешний облик, а вот подвижность — до этого еще не дошло. Частично это компенсируется путем выбора наименее подвижных участков лица. И еще одно — существует такая проблема, как вентиляция. Возьмем, например, ваш случай. Без детального осмотра сделать окончательное заключение трудно, но, судя по тому, что я вижу, даже сквозь бинты у вас выделяется значительное количество пота... Наверно, потовые железы не затронуты и продолжают исправно функционировать. И поскольку они функционируют, закрыть лицо чем-то таким, что затрудняет вентиляцию, нельзя. Это не только вызовет нарушения физиологического характера, но и приведет к тому, что человек начнет задыхаться и больше чем полдня вряд ли выдержит. Тут нужна большая осторожность.

Смешно, когда у старика зубы белые, как у ребенка. То же самое и здесь. Гораздо большего эффекта можно достичь исправлениями, незаметными для посторонних... Бинт вы можете снять сами?

— Могу... но, видите ли... — И, размышляя о том, как бы лучше объяснить ему, что я не тот пациент, каким ему казался: — По правде говоря, я не принял еще окончательного решения, и меня это очень мучит... И пока я не решил, стоит ли делать что-либо с рубцами на лице.

— Конечно, стоит. — К., точно подбадривая меня, стал еще настойчивее. — Шрамы — особенно на лице — нельзя рассматривать лишь как проблему косметическую. Нужно признать, что эта проблема соприкасается с областью профилактики душевных заболеваний. В противном случае разве по доброй воле кто-нибудь стал бы отдавать свои силы подобной ереси? Я же уважаю себя как врач. И никогда не удовлетворился бы ролью ремесленника, изготавливающего муляжи.

— Да, да, понимаю.

— Ну вот, видите? — Он иронически скривил губы. — А ведь не кто иной, как вы, называли мои работы ремесленными поделками.

— Нет, я говорил не в таком смысле.

— Ничего. — И нравоучительно, с видом понимающего все педагога: — Вы не единственный, кто в последнюю минуту начинает колебаться. Внутренний протест против изготовления лица — это обычное явление. Пожалуй, начиная с позднего Средневековья... да и сейчас еще люди, находящиеся на низкой ступени развития, охотно меняют свои лица... Корни этого мне, к сожалению, не известны, поскольку я не специалист... Но статистически они выявляются достаточно точно... Если взять, например, ранения, то повреждений лица по сравнению с повреждениями конечностей больше примерно

в полтора раза. А между тем восемьдесят процентов из всех, кто получил такие ранения, обращаются к врачам по поводу потери конечностей, главным образом пальцев. Ясно, что в отношении лица существует определенное табу. Примерно то же наблюдают и мои коллеги. И самое ужасное — к моей работе относятся как к работе высококвалифицированного косметолога, одержимого страстью наживы...

— Но нет ведь ничего удивительного в том, что содержание предпочитают внешней форме...

— Значит, предпочитается содержание, лишенное формы? Не верю. Я твердо убежден, что душа человека заключена в коже.

— Возможно, выражаясь фигурально...

— Почему фигурально?.. — И спокойным, но решительным тоном: — Душа человека — в коже. Я убежден в этом. Убедился на собственном опыте, приобретенном во время войны, когда я был в армии военным врачом. На войне отрывало руки и ноги, калечило лица — там это происходило изо дня в день. Но что, вы думаете, заботило раненых солдат больше всего? Не жизнь, не восстановление функций организма, нет. Прежде всего их беспокоило, сохранится их первоначальный облик или нет. Сначала я тоже смеялся над ними. Ведь все, о чем я говорю, происходило на войне, где ничто не имело цены, кроме количества звездочек в петлицах и здоровья... Но однажды произошел такой случай: какой-то солдат, у которого было сильно изувечено лицо, хотя других явных повреждений и не было, перед самой выпиской из госпиталя неожиданно покончил с собой. До этого он был в состоянии шока... И вот с тех пор я стал внимательно изучать внешний вид раненых солдат... И наконец пришел к совершенно определенному выводу. К тому печальному выводу, что серьезное ранение, особенно ранение лица, подобно переводной картинке, отпечатывается душевной травмой...

— Да, такие случаи, видимо, бывают... Но, основываясь на том, что подобных примеров можно привести сколько угодно, нельзя, мне думается, рассматривать это явление как общий закон, пока ему не будет найдено точное научное объяснение. — Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение. Не пришел же я сюда вести разговоры о том, что меня ждет. — Впрочем, я еще не разобрался как следует во всем этом... Простите, наговорил, наверно, всяких несуразностей. Совершенно бесцельно отнял у вас так много драгоценного времени, виноват...

— Подождите, подождите. — И самоуверенно, со смешком: — Может быть, вы воспримете это как принуждение, но я хочу сказать вам, и совершенно уверен, что прав... если вы все оставите так, как есть, вам придется всю жизнь прожить в бинтах. Они ведь и сейчас на вас. Это как раз и доказывает: вы сами считаете — лучше пусть бинты, чем то, что под ними. Сейчас в памяти окружающих вас людей живет ваше лицо таким, каким оно было до увечья... Но ведь время вас не будет ждать... да и память постепенно тускнеет... появляются все новые и новые люди, которые не знали вашего лица... и в конце концов вас объявят несостоятельным должником за то, что вы не платите по векселю бинтов... и хотя вы останетесь в живых, общество похоронит вас.

— Ну, это уж слишком! Что, собственно, вы хотите этим сказать?

— Людей, имеющих одинаковые увечья, если это касается повреждений рук или ног, можно встретить сколько угодно. Никого не удивит слепой или глухой... Но видели ли вы когда-нибудь человека без лица? Нет, наверное. Вы что же, думаете, все они испарились?

— Не знаю. Другие меня не интересуют!

Мой ответ прозвучал непреднамеренно грубо. Пришел в полицейский участок заявить о грабеже — а там, вместо

того чтобы помочь, пристают с поучениями и на прощание предлагают купить замок понадежней. Но и мой собеседник не сложил оружия.

— К сожалению, вы меня, по-видимому, не совсем поняли. Лицо — это в конечном счете его выражение. А выражение... как бы это лучше сказать... В общем, это своего рода уравнение, выражающее отношения с другими людьми. Это тропинка, связывающая с ними. И если тропинка преграждена обвалом, то люди, даже пробравшись кое-как по ней, скорее всего, пройдут мимо вашего дома, приняв его за необитаемую развалюху.

— Ну и прекрасно. Мне и не нужно, чтобы попусту заходили.

— Значит, вы хотите сказать, что пойдете своей собственной дорогой?

— А что, нельзя?

— Даже ребенок не может игнорировать устоявшийся взгляд, согласно которому человек узнает, что он собой представляет, только посмотрев на себя глазами другого. Вам случалось когда-нибудь видеть выражение лица идиота или шизофреника? Если перегородить тропинку и надолго оставить ее так, то в конце концов забудут, что тропинка существовала.

Чтобы не оказаться окончательно припертым к стене, я попытался наугад броситься в контратаку.

— Ну что ж, это верно. Предположим, выражение лица представляет собой именно то, что вы говорите. Но вы ведь сами себе противоречите. Почему за неимением лучшего, прикрывая какую-то часть лица, вы считаете, что восстанавливаете его выражение?

— Не беспокойтесь. Прошу вас довериться мне. Это уж по моей специальности. Во всяком случае, я убежден, что смогу дать вам нечто лучшее, чем бинты... Ну что ж, давайте снимем их? Мне бы хотелось сделать несколько фотоснимков. С их



помощью методом исключения удастся последовательно отобрать важнейшие элементы, необходимые для восстановления выражения лица. А из них — наименее подвижные, легко фиксируемые...

— Простите... — Теперь у меня в мыслях было одно — бежать отсюда. Отбросив чувство собственного достоинства, я начал упрашивать: — Уступите мне лучше вот этот палец. Пожалуйста!

К. удивленно потирал ладонью колено.

— Палец, вот этот палец?

— Если нельзя палец, я удовлетворюсь ухом или еще чем-нибудь...

— Но ведь вы пришли ко мне по поводу келоидных рубцов на лице.

— Ну что ж, прошу извинить. Нельзя так нельзя...

— Вы не поняли меня, простите... дело не в том, что я не могу продать... но, верите ли, цена непомерно высока... ведь для каждого из них приходится изготавливать отдельную форму... только расходы на материал достигают пяти-шести тысяч иен... по самым скромным подсчетам.

— Прекрасно.

— Не понимаю, что у вас на уме?

Он и не может понять... Наш разговор напоминал два рельса, проложенных без точного расчета и расходящихся в разные стороны. Я вынул бумажник и, отсчитывая деньги, без конца извинялся самым искренним образом.

Когда, крепко, будто нож, сжимая в кармане искусственный палец, я вышел на улицу, резкая граница между светом и тенью показалась мне неестественной, прочерченной рукой человека. Дети, игравшие в переулке в мяч, увидев меня, побледили и прижались к забору. У них были лица, точно их подвесили за уши прищепками для белья. Сними я бинты, у них бы поджилки затряслись. А меня так и подмывало ворваться

в этот ландшафт, точно сошедший с рекламной открытки. Но для меня, лишенного лица, было немыслимо отойти хоть на шаг от своих бинтов. Представляя себе, как бы я раскромсал этот пейзаж, размахивая искусственным пальцем, который лежал сейчас у меня в кармане, я с трудом переваривал отвратительные слова К. «похоронить себя заживо». Ничего, посмотрим. Если теперь мне удастся прикрыть лицо чем-то таким, что сделает неотличимым от настоящего, то, каким бы бутафорским ни был ландшафт, он не сможет превратить меня в отверженного...

* * *

В ту ночь... поставив искусственный палец на стол, словно свечку, я, не смыкая глаз, думал об этой «подделке», более похожей на настоящий палец, чем настоящий.

Возможно, я воображал костюмированный бал из какой-то чудесной сказки, на котором я неожиданно появлюсь. Но даже в воображении я не мог не сделать маленького примечания: «сказка». Не символично ли это? Я уже писал, что выбрал этот план, не особенно задумываясь о последствиях, точно переправлялся через узенькую речушку. И уж конечно, у меня не было никакого окончательного решения. Может быть, из-за бессознательного стремления легко относиться к маске, успокаивая себя тем, что потеря лица еще не означает потери чего-то весьма существенного? Поэтому проблему составляет в некотором роде не сама маска — самодовлеющее значение приобретает смысл вызова, который она бросает лицу, авторитету лица. Если бы, столкнувшись с разрушенным Бахом, с твоим отказом, я не был доведен до такого затравленного состояния, то, может быть, посмотрел бы на все более спокойно и даже нашел бы в себе силы подшучивать над своим лицом.

А пока черный мрак, как тушь в стакане воды, разливался в моем сердце. Лицо — тропинка между людьми, такова точка зрения К. Как мне сейчас представляется, если К. и произвел на меня неблагоприятное впечатление, то не из-за самодовольства или стремления навязать свое лечение, а из-за этой идеи. Согласиться с ним — значило признать, что, потеряв лицо, я навечно замурован в одиночной камере, и, следовательно, маска приобретает уже весьма глубокий смысл. Мой план превращался в попытку бежать из тюрьмы, попытку, где на карту было поставлено существование человека. Значит, мое нынешнее положение становится безнадежным и, следовательно, подходящим для подобного плана. По-настоящему угрожающая обстановка — это обстановка, воспринимаемая тобой как угрожающая. При всем желании трудно было согласиться с такой точкой зрения.

Я сам признаю, что не кто иной, как я, нуждаюсь в тропинке, которая связывала бы меня с людьми. И как раз поэтому продолжаю писать тебе эти строки. Но разве лицо — единственная тропинка? Не верится. Моя диссертация, посвященная реологии¹, получила поддержку среди людей, которые ни разу не видели моего лица. Конечно, устанавливать связь с людьми можно не только с помощью научных трудов. От тебя, например, я хочу совсем другого. То, что называют душой, сердцем, не имеет четких очертаний, но представляет собой куда более осязаемый символ человеческих отношений. Эти отношения значительно сложнее, чем отношения между животными, которым, для того чтобы обозначить себя, достаточно запаха, и потому наиболее приемлемый и распространенный путь установления отношений между людьми —

¹ Реология — наука о деформациях и текучести вещества. (Здесь и далее примеч. переводчика.)



выражение лица. По-видимому, так же, как денежная система обмена является шагом вперед по сравнению с натуральной. Но в конечном итоге и деньги не более чем средство, и вряд ли можно утверждать, что они всецельны при любых обстоятельствах. В одних случаях маленькая почтовая марка и телеграфный перевод, в других — драгоценные камни и благородные металлы гораздо удобнее денег.

Не предвзятое ли это мнение, объяснимое привычкой считать, что душа и сердце нечто идентичное и связь с ними может быть установлена только с помощью лица? Ведь совсем не редки случаи, когда дорога к тесному единству сердец — не бесконечное взаимное лицезрение, а четверостишие, книга, грампластинка. Если считать, что лицо совершенно необходимо, тогда в первую очередь слепые лишены возможности судить о человеке. Разве я не прав? Меня беспокоит скорее другое — не приведет ли склонность слишком бездумно опираться на привычное представление о лице к обратным результатам — к сужению, к формальному восприятию связей между людьми. Прекрасным примером может служить известное всем идиотское предубеждение против цвета кожи. Поручать несовершенному лицу, функции которого ограничены тем, чтобы можно было различить черного, белого и желтого, поручать ему великую миссию быть тропинкой к душе — это-то и означает пренебрегать душой.

Постскриптум. Прочитал написанное и увидел, что, отвергая всякую связь с лицом, я прибег к довольно откровенной уловке. Ну, к примеру, тот неопровержимый факт, что впервые я обратил на тебя внимание прежде всего благодаря твоему лицу. И теперь тоже, когда я думаю о том расстоянии, которое нас разделяет, меркой служит не что иное, как моя неспособность увидеть выражение твоего лица. Да, видимо, с самого начала мне следовало сделать попытку поменаться

с тобой местами и откровенно представить себе, что бы случилось, если бы лица лишилась ты. Недооценка лица, так же как и его переоценка, всегда несет в себе элемент искусственности. Взять хотя бы ту историю с накладными волосами моей сестры. Я привел ее, наверно, для того, чтобы объяснить свое желание не придавать слишком большого значения лицу. Но, если вдуматься, она вряд ли подходит для данного случая. Может быть, это был просто интерес и в то же время отвращение ко всему искусственному, что часто наблюдается у подростков, и история эта скорее говорит о том, что я придавал лицу слишком большое значение. А может быть, я просто ревновал сестру, которая намеревалась распахнуть створки своего лица перед кем-то чужим.

И еще одно. Как-то мне довелось в газете или журнале прочесть статью, где, как ни странно, доказывалось, что корейцы с примесью японской крови делают себе пластическую операцию, чтобы быть больше похожими на корейцев. Это уж явное стремление к реабилитации лица, а ведь о них при всем желании не скажешь, что они подвержены предрассудкам. В общем, я так и не сумел разобраться в самых простых вещах. И если представится случай, мне бы обязательно хотелось спросить корейца, какой совет дал бы он мне, лишившемуся лица.

В конце концов я... я устал от разговора с самим собой о лице, разговора, который ни на шаг не приблизил меня к решению вопроса. Но в то же время не было и особой причины отказываться от моего плана... и я весь ушел в рассмотрение технической стороны проблемы.

С технической точки зрения искусственный палец тоже представлял значительный интерес. Чем больше я присматривался к нему, тем больше поражался мастерству, с которым он был сделан. Он рассказывал об очень многом, словно обыкновенный живой палец. Судя по тому, как натянута кожа, он мог бы, пожалуй, принадлежать тридцатилетнему.

Прямой ноготь... впадины с боков... глубокие складки на суставах... четыре маленьких пореза в ряд, точно жаберные щели акулы... человек, бесспорно занимавшийся легким физическим трудом.

...В чем же тогда его уродство?... Уродство!.. Какое-то особое уродство — он ни живой, ни мертвый! Нет, видимо, не потому, что в чем-то он отличается от настоящего. А может быть, воспроизведение слишком скрупулезно (значит, и моя маска тоже)?.. Значит, именно слишком большая приверженность форме приводит к противоположному результату — к отходу от реального. Можно придавать большое значение лицу, но лишь после того, как увидишь его уродство!

Да, утверждение, что слишком похожая копия недостоверна, совершенно справедливо. Но разве мыслимо воссоздать в своей памяти палец, лишенный формы? Змея, лишенная длины, котелок, лишенный объема, треугольник, лишенный углов... нет, такое не встретишь, пока не полетишь к далеким звездам, где подобное существует. Иначе лицо без выражения не было бы чем-то необычным. И то, что мы когда-то называли лицом, уже не было бы лицом. В этом смысле и маска имеет право на существование.

Тогда, может быть, проблема состоит в подвижности? Ведь «форму», не способную двигаться, странно называть формой. Вот хотя бы этот палец — он выглядел бы значительно лучше, если обладал бы подвижностью. В подтверждение я взял палец и подвигал им. Действительно, он казался намного естественнее, чем когда стоял на столе. Об этом, значит, беспокоиться нечего. Таким образом, с самого начала я твердо решил, что маска должна быть подвижной.

Но оставалось еще нечто такое, что не удовлетворяло. В пальце было что-то отталкивающее. Я стал сравнивать его со своим пальцем, сконцентрировав все внимание, пристально всматриваясь. Да, разница есть... если это не из-за



того, что он отрезан и неподвижен, то... может быть, ощущение вещественности кожи? Возможно, нечто присущее только живой коже, что не может быть имитировано лишь цветом и формой?

Заметки на полях I. Об ощущении вещественности эпидермы.

Эпидерма человека, как я представляю, предохраняется прозрачным слоем, лишенным пигмента. Следовательно, ощущение вещественности эпидермы — это, возможно, ложный эффект, вызываемый лучами, отраженными поверхностью эпидермы, и лучами, частично проникшими внутрь и вторично отраженными слоем эпидермы, содержащим пигмент. В случае же с этой моделью пальца подобный эффект не наблюдается, поскольку слой, имитирующий пигментную окраску, выходит непосредственно наружу.

О прозрачном слое эпидермы и о ее оптических свойствах нужно будет расспросить специалистов.

Заметки на полях II. Проблемы, которые нужно изучить в первую очередь:

Проблема изнашиваемости.

Проблема упругости и эластичности.

Средство фиксации.

Способ соединения края маски с лицом.

Проблема вентиляции.

Выбор прототипа и создание модели.

* * *

Мне кажется, чем добросовестнее и обстоятельнее я веду свои записки, тем большую скуку нагоняю на тебя, и ты, видимо, уже перестала следить за рассказом. Но я все же хочу, чтобы ты, отвлекшись от моего внутреннего состояния, почувствовала хотя бы ту атмосферу, в которой родилась маска, созданная мной в совершенном одиночестве.

Прежде всего, если говорить о прозрачном слое эпидермы, то он представляет собой кератин, содержащий небольшое количество флюоресцирующих элементов. Теперь о способе соединения — если добиться, чтобы толщина краев маски была по возможности меньше глубины мельчайших морщин, и потом наложить на место соединения искусственную бороду, то выйти из положения вполне удастся. Далее проблема эластичности, которая представлялась мне наименее сложной, — она тоже была вполне разрешима, если рассматривать механизм мимики биологически.

Основой выражения лица является, безусловно, мимическая мускулатура. Она зафиксирована в определенном направлении, в котором растягивается и сокращается. Помимо этого, существует еще кожная ткань, также имеющая определенное направление волокон, и эти волокна перекрещиваются почти перпендикулярно. Из медицинской книги, взятой мной в библиотеке, я узнал, что подобное расположение волокон называется «линиями Лангера». Соединением двух этих направлений создаются характерные морщины, характерные очертания. Следовательно, если хочешь придать маске живую подвижность, нужно пучки волокон соединять в соответствии с «линиями Лангера». К счастью, некоторые виды пластмасс, если их вытягивать в определенном направлении, обнаруживают большую эластичность. Если не пожалеть времени и труда, и эту проблему можно считать разрешенной.

Я тут же решил использовать свою лабораторию и начать опыты на растяжимость эпителиальных клеток. И в данном случае мои коллеги проявили трогательную деликатность. Почти не привлекая ничьего внимания, я мог широко пользоваться необходимым мне оборудованием.

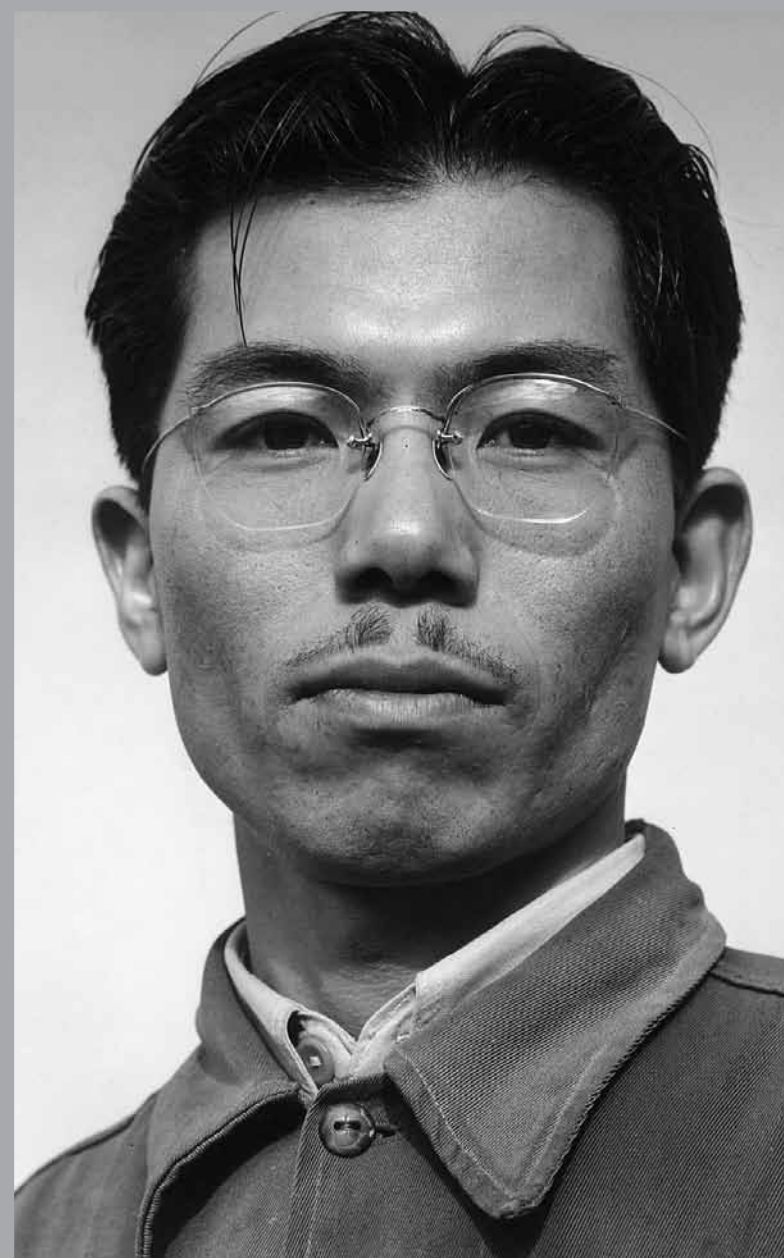
Только в отношении «выбора прототипа и создания модели» мне не хотелось ограничиваться лишь техническими средствами. Дело в том, что, если я хотел воспроизвести

мельчайшие детали кожи, я должен был волей-неволей взять чье-то чужое лицо. Только таким мог быть для меня прототип, то есть изначальный вид. Взять у другого не означало, конечно, просто нацепить на себя чужое лицо, поскольку речь шла только о поверхности кожи на глубину сальных и потовых желез и о ее видоизменении в соответствии со строением моего лица. С самого начала не должно быть ни малейших опасений, что я собирался нарушить авторское право чужого лица.

Однако в таком случае... возникал весьма серьезный вопрос... не станет ли тогда маска моим прежним лицом в совершенно не измененном виде? Любой опытный ремесленник вылепит по черепу лицо и воспроизведет внешний его вид точно таким, каким он был при жизни. Если это соответствует действительности, значит, внешний вид определяет в конечном итоге находящийся под кожей костяк, и, значит, нужно либо стесать кости, либо игнорировать анатомические основы выражения лица (но тогда нельзя называть это выражением лица) — других способов уйти от лица, с которым родился, нет.

Эти мысли привели меня в замешательство. Выходило, что с каким бы искусством ни была сделана маска, я надевал маску самого себя и ни о какой маске в полном смысле этого слова не могло быть и речи.

К счастью, я вспомнил о своем школьном товарище, который стал специалистом в области палеонтологии. В работу палеонтолога входит, как известно, восстановление первоначального облика по окаменелостям, найденным при раскопках. Полистав адресную книгу, я узнал, что он продолжает работать в университете. Я собирался ограничиться телефонным разговором, но, может быть, потому, что после окончания школы прошло так много времени, или потому, что те, кто занимается палеонтологией, проникаются человеколюбием, он



как нечто само собой разумеющееся предложил где-нибудь встретиться и не захотел продолжать разговор по телефону. В конце концов я согласился. Я не отказался из протеста против чувства стыда, которое испытывал, ни на минуту не забывая о своем забинтованном лице. Но тут же меня обожгло жестокое раскаяние. Ну что за дурацкая гордыня. Одни мои бинты и те возбуждают его любопытство, а тут еще этот забинтованный человек начинает дотошно выспрашивать об анатомии лица, технике восстановления первоначального облика, что не является его специальностью. Он, пожалуй, подумает, не жулик ли перед ним, который, надев маску, хочет спокойно разгуливать по городу среди бела дня. Если у него действительно возникнут подобные подозрения, то лучше бы с самого начала отказаться от встречи. К тому же я ненавидел улицу. В любом смущенном или даже безразличном взгляде — не коснись это меня, я бы и не почувствовал — были запряжаны ржавые, отравленные иглы. Улица изматывает меня. Однако момент, когда я мог взять свои слова назад, был упущен. Сгорая со стыда, я поплелся в условленное место. Ничего другого не оставалось.

Кафе, где мы договорились встретиться, находилось на углу хорошо знакомой мне улицы, и поэтому я безошибочно остановил такси у самых его дверей и таким образом смог добраться туда, не привлекая ничьего внимания. Зато товарищ мой так смутился, что теперь уж мне захотелось ему посочувствовать. И может быть, потому, что я увидел его смущение, ко мне вернулось злое хладнокровие. Нет, хладнокровие не то слово. Мне хочется, чтобы ты представила себе — это совсем не трудно, — как я был жалок, точно бездомная собака, как чувствовал, что само мое существование вызывает отвращение окружающих. Я испытывал отчаянное одиночество, какое можно увидеть в глазах старой подыхающей собаки, безысходность, которая слышится в разносимом рельсами

звоне, когда глубокой ночью ремонтируют пути. Я весь был скован, понимая, что, какое бы выражение ни пытался я придать своему лицу, спрятанному под бинтами и темными очками, оно не дойдет до моего собеседника.

— Что, испугался? — И, почувствовав его душевное состояние, уже другим, успокаивающим, как ночной ветерок, голосом: — Опрокинул на себя баллон с жидким кислородом. Видимо, я имею предрасположение к образованию келоидных рубцов... Да, в общем, паршиво... Все лицо изрыто, точно пиявками. Бинты тоже не выход, но лучше, чем выставлять его на всеобщее обозрение...

Мой собеседник что-то пролепетал с растерянным видом, но я ничего не расслышал. Его предложение, встретившись, завернуть куда-нибудь выпить вина, несколько раз повторенное бодрим голосом каких-то полчаса назад, сейчас, казалось, рыбьей костью застряло у него в горле. Но раздражать его не входило в мои планы, и поэтому я быстро переменял тему разговора и перешел к делу. Товарищ мой, конечно, тут же прыгнул в эту спасательную лодку. Объяснения его сводились в основном к следующему. Было бы большим преувеличением сказать, что палеонтолог в состоянии до мельчайших подробностей воссоздать первоначальный облик. Общее расположение мышц — вот что он может достаточно точно представлять себе, исходя из анатомического строения скелета. Поэтому, например, если попытаться по скелету реконструировать хотя бы только строение такого животного, как кит, имеющего особенно развитые подкожные образования и жировой слой, получится невообразимое, ни на что не похожее животное, некая помесь собаки с тюленем.

— Значит, можно представить себе, что и при восстановлении лица неизбежны существенные ошибки?

— Если бы безошибочное восстановление первоначального облика было возможным, загадки многих окаменелостей

перестали бы существовать. Лицо человека, хотя до кита ему и далеко, вещь достаточно деликатная. Здесь невозможна подделка, как, например, в фотомонтаже. Ведь если бы нельзя было полностью отойти от строения черепа, то прежде всего не были бы возможны пластические операции косметического характера...

Тут он скользнул взглядом по моим бинтам, как-то неловко запнулся и прикусил язык. Можно было не спрашивать, что мешает ему продолжать. Пусть думает что хочет. Не интересовало меня это потому, что он, не пряча неловкости и даже не пытаясь как-то оправдаться, сидел насупившийся, красный.

Постскриптум. В чем истинная сущность чувства стыда? Здесь, может быть, стоит еще раз вспомнить тот случай с сожженным париком. Сейчас все было как раз наоборот: теперь я ношу «парик» и сам же заставляю собеседника краснеть. Но стоит ли принимать это так близко к сердцу? А вдруг как раз тут и спрятан удивительный ключ для разрешения загадки лица?

Какой он, однако, неловкий. Я нарочно выбрал совершенно безобидную, нейтральную тему и ничем уже не мог помочь, когда он сам забрел куда не следует и покраснел. Поскольку я в основном выведal все самое необходимое для моего плана, то не моя забота, какой осадок останется у него от нашей встречи. Но то, что вызывает чувство стыда, часто становится источником сплетни. А я терпеть не могу, когда рассказывают о чем-нибудь с таким видом, будто сообщают о подсмотренном через замочную скважину. Кроме того, скованность моего собеседника постепенно стала заражать и меня. И в конце концов с отвратительным чувством я стал ни с того ни с сего оправдываться, а этого уж совсем не следовало делать.

— О чем ты думаешь сейчас, я, в общем, представляю себе. Ведь если попытаться найти связь между вот этими бинтами

и моими вопросами, то можно прекрасно все сообразить. Но предупреждаю, ты глубоко ошибаешься. Я уже не в том возрасте, когда страдают из-за искаченного лица...

— Сам ты ошибаешься. Нечего приписывать мне мысли, которых у меня нет.

— Если ошибаюсь — прекрасно. Но, видимо, ты произвольно судишь о людях по лицу. Правда? Совершенно естественно, что ты принял мои дела так близко к сердцу. Но если вдуматься, удостоверения личности далеко не достаточно, чтобы удостоверять человека. После того, что произошло со мной, мне пришлось многое передумать. Не слишком ли мы привержены этим удостоверениям личности? Потому-то и появляются все время калеки, занимающиеся фальсификациями и подделками, чтобы скрыть свое уродство.

— Согласен, полностью... Фальсификации и подделки ни к чему, совершенно... Среди слишком размалеванных женщин много, говорят, истеричек...

— Но с другой стороны, разве можно представить себе лицо человека гладким, как яйцо — без глаз, без носа, без рта?..

— Да, тогда никого нельзя будет отличить.

— Вора от полицейского... Преступника от пострадавшего...

— Да, и свою жену от жены ближнего своего... — Точно ища спасения, он закурил и тихо засмеялся. — Это было бы здорово. Здорово, но возникают кое-какие вопросы. Вот, кстати, станет жизнь от этого более удобной или, наоборот, неудобной?..

Я засмеялся вместе с ним и решил, что на этом разговор нужно кончать. Но меня вдруг захватил круговорот, в центре которого было лицо, и тут уж тормоза оказались бессильны. Пока центробежная сила не вырвала из моих рук веревку, я, прекрасно сознавая опасность, продолжал стремительно мчаться вперед. И ничего не мог поделать с собой.

— Ни то ни другое. На такой вопрос однозначный ответ немислим даже логически. Коль скоро противоречия отпадут, станет невозможным и сравнение.

— Если отпадут противоречия, это будет означать деградацию.

— А что, тебе они очень необходимы? Разве можно утверждать, что, например, различия в цвете кожи принесли истории какую-либо пользу? Я абсолютно не признаю значения такого рода противоречий.

— О-о, ты, я вижу, начал обсуждать национальный вопрос. Но толкуешь его слишком широко.

— Если бы это было возможно, я расширил бы его еще больше. До каждого отдельного лица, существующего в этом мире... Только с такой вот физиономией чем больше говоришь, тем больше это похоже на монотонную песню преступника, доказывающего свою невиновность.

— Если ты разрешишь коснуться только национального вопроса... Может, это зря — всю ответственность возлагать лишь на лицо...

— А я хочу вот что спросить. Почему, когда мы начинаем фантазировать о жителях других миров, то прежде всего пытаемся представить себе их внешний вид?

— Этот разговор нас далеко заведет... — И, сминая в пепельнице сигарету, которой затянулся всего раза три: — Чтобы закончить его, объясним это хотя бы любопытством.

Я до боли остро ощутил неожиданно изменившийся тон собеседника, и мое фальшивое лицо покатилося с того места, где оно должно было быть, как падает тарелка, которую жонглер перестает вращать.

— Постой, посмотри на ту картину. — Я снова ничему не научился. И, указывая пальцем на довольно приятную репродукцию портрета эпохи Возрождения: — Что ты о ней скажешь?

— Ты, вижу, готов укусить меня, если я отвечу необдуманно. В общем, довольно глупое лицо.

— Да, верно, пожалуй. А нимб над головой? В этом ведь тоже есть определенная идея. Идея лжи и обмана. Благодаря этой идее лицо погрязло во лжи...

На лице моего собеседника появилась легкая улыбка. Тонкая, все понимающая улыбка, лишенная уже и тени смущения.

— Ну что я за человек. Какие бы высокие слова ты ни употреблял, пока я сам не пойму что к чему, ничего не в состоянии почувствовать. Может быть, мы просто не находим общего языка? Я занимаюсь ископаемыми, но, когда речь идет об искусстве, тут я модернист.

* * *

Сетовать бессмысленно. Лучше побыстрее осознать то, что я услышал от товарища. Ждать более значительных результатов означало только обольщать себя. Ведь помимо всего прочего я получил нужную информацию, а преодолеть унижение, собственно, тоже было моей целью, входило в задуманный план.

Но я до глубины души возненавидел палеонтологию, лишь когда понял: то, что я считал добычей и приволок домой, на самом деле несъедобная приманка. Нет, она была похожа на настоящую пищу, но, к сожалению, никто не знал способа ее приготовления — раздражили, а есть невозможно.

Признание закономерности множества нюансов при восстановлении облика по одному и тому же скелету было еще одним шагом на пути к возможности создания маски. Значит, независимо от основы можно выбирать любое лицо по своему усмотрению? Выбирать по своему вкусу приятно, но ведь выбирать-то все равно нужно. Необходимо просеять сквозь сито бесчисленные возможности и решить, каким,

тем единственным, будет твое лицо. Какую избрать единицу измерения, взвешивая на весах лица?

Я не собирался придавать лицу особое, исключительное значение, и поэтому, по мне, какое ни лицо — все равно... Но когда лицо делают специально, никто не захочет, чтобы оно было отечным, как у сердечника. И уж конечно, не нужен в качестве модели киноактер.

Идеальное лицо — желать его бессмысленно. Да такого, в общем, и не существует. Но поскольку я должен был сделать выбор, необходим был какой-то эталон. Имей я даже самый неподходящий эталон, который, возможно, поставил бы меня в затруднительное положение, все равно это было бы уже что-то... Ни субъективно, ни объективно представить себе подобный эталон невозможно... Но в конце концов примерно через полгода блужданий я наконец нашел решение.

Заметки на полях. Было бы неверно сводить все к отсутствию эталона. Скорее следовало принять в расчет мое внутреннее стремление отказаться от всякого эталона вообще. Выбрать эталон неизбежно означает отдать себя на волю другого. Но человек имеет в то же время и противоположное желание — быть отличным от других. Две эти проблемы должны находиться в следующих отношениях:

$$\frac{A}{B} = f\left(\frac{1}{n}\right),$$

где A — показатель чужой воли, B — показатель сопротивления чужой воле, n — возраст, f — степень приспособляемости. (Ее снижение означает, что человек самоутверждается и одновременно растет его склонность к консерватизму. Она, как правило, обратно пропорциональна возрасту, но отмечаются значительные индивидуальные отклонения, кривая которых строится в зависимости от пола, характера, профессии и т. д.)



Даже исходя из возраста степень моей приспособляемости значительно снизилась, и я уже испытывал сильное сопротивление самой идее перемены лица. Нужно сказать, что к данному случаю вполне подходила точка зрения того самого палеонтолога, считавшего, что слишком накрашенные женщины — истерички. Поскольку, согласно психоанализу, истерия представляет собой один из видов впадения в детство.

Все это время я, конечно, не сидел сложа руки. Эксперименты над материалом для гладкого эпителия... стоило погрузиться в них, и они стали прекрасным предлогом, чтобы отдалить мою очную ставку с проблемой. В общем, копились и копились горы технической работы.

Гладкий эпителий потребовал значительно больше времени, чем я предполагал. Он и в количественном отношении занимает значительное место в коже, а кроме того, определяет успех или неудачу в достижении ощущения вещественности подвижной кожи.

Воспользовавшись деликатностью коллег по лаборатории, я по собственному усмотрению стал использовать оборудование и материалы, и все же эксперименты потребовали добрых три месяца. В то время меня не особенно беспокоило несколько комическое противоречие: я осуществлял план создания маски, не решив, каким будет лицо. Но нельзя до бесконечности укрываться от дождя под чужим навесом. Когда этот период окончится и работа начнет продвигаться вперед, я окажусь в тупике.

Для кератинового слоя эпидермы прекрасно подойдут акриловые смолы — это я обнаружил сразу же. Что касается внутренних слоев кожи, то, видимо, для них вполне можно использовать тот же материал, что и для эпителия, предварительно вспенив его. Жировой слой, безусловно, будет отвечать своим требованиям, если в тот же материал добавить раствор кремния и, заключив в оболочку, сделать его воздухо-

непроницаемым. Наконец, ко второй неделе нового года вся необходимая подготовка материала была завершена.

Дольше медлить было нельзя. Если не решишь, каким должно быть лицо, ни на шаг не продвинешься вперед. Но сколько я ни размышлял, в голове у меня беспорядочно, как в запаснике музея, громоздилось множество самых разных лиц. Однако проблему разрешить невозможно, если пятиться от нее назад. Другого способа, кроме как настойчиво перебирать лицо за лицом, не было, и я достал каталог музейных фондов. На первой же странице было помещено неожиданное любезное заглавие: «Правила систематизации», и я, сдерживая волнение, прочел:

1. Критерии оценки лица предельно объективны. Ни в коем случае не следует допускать такой ошибки: поддавшись личному впечатлению, приобрести подделку.

2. Лицо не имеет критериев оценки. Оно может лишь доставлять удовольствие или неудовольствие. Критерии отбора должны вырабатываться путем совершенствования вкуса.

Как я и ожидал, утверждают, что черное одновременно является и белым. Чем такой совет лучше никакого? Причем, когда я сравнивал два эти правила, казалось, что каждое из них одинаково справедливо, и поэтому положение запуталось еще больше. В конце концов мне стало не по себе от мысли, сколько существует на свете самых разных лиц. До сих пор не перестаю ломать голову, почему я не отказался раз и навсегда от своего плана?

* * *

Снова о портретной живописи. Палеонтолог, может быть, наградит меня кислой улыбкой, но я не могу не коснуться этого. В идее портрета, мне кажется — я оставляю в стороне его художественную сторону, — существует философия, над которой стоит задуматься.

Например, чтобы портрет воспроизводил универсальный образ, нужно исходить из универсальности выражения лица людей. Значит, необходимо, чтобы большинство людей были убеждены в том, что за одинаковым выражением обязательно должен проглядывать одинаковый образ. Подобное убеждение поддерживается, несомненно, опытом, уверенностью, что лицо и душа находятся в совершенно определенной взаимосвязи. Нет, конечно, никакой гарантии, что опыт всегда истина. Но вместе с тем невозможно и утверждать, что опыт — это обычно сгусток заблуждений. И не уместнее ли считать, что чем сильнее опыт захватан грязными руками, тем больший процент истины он, как правило, содержит. В этом смысле, в общем, представляется неоспоримым утверждение, что существует объективный критерий ценности.

С другой стороны, нельзя также игнорировать и тот факт, что все та же портретная живопись с веками меняла свой характер: перемещала точку зрения от классической гармонии лица и души к индивидуальному выражению, скорее лишенной этой гармонии, и дошла до окончательного разрушения в восьмиугольных лицах Пикассо или «Фальшивом лице» Клее.

Но во что же тогда верить? Если бы меня спросили, каково мое личное желание, я бы, разумеется, остановился на последней точке зрения. Я думаю, было бы слишком наивно вырабатывать для лица какие-то объективные критерии — это ведь не выставка собак. Даже я в детстве ассоциировал идеальную личность, какой бы я хотел стать, с определенным лицом.

Заметка на полях. Высокая сопротивляемость благодаря высокой степени приспособляемости.

Естественно, романтический, неординарный облик фокусировался в моем воображении сквозь затертую линзу... Но я не должен был вечно пребывать в блаженном сне. Наличные деньги дороже любого векселя. Не оставалось ничего иного,



как платить только за то, что я мог оплатить тем лицом, которым обладал на самом деле. Может быть, мужчины избегают косметики, противясь стремлению не быть ответственными за свое лицо. (Конечно, женщина... женская косметика... если вдуматься, не потому ли они прибегают к ней, что наличные деньги у них на исходе?..)

* * *

Итак, я не приходил ни к какому решению... испытывая что-то вроде недомогания, точно перед простудой... но все мои трудности были связаны только с моим будущим внешним обликом, и поэтому я продолжал биться в одиночку над техническими проблемами, касающимися других сторон изготовления маски.

После выбора материала нужно было подумать о формовке внутренней стороны маски. Хотя я и говорил, что мне предоставили все возможности, я не хотел заниматься этим на работе и решил перевезти все необходимое оборудование домой и установить его в кабинете. (А ты, кажется, подумала, что рвение, с каким я работаю, — это компенсация за раны на лице, и, прослезившись, пыталась помочь мне. Разумеется, это была компенсация, но рвение было не то, о котором ты думала. Я закрыл дверь кабинета, дошел до того, что запер ее на замок, отвергая даже твою доброту, когда ты пыталась принести мне ужин.)

Работа, в которую я ушел с головой за закрытой дверью, заключалась вот в чем.

Прежде всего я приготовил таз такого размера, чтобы в него входило целиком все лицо, налил в него раствор альгинатного калия, гипса, фосфата натрия и кремния и, ослабив мимическую мускулатуру, медленно погрузил туда лицо. Раствор застывает в течение трех-пяти минут. Столько времени



не дышать я не мог и поэтому взял в рот тонкую резиновую трубку, а конец ее вывел за край таза. Представь, что тебе нужно в течение нескольких минут неподвижно, с застывшим выражением лица сидеть перед фотоаппаратом. Это невероятно трудно. После множества неудач — то чесался нос, то дергался глаз — на четвертый день я наконец добился удовлетворительного результата.

Теперь на очереди было покрытие полученной формы никелем в вакууме. Сделать это дома было невозможно; я тайком принес форму в лабораторию и, прячась от посторонних глаз, проделал всю необходимую работу.

Наконец остались последние доделки. В ту ночь, убедившись, что ты пошла спать, я поставил на переносную газовую плитку железную кастрюлю со свинцом и сурьмой. Расплавленная сурьма приняла цвет какао, в которое плеснули слишком много молока. Когда я стал осторожно вливать раствор в форму из альгинокислого калия, покрытую слоем никеля, вверх медленно поплыли струйки белого пара. Из отверстия, оставленного резиновой трубкой, через которую я дышал, а потом и отовсюду, вдоль края формы, обильно пошел голубоватый, прозрачный дымок. Видимо, сгорала альгиновая кислота. Запах был отвратительный, и я открыл окно. Морозный январский ветер, будто ногтями, зацарапал ноздри. Перевернув форму, я высвободил затвердевший слепок из сурьмы и остудил еще дымившуюся форму, погрузив ее в таз с водой. Со стола на мое кроваво-красное обиталище пиявок смотрели скопища пиявок, тускло поблескивающие серебром.

Но все же никак не верилось, что это мое лицо. Другое... Совсем другое... Я не мог представить себе, что это те самые пиявки, которые благодаря зеркалу до отвращения мне знакомы... Конечно, между слепком лица из сурьмы и моим отражением в зеркале, возможно из-за того, что в них левая и правая

стороны поменялись местами, чувствовалась определенная разница. Однако такую же разницу можно сколько угодно наблюдать с помощью фотографии, и это не так уж важно.

Потом, как ты понимаешь, возникла проблема цвета. Из книги французского врача Анри Блана «Лицо», которую я нашел в библиотеке, следовало, что между цветом лица и его выражением существует связь, значительно более тесная, чем это можно предположить. Например, гипсовая посмертная маска только путем придания ей того или иного цвета может быть превращена и в маску мужчины, и в маску женщины. Это можно видеть и на таком примере: стоит сделать черно-белую фотографию мужчины, переодетого женщиной, и маскарад сразу же будет разгадан. Значит, все дело действительно в цвете. Чуть заметные утолщения на слепке из сурьмы — если не падает свет, их и не обнаружить... Совсем незначительные неровности — они не стоят, пожалуй, всех этих волнений с маской... На какое-то мгновение я даже подумал, не шарахаюсь ли я от призрака, не сражаюсь ли с врагом, созданным моим воображением. Но может быть, если даже эти сплетения металлических пиявок окрасить в кроваво-красный цвет мяса, то они моментально обнаружат свое уродство. Возможно, и так. Как жаль, что человек сделан не из металла.

Но коль скоро цвет так важен, при окончательной обработке маски нужно с особым вниманием отнестись к окрашиванию. Точно слепой, радующийся любому ощущению, я, нежно поглаживая хранящий еще остатки тепла слепок из сурьмы, остро ощутил, как тернист путь к изготовлению маски, когда завершение одной работы сразу же оборачивается началом новых трудностей. Действительно, я замыслил бросить дерзкий вызов. Исходя даже из объема проделанной работы и затраченного времени я должен бы уйти очень далеко, но следовало помнить, что до сих пор я еще не брался

за главное — выбор прототипа. К этому прибавилась новая трудность — цвет. Такие-то дела... Наступит ли мгновение, когда я смогу осуществить свою мечту — начать новую жизнь в образе другого человека?..

Были, конечно, не только огорчения. Мысленно блуждая между складками металлических пиявок, я думал о том, как нелепа роль, которую играет лицо: из-за утолщений в какие-то несколько миллиметров человек должен терпеть преследования, словно бездомная шелудивая собака, и вдруг, точно с глаз спала пелена, я обнаружил уязвимое место у самого главного своего врага.

Эти металлические пиявки сами по себе могут существовать только в виде негатива для создания внутренней стороны маски. Другими словами — отрицательное существование, которое должно быть прикрыто и уничтожено с помощью маски. Но только ли это? Да, отрицательное существование, это несомненно. Но если не сделать его основой, не может существовать и маска, которая должна его уничтожить. Итак, металлическая основа — это цель, которую маска должна уничтожить, и в то же время — отправная точка для создания маски.

Представим себе проблему несколько конкретнее. Например, если говорить о глазах — их остается только использовать, не изменяя ни расположение, ни форму, ни величину. Но предположим, я осмелился и занялся ими, тогда должен ли я, определив в качестве границы расположение глаз, сделать выпуклым только лежащий над ней лоб или, наоборот, сделать выступающей только лежащую под ней часть лица, а если ни то, ни другое — может быть, сделать выпученные глаза и сильно выдающееся вперед лицо? Возможны только эти варианты. То же можно сказать, когда дело идет о носе или рте. Тогда выбор типа лица уже не покажется таким неопределенным. Ограничение? Может быть, и ограничение.

Но, по мне, это гораздо лучше, чем дешевая, эфемерная свобода. Во всяком случае, оно указывало мне цель, которую я должен достичь. И даже если я пойду круглым путем заблуждений и ошибок, сначала лучше всего попытаться по-настоящему смоделировать лицо и, подгоняя его к оригиналу, изучить, какой тип представляется возможным. Этот путь был для меня самым подходящим. (Не ученый, а всего только ремесленник — так отзываются обо мне коллеги, и, может быть, они отчасти правы.)

Прикладывая палец к разным частям металлической основы, прикрывая ее обеими руками, затеняя ее, я незаметно для себя предавался мечтам. Какая все-таки это тонкая штука... Достаточно тронуть пальцем — и вот уже другой человек, и даже не похожий на родного или двоюродного брата... Приложишь ладонь — совсем другой, незнакомый... С тех пор как я занялся изготовлением маски, пожалуй, впервые у меня было такое бодрое, рабочее настроение.

* * *

...Да, можно смело сказать: то, чего я достиг в ту ночь, было очень важной вершиной всей моей работы. Гора не была такой уж крутой, не была и величественно-высокой, но зато, кажется мне, представляла собой важную точку рельефа, определявшую направление вод, вытекающих из источника, и, в общем, достаточно выдающуюся, чтобы указать путь потоку. И это потому, что с того момента между проблемой критерия выбора лица и проблемой технического воплощения плана в жизнь, которые до сих пор шли как две параллельные линии, действительно пролегло нечто подобное чуть намеченному каналу. Слепок из сурьмы, хотя и не давал никаких перспектив в смысле метода изготовления маски, ободрил меня, вселил уверенность в том, что благодаря

конкретной работе изо дня в день мои возможности будут все больше расширяться.

Я решил на следующее же утро купить глины и начать практиковаться в моделировании лица. Ясной цели у меня не было, и я шел к ней на ощупь. Сверяясь с анатомическим атласом мимической мускулатуры, я накладывал один на другой тонкие слои глины. Работа трагическая, напряженная, будто участвуешь во внутреннем процессе рождения человека, будто критерий выбора, который в общем-то и не ухватишь, начинает затвердевать, точно остывающий желатин, — с таким чувством я постепенно придавал форму податливому материалу. Есть гениальные детективы, которые находят преступника, сидя в кресле, а есть заурядные сыщики, которые, не жалея ног, гоняются за уликами. Я тоже больше всего люблю действовать, работать руками.

Как раз в это время я снова стал испытывать интерес к книге Анри Блана «Лицо», о которой уже упоминал. Когда она впервые попала мне на глаза, я принял содержащийся в ней анализ за скрупулезную классификацию, которую так любят ученые, и даже подумал с раздражением — ну что могут дать все эти рассуждения мне, человеку, занятому конкретным делом. Но когда я буквально на ощупь подошел к проблеме создания лица, то обнаружил наконец, что в Блановой теории форм содержится нечто большее, чем то, что можно обнаружить в обыкновенном справочнике. Такое случается, когда смотришь карту знакомой местности и карту чужой страны.

В общих чертах классификация Блана выглядит следующим образом. Сначала рисуется большая окружность, центром которой служит нос, а радиусом — расстояние от кончика носа до конца подбородка. Затем рисуется малая окружность, радиус которой — расстояние между носом и губами. В зависимости от соотношения этих окружностей лица подразделяются на два типа: с центром, смещенным



вниз, и с центром, смещенным вверх. А они, в свою очередь, распадаются на худые и полные. Таким образом, всего существует четыре типа лица:

1. Центр смещен вниз, худое — на лбу, щеках, подбородке мощные мускулистые выпуклости.

2. Центр смещен вниз, полное — на лбу, щеках, подбородке мягкие жировые отложения.

3. Центр смещен вверх, худое — заостренное к носу лицо.

4. Центр смещен вверх, полное — лицо, мягко выдающееся вперед у носа.

Все типы лица ими, разумеется, не исчерпываются. Эти четыре ствола бесконечно разветвляются в зависимости от сочетания ряда взаимоисключающих важных элементов, подчеркивания определенных частей, затушевывания деталей. Но мне не было нужды вдаваться в тонкости. И поскольку я накладывал слой за слоем, начиная с нижнего, можно было не принимать всего этого в расчет. Главное — не забыть основного, а дальше пусть идет как идет.

Если рассмотреть приведенные выше четыре основных типа в свете психоморфологии, то получим следующее. Первые два — это тип людей интровертных, сосредоточенных на своем внутреннем мире, а два последних — экстравертных, сосредоточенных на том, что происходит вокруг них. Типы под нечетными номерами враждебны или, во всяком случае, сопротивляются внешнему миру. Типы же под четными номерами, наоборот, имеют тенденцию примириться с ним или даже находиться в согласии. Путем сочетания двух этих видов классификации можно установить специфические особенности каждого типа.

Если же прибавить к методу классификации идею того же Блана о коэффициенте мимики, то проблема приобретет еще большую стройность. Коэффициент мимики — это количественное определение влияния, оказываемого на выражение

лица каждой из расположенных по степени подвижности девятнадцати точек, выбранных из более чем тридцати мимических мускулов. Весьма интересен и метод, каким проводился подсчет. Последовательно сфотографировав примерно 12 000 случаев выражения радости и печали и методом проецирования разделив их на горизонтали, как топографическую карту, Блан определил среднюю величину подвижности каждой точки. Выводы, к которым он пришел, в общих чертах следующие. Плотность коэффициента мимики особенно высока в треугольнике, ограниченном кончиком носа и углами губ. Затем она постепенно уменьшается в такой последовательности: участок между ртом и скулами, участки под глазами и, наконец, у переносицы. Самым низким коэффициентом обладает лоб. Таким образом, мимическая функция концентрируется в нижней части лица, в первую очередь вокруг губ.

Все это объясняется распределением коэффициента мимики в зависимости от места. Но на него влияет, вносит свои коррективы также и характер подкожного слоя. Коэффициент снижается пропорционально его толщине. Вместе с тем нельзя, видимо, отождествлять незначительность коэффициента с отсутствием мимики. Даже при высокой плотности коэффициента может быть сколько угодно случаев отсутствия мимики, а при незначительном коэффициенте наблюдается богатство мимики. Следовательно, может быть отсутствие мимики и при высоком, и при низком коэффициенте.

Постскриптум. Может быть, попробуем применить метод классификации Блана к нашим лицам? Сначала — к твоему. Если говорить, каково оно, то его следует, видимо, причислить к лицам с центром, смещенным вверх. Подкожная ткань имеет жировые отложения. Следовательно, оно приближается к четвертому типу: к носу лицо выдается слегка вперед. С точки зрения психоморфологии ты относишься к людям экстравертным, сосредоточенным на том, что происходит вокруг них, и

находишься в согласии с окружающим. Коэффициент мимики сравнительно низок, и выражение твоего лица стабильно и мало подвержено колебаниям.

Ну как? Надеюсь, попал в самую точку, а? Ты, кажется, сама рассказывала, что в школе тебя прозвали Бодисатвой. Когда я первый раз услышал это, то рассмеялся. Что же все-таки меня рассмешило? Если вдуматься, я, видимо, совершенно неверно представлял себе и Бодисатву, и тебя. Внешне, конечно, ты ни капельки не была на него похожа. Да если бы и захотела, не смогла бы стать такой же холодной и неприступной. Я бы сказал, что у тебя скорее темпераментное, чувственное лицо. Если же посмотреть на тебя изнутри, то, согласно классификации Блана, в тебе действительно есть черты Бодисатвы. Сосредоточенность на том, что происходит вокруг, согласие с внешним миром — все равно, что быть живой резиновой стеной толщиной в метр. Беспредельно мягкая — она никогда не причинит боли. Чуть улыбающееся, с полузакрытыми глазами лицо, как у статуи Будды, — человек с таким лицом побеждает голыми руками. Издали это такая привлекательная, располагающая улыбка. Но по мере приближения она начинает расплываться в туман, заволакивающий глаза. Я от души хочу выразить свое восхищение человеком, который придумал тебе прозвище Бодисатва.

...Тебе это кажется ехидством? Может быть, если кое-где и оказались колючки, виноват в этом только я, ты здесь совершенно ни при чем. Наверно, я отношусь к людям, болезненно воспринимающим доброту других.

Теперь мое лицо... да ладно... стоит ли говорить о лице, которое потеряно. Если бы мне представился случай, я бы предпочел послушать, как по теории Блана рассматривать лица людей племени саракаба, которые так видоизменяют свои лица, что их невозможно подвести ни под один пункт классификации.

Как я и ожидал, руки привели меня к первым проблескам успеха, чего никак не могла добиться моя голова. В результате

десятидневных предварительных опытов с каждым из четырех типов лица два из них я признал непригодными.

Сначала отпал четвертый тип. «Лицо, мягко выдающееся вперед уноса». Этот тип лица имеет жировые отложения вокруг участков с высоким коэффициентом мимики и поэтому обладает большей стабильностью. Оно трудно приспособляемо — будучи однажды сделано, требует точного следования своей форме. И я столкнулся бы со слишком серьезными трудностями, если бы мне пришлось с самого начала совершенно точно запланировать всю работу до конца. Потому-то я, хоть и с некоторым сожалением, все же решил отказаться от этого типа лица.

Постскриптум к постскрипту. Тебе, может быть, показалось, что в предыдущем постскрипту я хотел еще что-то сказать. Но клянусь, никаких задних мыслей у меня не было. Ведь между моими основными записками и постскриптом — разрыв почти в три месяца...

Теперь первый тип лица с центром, смещенным вниз, при наличии «мощных мускульных выпуклостей на лбу, щеках и подбородке». С точки зрения психоморфологии такое лицо принадлежит человеку интровертному, сосредоточенному на своем внутреннем мире, противоречиво, страдает недостатком стабильности. Даже при самом пристрастном отношении нельзя было бы сказать, что это лицо ростовщика, ни разу не потерпевшего убытка. Но уж никак не маска обольстителя. Исходя лишь из внешнего впечатления, я без сожаления отбросил и этот тип.

Осталось еще два...

«На лбу, щеках и подбородке мягкие жировые отложения»... С точки зрения психоморфологии это лица людей интровертных, сосредоточенных на своем внутреннем мире, гармоничных или отличающихся интроспективностью при большом самообладании.

Лицо, «заостренное к носу»... С точки зрения психоморфологии — лица людей экстравертных, сосредоточенных на окружающем, негармоничных или волевых, склонных к действию.

Мне казалось, что передо мной развернулась вполне ясная картина. Выбирать из четырех или из двух — большая разница. Четыре — не просто два и два, в них содержится шесть комбинаций. Таким образом, я смог свести свою работу к одной шестой. Да к тому же два оставшихся типа представляли собой прямую противоположность друг другу: по ошибке принять один за другой было совершенно невозможно. Только путем экспериментального моделирования, что я и делаю, удастся узнать, какое лицо мне нужно.

На некоторое время я весь ушел в сравнительное изучение этих двух типов лица. Но так как у меня был лишь один слепок, служивший основой, я испытывал большое неудобство, когда каждый раз приходилось ломать одно и делать другое. Подумав, я купил поляроидную фотокамеру. Достаточно нажать на спуск, и в руках у тебя уже готовая проявленная фотография. Удобство состояло в том, что тут же, не теряя времени, можно было не только сравнивать фотографии, но и фиксировать шаг за шагом весь процесс создания маски.

Да, в те дни мое сердце пело, как цикада, почувствовавшая, что у нее выросли крылья.

И мне даже в голову не приходило, что в любую минуту моя работа может пойти в тупик...

* * *

Однажды небо клубилось в южном ветре, невыключенное отопление дышало непереносимым жаром. Взглянул на календарь — уже вторая половина февраля. Я даже растерялся.

Хотел ведь закончить все, пока стоят холода. Что касается передачи ощущения вещественности и подвижности моей маски, я уже мог действовать почти наверняка, а вот как быть с вентиляцией, я еще не знал. В общем, время года, когда истекаешь потом, ничего хорошего не предвещало. И закреплять маску в этих условиях трудно, возникнет, как я предполагал, целый ряд препятствий физиологического характера. Но я должен был еще сделать крюк в три месяца, прежде чем подошел к тому, с чего начал эти записки, — прежде чем нашел убежище в этом доме.

Почему все же я должен был пойти таким круглым путем? На первый взгляд работа шла вполне успешно. Я так напрактиковался, что мог мысленно представлять себе каждый из двух типов лиц, мог даже, увидев лицо, принадлежащее к тому или иному типу, тут же разложить его в своем воображении на основные элементы и начать вносить в них поправки. Что ж, материал был у меня в руках, и я мог выбрать то, что мне понравится. Но не выберешь ведь одно из двух, если не располагаешь определенным критерием. Нечего и пытаться выбрать красное или белое, если не знаешь, о чем идет речь — о цвете билета или цвете флага. Ох уж эти мне критерии, исчезающие во мгле! Неужели есть загадка, которую не разрешить простым хождением из угла в угол? Теперь критерий приобрел, конечно, совсем не тот смысл, что прежде. Но чем яснее становилось мое представление об объекте, тем больше я раздражался. В гармоничном типе есть прелесть гармонии, в негармоничном типе тоже есть своя прелесть. Решать вопрос с точки зрения ценности того или иного типа, здесь совершенно невозможно. И чем больше я узнавал, тем больший интерес начинал испытывать к обоим этим типам. Оказавшись в безвыходном положении, отчаявшись, я много раз думал: не бросить ли мне кости? Но поскольку в лице заключен определенный метафизический смысл, решить вопрос так

безответственно я не мог. Исходя из результатов даже тех исследований, которые я до сих пор провел, нельзя не признать, как это ни прискорбно, что внешний вид в той или иной мере связан с психологией и индивидуальными чертами.

Но стоило мне вспомнить изъеденные пиявками, исчербленные остатки своего лица, как я отметал всякую его значимость, и кончалось это тем, что меня била дрожь, как продрогшую до костей собаку. Да что же это такое — психология, индивидуальные черты? Разве, когда я работал в институте, такие вещи имели какое-нибудь значение? Какие бы ни были у человека индивидуальные черты, один плюс один всегда два. Есть совершенно особые случаи, когда мерилom человека является лицо, — например, актер, дипломат, работник отеля или ресторана, личный секретарь, жулик. Но если он не принадлежит ни к одной из этих категорий, то могут ли иметь индивидуальные черты большее значение, чем рисунок листьев?

Тогда я плюнул на все и решил подбросить монету. Но сколько ни подбрасывал, орел и решка выпадали поровну.

* * *

К счастью или к несчастью, оставалась еще работа, которую нужно было сделать до того, как принимать решение о типе лица. Работа такая: найти материал для поверхности кожного покрова лица, которую можно будет использовать при завершении маски. Мне не оставалось ничего иного, как купить его у незнакомого человека, с которым я никогда больше не увижусь. Но характер этого предприятия был такой, что психологически его было очень трудно осуществить, и если бы я не оказался в безвыходном положении, то, несомненно, не смог бы заставить себя взяться за него. В этом смысле момент был исключительно подходящий.



Я, конечно, прекрасно знал, что в тот миг, как я закончу эту работу, мне неизбежно будет вручен ультиматум, но, как говорят, на яд действуют ядом — один яд уничтожает другой, — и тогда на какое-то время я мог обрести покой. Наступил март, и в первое же воскресенье я уложил в чемодан свои мудреные инструменты и решил с самого утра поехать наконец на электричке в город.

Электрички, идущие за город, были переполнены, те же, что шли к центру, — пока сравнительно пустые. И все же для меня было мучением через столько месяцев снова оказаться в толпе. Мне бы надо быть готовым ко всему, но я тем не менее стоял у двери, глядя наружу, не в силах заставить себя оглянуться и посмотреть, что делается в вагоне, и понимая, как комично я выгляжу, спрятавшись по уши в поднятый воротник пальто — хотя отопление работало так, что нечем было дышать, — не в силах шевельнуться, как насекомое, прикинувшееся мертвым. Как же смогу я тогда обратиться к незнакомому человеку? Каждый раз, когда вагон останавливался, я, вцепившись в ручку двери, должен был буквально бороться с малодушным желанием возвратиться домой.

В конце концов, чего мне бояться? Никто ни в чем меня не обвиняет, но все равно я весь сжался от стыда, точно и в самом деле совершил преступление. Если выражение лица столь незаменимо для идентификации личности, то можно ли утверждать, что немислимо установить личность человека, только услышав его голос по телефону? Можно ли сказать, что в темноте все люди боятся, подозревают друг друга, враждуют между собой? Чепуха. В конце концов, такая штука, как лицо, имеет глаза, рот, нос, уши, и, если функционируют они нормально, это больше чем достаточно! Лицо служит не для того, чтобы демонстрировать его окружающим, а только для самого себя! (Нечего принимать это близко к сердцу... Так брюзгливо оправдывалось мое второе «я»... Стеснялся я

только без нужды нагонять на посторонних людей страх, показывая им лицо, лишенное выражения...) Но, по правде говоря, только ли в этом было дело? Темные очки, изготовленные по специальному заказу, были темнее обычных, и можно было совершенно не беспокоиться, что кто-нибудь почувствует на себе мой взгляд. И все же...

Поезд повернул, и та сторона вагона, где я стоял, оказалась обращенной к западу, в стекле двери отразилась семья с ребенком, позади меня. Мальчик лет пяти, который сидел между молодыми родителями, горячо что-то обсуждавшими, показывая пальцами на висевшую в вагоне рекламу (я потом прочитал: рекламировалась продажа ванн в рассрочку), округлившимися глазами неотрывно смотрел на меня из-под темно-синей матросской шапочки. Удивление, тревога, страх, неуверенность, понимание, недоверие, зачарованность и, наконец, все оттенки любопытства собрались в его глазах. Он был точно в трансе. Я начал терять самообладание. И родители тоже хороши — сидят и не пытаются даже одернуть его. Я резко повернул к ребенку лицо, и он, как я и ожидал, в страхе прижался к матери, а та, оттолкнув его локтем, начала бранить.

...А что, если бы я молча встал перед этими родителями и ребенком, с презрением глядя на их замешательство, снял очки, сбросил повязку и начал разматывать бинты? Замешательство перешло бы в растерянность, а потом в ужас. Но я, не обращая на них внимания, продолжал бы разматывать. Чтобы усилить эффект, последние витки я сорвал бы разом. Взял бы за верхний край бинта и рванул вниз. Но лицо, которое они увидят, будет совсем иным, нежели мое прежнее лицо. Нет, оно будет отличаться не только от моего лица — оно будет отличаться вообще от человеческих лиц. Мертвенно-белое, как воск, сквозь который просвечивает бронза или золото. Но они не смогут позволить себе дальнейших уточнений. Не

успеют они сообразить, кто перед ними, бог или черт, как все трое превратятся в камни, слитки свинца, а может быть, просто в насекомых. А за ними последуют и другие пассажиры, присутствовавшие при этом...

Неожиданный шум в вагоне заставил меня очнуться. Поезд подошел к нужной мне станции. Я выскочил на платформу, будто за мной гнались. Опустошающая усталость охватила меня. В конце платформы стояла скамейка. Как только я сел на нее, вся она оказалась в моем распоряжении: или меня избегали, или просто не хотели сидеть с кем-то рядом. Задумчиво глядя на беспорядочный поток пассажиров, я чувствовал, что вот-вот разрыдаюсь от переполнявшего меня отчаяния.

Видимо, я слишком радужно рисовал себе положение. Найдется ли в этой бессердечной и капризной толпе добрая душа, которая согласится продать мне свое лицо? Едва ли. Даже если я и выберу какого-то человека и позову его, вся эта толпа на платформе злобно воззрится на меня. Огромные часы под навесом платформы... общее время для всех людей... что же это, однако, такое — равнодушие тех, кто обладает лицом? Неужели обладание лицом имеет столь решающее значение? Можно ли сказать, что быть видимым — это цена, которую платишь за право видеть?.. Нет, хуже всего то, что моя судьба слишком необычна, слишком индивидуальна. В отличие от голода, безответной любви, безработицы, болезни, банкротства, стихийного бедствия, разоблаченного преступления в моем горе не было того, что позволило бы разделить его с другими. Мое несчастье навсегда останется только моим, и я ни с кем не смогу им поделиться. Поэтому кто угодно может без тени угрызения совести игнорировать меня. А мне не позволено даже протестовать.

...Не тогда ли я начал превращаться в чудовище? И разве не душа чудовища, цепляясь острыми когтями, взбиралась вверх по моему позвоночнику, от чего тело покрывалось холодными

мурашками, будто от звука электрической пилы? Несомненно. Именно тогда я стал превращаться в чудовище. Карлейль, кажется, сказал: сутана делает священника, мундир делает солдата. Может быть, лицо чудовища создает сердце чудовища. Лицо чудовища обрекает на одиночество, а это одиночество создает душу чудовища. И стоит температуре моего ледяного одиночества чуть понизиться, как все узлы, связывающие меня с обществом, с треском разорвутся, и я превращусь в чудовище, которому безразличен внешний вид. Если мне суждено превратиться в чудовище, то какого рода чудовищем я стану, что я натворю? Не узнаешь, пока не станешь им. Но одна мысль об этом была так страшна, что хотелось быть.

Заметки на полях. Интересен роман, в котором описано чудовище Франкенштейна. Когда чудовище бьет тарелки, это обычно относят за счет инстинкта разрушения, которым оно наделено. Здесь же наоборот — объяснение находят в хрупкости тарелок. Осознавая себя чудовищем, оно хотело одного — похоронить себя в одиночестве, и только хрупкость жертв без конца превращала его в убийцу, вот в чем дело. Значит, пока в этом мире существует то, над чем можно совершить насилие — что можно разломать, разорвать, сжечь, чему можно пустить кровь, что можно задушить, — чудовищу лишь остается без конца совершать насилие. В поведении чудовища, в общем, не содержалось ничего нового. Само чудовище не что иное, как изобретение своих жертв...

Нет, изо рта моего не вырвалось ни звука, но, думаю, к тому моменту я уже безмолвно выл. Помогите! Не смотрите на меня так! Если вы и дальше будете так на меня смотреть, я ведь и вправду превращусь в чудовище!.. Наконец я не выдержал и, как зверь, ищущий спасения в норе, продираясь сквозь чащу людей, в отчаянии устремился в ближайший кинотеатр — туда, где продают темноту, единственное место, где может укрыться чудовище.

Какой шел фильм, не помню. Я забился в самый угол балкона и плотно укутался, точно в шарф, в искусственную темноту. Постепенно начал успокаиваться, как крот, нашедший наконец свою нору. Кинотеатр был похож на длинный бесконечный туннель. Кресло казалось мне бешено мчащимся экипажем. Разрывая темноту, я неудержимо несусь вперед. Я лечу с такой скоростью, что никакие люди не могут догнать меня. Я обгоняю их, и они застывают марионетками. Я буду первым в мире Вечной Ночи. Я провозглашу себя императором страны, где нет ничего, кроме света звезд, светлячков и росы... Точно украдкой смакуя сладкий плод, я упивался мечтами, похожими на детские каракули. И не надо смеяться надо мной из-за того, что темноты-то этой был всего лишь маленький клочок. Ведь если мыслить космическими масштабами, то тьма — важнейшая субстанция, занимающая большую часть Вселенной...

Вдруг в креслах передо мной началась какая-то неестественная возня. Из темноты послышался приглушенный смех женщины. «Ш-ш», — оборвал ее мужчина, и движение прекратилось. Зрителей было мало, произошло это в тот момент, когда музыка всей мощью, на какую только была способна, потрясала зал, и поэтому никто, кроме меня, наверно, не обратил на них внимания. Хотя это касалось не меня, я вздохнул с облегчением. И все же продолжал пристально смотреть в ту сторону, не в силах оторвать глаз. Экран посветлел, и отчетливо всплыли силуэты двух человек. Женщина высвободила из-под воротника белого лохматого пальто подстриженные, как у девочки, волосы; к ее плечу, чуть опущенная вниз, прижималась голова мужчины. Причем оба они были укутаны до половины в его черное пальто. Что происходило под ним?

Особенно бросалась в глаза белая шея женщины. Этот белый клочок во тьме, казалось, то тонул, то снова всплывал в воротнике такого же белого пальто, мои глаза никак не

находили фокус, и в них все мелькало. А вот что делал мужчина, было совсем неясно. Положение его головы такое, будто он что-то рассматривает на груди у женщины... Я впился глазами в его правое плечо — от напряжения даже слезы выступили. Но передо мной была картина, написанная черной тушью на черной доске. И если мне казалось, что плечо вздрагивает, то потому, что мне хотелось, чтобы так было, и если мне казалось, что оно движется ритмично, то только потому, что я хотел этого. В конце концов я сам увлекся собственным увлечением.

Неожиданно женщина громко рассмеялась. Я вздрогнул, будто меня ударили, — мне почему-то представилось, что виновник этого внезапного смеха я. На самом деле смеялась не она, а динамик за экраном. И будто вторя ей, на экране тоже забурлило вождение.

Весь экран крупным планом заполнила белая шея женщины. Она решительно поворачивалась из стороны в сторону, точно выражая страдания и муку, а потом постепенно поплыла вниз, и вместо нее на экране появились губы, похожие на только что сваренные сосиски, и эти губы растянулись в какую-то невообразимую улыбку, значительно превосходящую все установленные для нее размеры. Потом ноздри, напоминавшие отверстие в резиновом шланге... за ними веки, так плотно сжатые, что они совсем потерялись в морщинах... и, наконец, смех, подобный хлопанью крыльев вспугнутых диких птиц.

Мне стало не по себе. Нужно ли, чтобы лицо демонстрировалось в таком виде? Кино с самого начала было задумано как зрелище, мыслимое только в темноте. И я думаю, что поскольку у тех, кто смотрит, нет лиц, то и тому, на кого смотрят, лица не нужно...

Но в жизни не найдется ни одного актера, который согласился бы стащить с себя лицо, хотя одежду он готов стаскивать

сколько угодно. Мало того, он абсолютно убежден, что вся его игра сконцентрирована на лице. Разве это не тот же обман: заманить зрителя темнотой и подстроить ему такую западню?.. Или вот, подглядывать стыдно, но можно ли сказать, что, если только притворяться, что подглядываешь, тогда все в порядке? Укройте отвратительную напыщенность, отбросьте ханжество! (Смешно, что подобное самоутверждение исходит от калеки, лишенного лица? Но ведь лучше всех понимает, что такое свет, не электрик, не художник, не фотограф, а слепой, потерявший зрение в зрелом возрасте. Как в изобилии есть мудрость изобилия, так и в нищете есть мудрость нищеты.)

Словно обращаясь за помощью, я снова посмотрел на ту пару. Сейчас оба они сидели совсем тихо. В чем же дело? Может быть, и то кипящее вожеление не более чем плод моей фантазии? Сквозь щели бинтов, точно черви, поползли струйки липкого пота. И видно, не только из-за того, что в зале было слишком жарко. Нечто едкое, как горчица, проникло в каждую пору, обжигая тело. (Фальшью оказалась не темнота, а, как ни странно, мое собственное лицо.) Если бы в эту секунду в зале неожиданно загорелся свет, то не кто иной, как я, непрошенно вторгшийся сюда, был бы унижен и осмеян зрителями...

Собрав все свое мужество, я решил наконец выйти на улицу. Однако не могу сказать, что поиски убежища оказались бесплодными. Я почувствовал, что решимость моя гораздо сильнее, чем прежде, — другими словами, хоть в этом я восстановил свою связь с людьми.

* * *

Приближался полдень. По привокзальной улице бесконечно лился поток людей, как всегда на бойком месте в выходной



день. Я смешался с этим потоком и под взглядами, липкими, как назойливые мухи, все же продолжал бесцельно бродить примерно в течение часа. Считается, что хождение пешком имеет определенный психологический эффект. Возьмем, например, воинскую часть на марше. Колонна может двигаться в две или в четыре шеренги, и солдат превращается лишь в двуногое существо, имеющее единственную цель — сохранять строй. Думаю, одновременно с чувством мрачной опустошенности, потери лица и сердца в этом ритме бесконечного марша заключается и бездушное успокоение. Мало того, совсем не редки случаи, когда во время долгого марша люди даже испытывают половое возбуждение.

Однако нельзя же до бесконечности отгонять мух. Скорее я должен превратиться во всевидящий мушиный глаз и жадно летать в людской толпе. Я должен найти в ней какого-то человека, который захочет продать мне поверхность кожного покрова. Пол — мужской... Владелец гладкой кожи, по возможности без характерных признаков... Поскольку потом она будет растягиваться и сжиматься, черты лица и размеры безразличны... Возраст — от тридцати до сорока... Правда, у сорокалетнего мужчины, который согласится на мое предложение ради денег, кожа может оказаться со множеством шрамов и непригодна для меня, поэтому речь фактически шла о тридцатилетнем...

Я попытался взять себя в руки, но и это усилие, вспыхнув, как перегорающая электрическая лампочка, погасло — было очень трудно поддерживать внутреннее напряжение. Да к тому же и люди, шедшие по улице, хотя они и были между собой чужими, образовали прочную цепь, как органическое соединение, без единого разрыва, куда можно было бы втиснуться. И сможет ли одно лишь обладание избранным мной лицом послужить столь уж прочной связью? Ведь даже одежда, которую они носили, была согласована, точно пароль.

Выпущенный в огромном количестве сегодняшний пароль, именуемый модой. Не есть ли это отрицание формы и вместе с тем некий новый вид формы? В том смысле, что изменения происходят непрерывно, это, видимо, отрицание формы, но в том смысле, что это отрицание осуществляется в массовом порядке, оно представляется опять-таки облеченным в форму. Может быть, такова душа сегодняшнего дня. И из-за этой души я стал еретиком. И хотя представление о моде, созданное искусственным волокном, действительно поддерживалось моими исследованиями, люди, думая, наверно, что человек, лишенный лица, лишен и души, ни за что не допустят, чтобы я слился с ними. Я отдавал все силы тому, чтобы продолжать идти.

Если бы я легкомысленно окликнул кого-нибудь из толпы, моя связь с окружающими вмиг расплзлась бы, как намокшая бумага сёдзи¹. Меня, наверно, окружили бы частоколом люди и стали без всякого снисхождения расспрашивать о моей маске, такой нелепой. Я раз шесть прошел из конца в конец по привокзальной улице и все это время непрерывно получал подобное предостережение. Нет, не потому, что я слишком много думал об этом. Хотя там была невообразимая толча, вокруг меня, точно это был зачумленный район, всегда оставалось свободное пространство и ни разу никто не задел меня плечом.

Мне казалось, что я в тюрьме. В тюрьме, и тяжело давящие на тебя стены, и стальные решетки — все превратилось в отполированное зеркало, и ты повсюду находишь собственное отражение. То, что ты не можешь в любую минуту убежать от самого себя, — вот в чем ужас заточения. Я тоже

¹ Сёдзи — раздвижные перегородки в японском доме, обтянутые бумагой.

прочно упрятан в мешок самого себя — как ни бейся, не вырвешься из него. Нетерпение превратилось в раздражение, а раздражение вылилось в мрачную злобу. Но тут вдруг мне в голову пришла мысль: а что, если зайти в ресторан в универмаге? Может быть, потому, что у меня было время, а может быть, из-за того, что я проголодался. Но эта мысль заключала в себе еще больший вызов. Интуиция человека, загнанного в угол, наконец подсказала мне, где распорот мешок, в который меня упрятали.

Люди ведь становятся одинокими, становятся разобщенными, становятся беззащитными, обнаруживают свои слабости, становятся слезливо-просительными главным образом в те минуты, когда спят, отправляют естественные надобности, ну и когда поглощены едой. Кстати, «индивидуальное» меню составляет особую гордость ресторанов в универмагах.

Помещение, куда я спустился на эскалаторе, было похоже на зал для приемов. Ресторан, видимо, сразу же за ним. Я совсем уж было направился туда, как вдруг прямо передо мной выплыло огромное объявление: «Выставка масок Но». На секунду я замер и в растерянности чуть не повернул обратно. «Конечно же, это должно было непременно случиться, — подумал я. — Но если я убегу, надо мной будут смеяться еще больше». И хотя попасть в ресторан можно было, не заходя на выставку, я все равно направился прямо в этот зал.

Поступил я так, может быть, потому, что был воодушевлен уже принятым решением пойти в ресторан. Или, пожалуй, лучше назвать это пробой сил перед тем, как бросить вызов. Осмотр масок Но человеком в маске — что ни говори, сочетание необычное. Нужно собрать столько решимости, чтобы ее хватило пройти сквозь огненное кольцо.

Но, к счастью, посетителей было так мало, что все мое напряжение испарилось. Благодаря этому я невольно почувствовал умиротворенность и в таком состоянии решил обойти вы-

ставку. Никаких особых надежд я на это не возлагал. Между маской Но и той, которая была нужна мне, хотя называются они одинаково — «маска», — слишком большая разница. Мне нужна была такая, которая бы уничтожила препятствие в виде пиявок и восстановила тропинку, связывающую меня с другими людьми, а маска Но, наоборот, олицетворяет стремление уничтожить все связи с жизнью. Прекрасным доказательством этого может, кстати, служить ощутимая атмосфера тлена, царящая в зале.

Я не могу, конечно, не признать, что в маске Но содержится какая-то совершенная красота. То, что мы называем красотой, может быть, и есть сила чувства протеста, восстающего против разрушения. Трудность воспроизведения может служить мерой совершенства искусства. Значит, если исходить из невозможности массового производства, придется, несомненно, признать, что тонкое листовое стекло — лучшая вещь в нашем мире. Но все равно самое непостижимое — это то, что лежит за пределами всеобщего стремления искать такое редкое совершенство. Потребность в маске, как подсказывает здравый смысл, отражала желание людей, которых уже не удовлетворял облик живого актера, увидеть нечто превосходящее его. В таком случае зачем нужно было нарочно придавать ей сходство с удушенником?

Я неожиданно остановился у женской маски. Она висела на низкой полукруглой перегородке, соединяющей две стены, — в том, как ее поместили, был определенный замысел. Среди белых столбиков балюстрады на фоне черного полотна эта маска, будто отвечая на мой взгляд, казалось, повернулась ко мне. И широко, во все лицо улыбнулась, точно ждала меня...

Нет, это была, безусловно, галлюцинация. Двигалась не маска, а падавший на нее свет. Позади балюстрады были запрятаны миниатюрные лампочки, они в определенном порядке

зажигались и гасли, создавая неповторимый эффект. Да, ловко они это подстроили. И хоть я и понимал, что это подстроено, во мне все еще продолжал звенеть испуг. И я без всякого сопротивления навсегда отказался от привычного и наивного взгляда, что маски Но не имеют выражения...

Маска не просто была тщательно продумана. Она отличалась от остальных и блестящим выполнением.

Но это ее отличие было непонятным, невольно раздражало. Однако, когда я еще раз обошел зал и возвратился к женской маске, она вдруг предстала передо мной, точно в фокусе невидимой линзы, и я разгадал загадку. То, что я видел перед собой, не было лицом. Оно лишь прикидывалось лицом, а на самом деле было обыкновенным черепом, обтянутым тонкой пленкой. В других масках, масках стариков, гораздо отчетливее проглядывали очертания черепа, но эта женская маска, на первый взгляд казавшаяся такой округлой, если присмотреться, больше всех остальных напоминала именно череп. Рельефно выделяющиеся кости переносицы, лба, скул, подбородка были воспроизведены с такой точностью, что на ум приходил анатомический атлас, и движение теней, следуя за перемещающимся светом, превращалось в мимику. Непрозрачность клея, напоминающая старый фарфор... сеть тонких трещин, покрывающая поверхность... белизна и теплота сплавных бревен, лежащих на берегу под ветром и дождем... или, может быть, маски Но ведут свое начало от черепов?

Однако совсем не все женские маски были такими. С течением веков они превращались в обыкновенные, ничего не выражающие лица, похожие на очищенную дыню. Может быть, потому, что неверно истолковали замысел первых создателей масок и все внимание уделили самому процессу ее изготовления, забыли об основных костях черепа и подчеркнули только отсутствие выражения.

Неожиданно я столкнулся со страшной гипотезой. Почему создатели первых масок Но должны были попытаться преодолеть границы выражения и в конце концов дойти до черепа? Конечно, не просто чтобы стереть выражение. Уход от повседневного выражения — это можно увидеть и в других масках. Если же углублять поиски принципиальной разницы, то она, пожалуй, заключается в том, что в отличие от обычных масок, в которых этот уход решен в позитивном направлении, в масках Но он идет в негативном. Если хочешь придать выражение — можно придать какое угодно, но все равно это будет ничего не содержащий, пустой сосуд... Отражение в зеркале, которое может видоизменяться как угодно в зависимости от того, кто смотрится в него.

Это не значит, конечно, что нужно возвращать к черепу мое лицо, на котором роились пиявки. А не содержалось ли в универсальном методе создания масок Но, когда лицо превращалось в пустой сосуд, основного принципа, выражаемого через любое лицо, любое выражение, любую маску? Не лицо, которое создаешь сам, а лицо, создаваемое другим... Не выражение, которое выбираешь сам, а выражение, выбираемое другим... Да, это, пожалуй, верно... Чудовище есть нечто сотворенное, а значит, и человека можно назвать творением... Творец же, поскольку речь идет о письме, именуемом выражением, выступает не как отправитель, а скорее как получатель.

Не объясняет ли это все мои затруднения с выбором типа лица, все мои бесконечные блуждания?.. Сколько марок ни наклею на письмо, не имеющее адреса, оно просто вернется обратно... Постой, есть, кажется, выход. Что, если показать кому-нибудь используемый мною для справок альбом установленных типов лица и попросить, чтобы выбрали... Но кому же, кому? Ну разве не ясно? Конечно, тебе!.. Кроме тебя, никто не может быть получателем моих писем!

Сначала я скромно решил, что открытие мое совсем незначительно, но постепенно окружающие меня волны света начали менять длину, сердце мое затеплилось улыбкой, и, чтобы ее не задуло, я прикрыл ее ладонями и осторожно, точно спускаясь с горки, покинул зал.

Да, это совсем не маленькое открытие, если его удастся осуществить... Возникнет, наверно, немало проблем с точки зрения формальностей... разумеется, возникнет... но тем не менее в конце концов удастся все уладить. Я решительно направился в ресторан. Без тени колебания я вторгся в столь отличную от зала «Выставки масок Но» раскаленную атмосферу большого ресторана, который в своем двухстраничном меню охватывает все без исключения виды аппетита. Я сделал это не из-за какой-то безумной смелости. Наоборот. Мелькнувшая надежда скорее сделала меня трусом. В своем стремлении как можно быстрее установить связь между письмом и адресом я превратился в ребенка, который пробегает темноту, заткнув уши.

И тут как раз передо мной, загораживая дорогу, вырос мужчина. Невозмутимость, с которой он неторопливо — казалось, никогда не оторвется, — рассматривал выставленные в витрине кушанья, как раз должна была быть присуща человеку, которого я так упорно разыскивал. Убедившись, что возраст мужчины как раз подходит и что на лице у него нет шрамов, я сразу же решил — пусть будет он.

Мужчина, решившись наконец, купил в кассе талон на миску китайской лапши, вслед за ним я взял талоны на кофе с бутербродом. С невинным выражением лица, хотя какого лица — у меня же его не было, — я молча сел за один столик с мужчиной, напротив него. Поскольку были и другие свободные места, он явно выразил неудовольствие, но ничего не сказал.

Молоденькая официантка проколола наши талоны, принесла по стакану холодной воды и ушла. Я снял повязку, зажал в зубах сигарету и, чувствуя, что человек смущен, начал издали:

— Простите, я вам помешал, наверно...

— Нет, нет,нисколько.

— А вон ребенок так уставился на меня, что совсем позабыл о своем вожделенном мороженом. Чего доброго, он подумает, что вы мой приятель.

— Ну так пересядьте куда-нибудь!

— Да, это можно, конечно. Но прежде я бы хотел спросить вот о чем, прямо, без обиняков... Вы не хотите получить десять тысяч иен? Если они вам не нужны, я тут же перейду на другое место.

На лице моего собеседника отразился такой живой интерес, что мне даже стало жаль его; не мешкая, я начал тянуть сеть.

— Просьба не особенно обременительная. Риска никакого, много времени не займет — и десять тысяч иен ваши. Ну как? Будете слушать или мне пересестись?..

Мужчина облизывал кончиком языка желтые зубы, его нижнее веко нервно подрагивало. По классификации Блана у него было чуть полноватое лицо с центром, смещенным вниз. В общем, это был отвергнутый мной тип лица человека, сосредоточенного на своем внутреннем мире и антагонистичного внешнему. Но мне было важно лишь строение кожи, и поэтому само лицо не имело существенного значения. В отношениях с людьми такого рода необходимо, осуществляя нажим, внимательно следить за тем, чтобы не ранить их самолюбия.

Постскриптум. Всеми силами отвергая лицо как мерку для себя, в отношении других я легко ею пользуюсь. Такой подход слишком произволен? Да, произволен, но относиться так же к себе было бы слишком большой роскошью. Самыми злобными критиками чаще всего становятся обездоленные.

— Но ведь... — Как бы давая понять, что мы можем договориться, если даже он и не будет смотреть мне в лицо, он сидел, закинув руку за спинку стула, неловко ерзая, и, казалось, внимательно смотрел в сторону выхода к лифту на крышу, где детям раздавали в подарок воздушные шарик.

— Ну что ж, давайте обсудим...

— Вы меня успокоили. Хорошо бы нам уйти куда-нибудь. Очень уж здесь официантки неприветливые. Но сначала я хочу договориться об одной вещи. Я не спрашиваю у вас, чем вы занимаетесь, — не спрашивайте и вы.

— В конце концов, есть ли такое занятие, о котором стоило бы спрашивать? Да к тому же, если я ничего не буду знать, то потом не придется оправдываться перед другими.

— Когда мы все закончим, я хочу, чтобы вы забыли обо всем, будто мы никогда не встречались.

— Хорошо. Судя по началу, не такой у нас разговор, чтобы о нем захотелось вспоминать...

— Ну, как сказать! Вы и сейчас не решаетесь посмотреть мне прямо в лицо. Разве одно это не доказывает, что вы заинтеригованы? Вам не терпится узнать, что у меня под бинтами.

— Чепуха.

— Что же тогда? Страх?

— Нет никакого страха.

— Тогда почему же вы меня так избегаете?

— Почему?... Мне что, нужно по порядку ответить на все ваши вопросы? Это тоже входит в десять тысяч иен?

— Не хотите — не отвечайте. Я знаю все ваши ответы наперед, даже и не услышав их. Просто я думал хоть немного освободить вас от тяжести...

— Скажите же наконец, что я должен делать?

Мужчина с недовольным видом вынул из кармана пиджака смятую пачку сигарет и, оттопырив нижнюю губу, стал ее расправлять. Но тут же худая щека, на которой резко выступали

мускулы рта, судорожно задергалась, как брюшко насекомого. У него был вид затравленной жертвы. Но могло ли такое случиться? Из опыта я знал, что, если имеешь дело с ребенком, он, подстегиваемый самой невероятной фантазией, может впасть в панику, мой же собеседник вполне зрелый человек. Коллеги отводили от меня глаза, болезненно ощущая свое превосходство. Именно зная это, я с помощью приманки в десять тысяч иен хотел выудить псевдоравенство. Не более...

— Итак, приступим к делу. — Я осторожно, но в то же время в намеренно резких выражениях начал зондаж. — Так вот, я подумал, не уступите ли вы мне свое лицо?..

Вместо ответа он мрачно взглянул на меня и с силой чиркнул спичкой. Кончик спички обломался, и горящая головка полетела на стол. Он суетливо погасил ее, щелчком скинул на пол и, досадливо хмыкнув, зажег новую. Как я и ожидал. Все это продолжалось каких-то несколько секунд, но в эти мгновения он весь сосредоточился, напрягся, чтобы проникнуть в смысл слов «уступить лицо».

Объяснений могло быть сколько угодно. Начиная с таких широко известных, как убийство, шантаж, афера, когда хотят изменить свой облик, и кончая уже совершенно фантастическими случаями, когда действительно занимаются куплей-продажей лиц... Да, догадаться совсем не легко. Если у него осталась способность спокойно рассуждать, он должен сразу вспомнить десять тысяч иен — это совершенно определенное условие. Сколько можно купить на десять тысяч иен, известно. Не самое ли благоразумное, не мучая себя догадками, прямо спросить, что я имею в виду? Не было никакого сомнения, что его подавили мои бинты и он оказался в неуютном положении человека, которого мучат во сне какой-то невероятной софистикой. В общем, я как будто не ошибся, решив пойти в ресторан. И больше всего мне понравилось то, что он, точно наткнувшись на проволочное

заграждение, заинтересовался не столько тем, что было под бинтами, сколько самими бинтами.

В какой-то миг — точно знаменитый фокусник взмахнул платком — во мне произошло потрясающее превращение. Как из невидимой воздушной ямы внезапно появляется летучая мышь, так и я стал вдруг насильником, готовым вонзить в горло собеседника отточенные клыки.

— Да что там. Хотя я и говорю о лице, но в общем-то речь идет всего-навсего о коже. Бинты хочу заменить...

Лицо мужчины затуманивалось все больше, казалось, он поглощен курением — так старательно он складывал губы, — о нашем деле вроде бы совсем забыл. Вначале, чтобы предупредить его возражения, я думал коротко рассказать о действительном положении вещей, но сейчас в этом уже не было необходимости. Под бинтами я непроизвольно выдавил никому не видимую горькую улыбку. Выместить злобу — лучший способ сохранить здоровье.

— Нет, нет, не тревожьтесь. Я не собираюсь сдирать с вас кожу. Единственное, что мне нужно, — это рисунок ее поверхности. Морщины, поры, линии кожи... В общем, мне нужно, чтобы вы дали мне перенести на форму все, что позволяет создать ощущение вещественности кожи.

— Ах, форма...

Мужчина облегченно вздохнул, напряжение растаяло, у него заходил кадык, и он мелко закивал, но до конца его опасения все же не рассеялись. Было ясно, что его беспокоит. Что я собираюсь натворить, надев на себя лицо, точно такое же, как у него, — вот это не могло не волновать мужчину. Вместо того чтобы тут же разрешить его сомнения, я все время, пока поглощал принесенную еду, делал ему мелкие гадости, лишь утверждая его в сомнениях. К нему персонально я ненависти не питал. Просто хотел, наверно, отомстить за то, что мне приходится договариваться с ним о лице.

Конечно, если бы только меня не мучили эти пиявки, в бинтах тоже была своя прелесть, и выбросить их было совсем не так легко. Я считаю, например, что наиболее отчетливо истинный смысл лица выявляется тогда, когда оно в бинтах — эффект маски. Маска — это злая игра, в которой то, чего ждешь от лица, и то, что видишь, меняются местами. В общем, это можно считать одним из способов укрыться от людей — стирая лицо, стирают и душу. Наверно, именно поэтому в давние времена палачи, расстриги, инквизиторы, жрецы, священники тайных орденов, ну и, наконец, разбойники не могли обойтись без маски, она была им совершенно необходима. Маска имела не только негативное назначение — просто скрыть лицо, но, несомненно, и гораздо более позитивную цель — скрыв облик человека, разорвать связь между лицом и сердцем, освободить его от духовных уз, соединяющих с людьми. Возьмем более простой пример — сюда вполне приложима психология франта, который любит щеголять в темных очках, даже когда в них нет необходимости. Но ведь если освободить себя от всех духовных уз и обрести безграничную свободу, то легко стать и безгранично жестоким.

В сущности, мне уже приходилось задумываться над использованием бинтов как маски. Да... Впервые это произошло еще до того случая с рисунком Клее. Я с гордостью уподоблял себя человеку-невидимке, который видит всех, но сам скрыт от других. Потом — когда я был на приеме у господина К., изготавливающего искусственные органы. К. всячески подчеркивал наркотический характер маски и серьезно предупредил меня, что в конце концов я превращусь в наркомана, не мыслящего жизни без бинтов. Можно, значит, считать, что сейчас это произошло в третий раз... Прошло ведь уже больше полугода — возможно ли, чтобы я топтался на одном и том же месте? Нет, есть все же разница. Вначале было обыкновенное бахвальство, потом я получил предупреждение от постороннего, и наконец сейчас

впервые по-настоящему вкусил тайную прелесть быть человеком в маске. Моя мысль двигалась как будто по спирали. Я, правда, в глубине души немного сомневался: в каком направлении идет это движение — по спирали вверх или, наоборот, вниз?..

Итак, продолжая ощущать себя насильником, я выманил мужчину из универмага, заплатил за номер в ближайшей гостинице и через два часа тем же способом, каким я снял тогда слепок со своего обиталища пиявок, получил отпечаток кожи лица этого человека. Глядя, как мужчина, закончив работу, засунул в карман бумажку в десять тысяч иен и пошел, чуть ли не побежал к выходу, я испытал противное чувство одиночества, точно все силы выскользнули из моего тела. Если сделка с настоящим лицом бесплодна, такой же бесплодной будет, пожалуй, и сделка с лицом, закрытым маской.

Постскриптум. Нет, это рассуждение неверно. Такое чувство было, возможно, вызвано тем, что, по моим предположениям, перемены, которые произойдут в моей душе, когда я закончу маску, будут очень похожи на все случаи, когда надевают личину, чтобы скрыться от людей... И неудивительно, что я испытывал тревогу, ведь я удаляюсь от заветной цели — восстановить тропинку, связывающую меня с людьми. Правда, в самой этой аналогии была определенная непоследовательность. Считать маску, не являющуюся моим собственным лицом, личиной — значит белое называть черным. Если маска расширяет тропинку, то личина разрывает ее — они скорее антиподы. Иначе я сам со своим стремлением убежать от маски-личины и найти маску-лицо окажусь в идиотском положении.

И еще одно. Только что я подумал: маска нужна жертве, а личина, наоборот, — насильнику. Верно?



Белая тетрадь

Ну вот я и сменил тетрадь, но в делах моих особых перемен не произошло. Действительно, раньше, чем я смог начать новую страницу, прошло несколько недель безо всяких событий, точно я замер на мертвой точке. Несколько невыразительных недель, без глаз, без носа, без рта, похожих на мою маску из бинтов. Но кое-что все же произошло: я упустил возможность запатентовать одну работу, что позволило бы мне хорошо заработать, и, кроме того, молодые сотрудники лаборатории неожиданно подвергли меня серьезной критике по вопросу ассигнований на этот год. Что касается патента, то работа была еще очень далека от практического завершения и слишком специальная, и поэтому задумываться над этим вопросом не стоило. А вот ассигнования... хотя они и не были непосредственно связаны с моими планами, касающимися маски... но дело есть дело, и я должен был все продумать как следует. Когда мои коллеги заговорили об ассигнованиях, я понял, что они считают это определенным тактическим ходом с моей стороны. Действительно, активно поддерживая желание группы молодых сотрудников, я раньше согласился на организацию специального сектора, но, когда дело дошло до ассигнований, получилось, что я отступился от своих слов. Это не было, конечно, ни интригой, ни завистью,

ни злым умыслом, ни какими-либо другими, заранее продуманными маневрами, хотя они и называли так мой поступок. Особо хвастаться мне нечем — просто я забыл об этом. Если меня обвинят в недостаточно серьезном отношении к работе, мне кажется, я должен покорно принять это обвинение. Прежде я почти не сознавал этого, но после их слов как-то очень остро почувствовал, что с некоторых пор начал терять интерес к работе. Хотя это и не особенно приятно признавать, но не сказалось ли здесь влияние пивов? Если оставить в стороне некоторые угрызения совести, откровенно говоря, их протест подействовал на меня освежающе. Ведь со мной обращались как с равным — не в пример тем деланным улыбкам, с которыми встречали раньше калеку...

Но какое все-таки открытие сделал я на «Выставке масок Но», на которой, как я писал в конце предыдущей тетради, мне, кажется, удалось окончательно разрешить важнейший вопрос — выбор лица?

Писать об этом так грустно. Выражение лица — не потайная дверь, которую скрывают от постороннего взора, а парадный вход, и поэтому его сознательно так строят и так украшают, чтобы он услаждал глаз проходящего. Оно — письмо, а совсем не рекламный листок, который посылают, не задумываясь над тем, кто его получит, и поэтому не может существовать без адресата. Убедившись в правильности своих выкладок, я тут же решил предоставить тебе право выбора и таким образом с облегчением снял тяжесть со своих плеч. Теперь в мою игру сразу заиграли двое.

В тот вечер — вечер цвета глины, когда мутный туман, точно грязная вода, клубясь, поднялся вверх, на час раньше обычного затянул небо и свет грязных фонарей, вызывающе делал то, что не подвластно ему, — подгонял время... я, двигаясь в людской толпе, все густевшей по мере приближения к вокзалу, снова сделал попытку войти в роль насильника,

чтобы как-то освободиться от невыносимого чувства одиночества, преследовавшего меня с того момента, как я расстался с тем человеком. Но если не встретиться с кем-то один на один, как это было в ресторане универмага, ничего, пожалуй, не получится. Когда люди образуют толпу, пусть даже и эту отвратительную толчею воскресного вечера, их лица, как амебы, протягивая друг другу ложноножки, создают цепь, и в ней нигде нет ни щелки, в которую можно было бы втиснуться. Но все равно я уже не был так раздражен, как раньше, когда выходил из дому. Я даже мог позволить себе признать, что сверкающее море света, которое, разрывая туман, плыло, дышало, волновалось, действительно великолепно. Может быть, потому, что теперь у меня был совершенно определенный план. С таким трудом купленный слепок лица из альгината калия, который я нес в портфеле под мышкой, был невыносимо тяжелым... но, правда, уравнивался тяжестью бинтов на моем лице, насквозь пропитавшихся туманом... в общем, у меня был план, и я мог попытаться осуществить его. Надежды на этот план, я думаю, и смягчили, пусть чуточку, мое сердце.

Да, так вот в тот вечер... мое сердце широко открылось тебе, будто преграда перед ним исчезла. И это не было просто пассивной надеждой, связанной со стремлением взвалить на тебя выбор... это не было простым побуждением, связанным с тем, что подготовка закончилась и я подошел к этапу, когда должна была вот-вот появиться маска... как бы это лучше сказать... наивно, как ребенок, мягко, точно переступая босыми ногами по траве, я сокращал и сокращал расстояние между нами.

Возможно, это спокойствие и уверенность, вызванные тем, что я получил возможность заманить тебя в сообщники, пусть косвенные, для изготовления маски — работы, требующей одиночества. Для меня, что ни говори, ты была чужаком

номер один. Нет, я употребляю эти слова не в отрицательном смысле. Ты — первая, к кому я должен восстановить тропинку, ты та, чье имя я должен написать на первом своем письме, вот в каком смысле назвал я тебя чужаком номер один. (...В любом случае я просто не мог лишиться тебя. Потерять тебя означало для меня потерять весь мир.)

* * *

Но в тот миг, как я столкнулся с тобой лицом к лицу, надежды мои превратились в бесформенную кучу, точно вынутая из воды морская трава. Я бы не хотел быть неправильно понятым. Я совсем не собираюсь придираюсь к тому, как ты меня встретила. Я далек от этого — ты сочувствовала мне с великодушием, превосходящим великодушие. Кроме того случая, когда не пустила к себе под юбку. Во многом, несомненно, следовало винить и меня или, лучше сказать, именно меня. Как писал поэт: всегда ли имеешь ты право на любовь того, кого любишь?

В тот день ты встретила меня, как обычно, с ненавязчивой предупредительностью или, вернее, с ненавязчивым состраданием. И наше молчание тоже было обычным.

Сколько же времени прошло с тех пор, как между нами воцарилось молчание, будто умолк сломанный музыкальный инструмент.

Наши ежедневные разговоры, обмен старыми новостями не прекратились, но свелись к минимуму и приобрели чисто символический характер. Но я и не думаю обвинять тебя в этом. Я прекрасно понимаю, что это была частица твоей жалости. Сломанный инструмент всегда фальшивит. Пусть лучше молчит. Для меня это было горькое молчание — для тебя, несомненно, во много раз горше. Потому-то я и должен был как-то использовать этот случай, чтобы мы поговорили еще раз, — я так на это надеялся...

Но все равно, как было бы хорошо, если бы ты по крайней мере спросила, куда я ходил. Ведь за последнее время это необычный случай, чтобы я в воскресенье с раннего утра на целый день ушел из дому — а ты не выказала ни малейшего удивления.

Ты быстро отрегулировала огонь в печке и сразу же возвратилась на кухню, не успела принести горячую салфетку, как снова убежала посмотреть, согрелась ли вода в ванне. Ты вроде бы и не оставляла меня, но и не старалась быть ближе. Конечно, любая хозяйка ведет себя в своем доме так же, как ты, но я хочу сказать вот о чем — о твоей слишком рассчитанной уравновешенности в те минуты. Ты действительно была на редкость искусна. Стремясь придать нашему молчанию естественность, ты с точностью электронных весов отмеряла время.

Чтобы сломать молчание, я решил показать, что рассердился, но и это не помогло. Увидев твои отважные усилия, я сразу же сник, поняв, что мне снова дали остро почувствовать, насколько я бессмысленно самонадеян. Застывшее между нами ледяное поле молчания оказалось, видимо, гораздо массивнее, чем я предполагал. Совсем не тоненькая корка льда, которую растопил бы первый попавшийся предлог. Все подготовленные мной по дороге вопросы — или поводы для разговора — были не более чем огоньком спички, упавшей на айсберг.

Я, конечно, не был настолько оптимистичен, чтобы думать, будто смогу поставить перед тобой образцы двух типов лица и сказать, подделываясь под заправского торговца: ну, какой нравится тебе больше? Первое условие — чтобы моя маска не бросалась в глаза как маска, и поэтому мне не следовало раскрывать истинный смысл своего вопроса. Иначе я дождусь лишь злых насмешек и колкостей. И теперь, поскольку я не собираюсь воздействовать на тебя гипнотически, вопросы мои должны быть, естественно, более косвенными. Но дальше этого мои планы не шли, и удача, которую я с трудом ухватил,

потому что я, как хороший сыщик, не жалел ног, — эта удача чуть ли не обернулась для меня провалом, но я все равно надеялся, что в нужную минуту смогу ее использовать по назначению. Например, я с легким сердцем разбирал лица своих друзей, непроизвольно протягивая ниточку к твоим вкусам.

Но ты не была рыбой, удовлетворяющейся молчанием. Молчание — тяжелое испытание для тебя. Не кто иной как я сам страдал, когда мне приходилось говорить с кем-либо о случившемся со мной, и именно ты, зная это, старалась поддержать меня... Ругая себя за лицемерие, я молча прошел мимо молчания, вернулся в свой кабинет, запер в шкаф инструменты для формовки и сегодняшний трофей, а потом, как обычно, начал разматывать бинты, чтобы смазать лицо кремом и сделать ежедневный массаж. Но рука вдруг остановилась на полпути, и я заблудился в диалоге с несуществующим собеседником.

«Нет, это не простая приманка... Сколько десятков калорий огня нужно для того, чтобы растопить это молчание? Это знает только мое потерянное лицо. Может быть, маска и есть ответ?.. Но если не будет твоего совета, я не смогу сделать маску... Так, может быть, лучше все бросить?.. Но если где-то не разорвать этот порочный круг, то будет повторяться одно и то же, как в той дурацкой орлянке. Но все равно терять надежду не следует. Если не удастся растопить весь лед молчания, нужно попытаться развести хоть маленький — только руки погреть — костер...»

Точно водолаз, надевающий свой костюм, я снова тщательно намотал бинты. С выставленным напоказ обиталищем пиявок я лишился уверенности, которая позволила бы мне преодолеть гнет молчания.

Чтобы скрыть сковавшее меня напряжение, безразличной походкой кошки, будто ничего не произошло, я вернулся в гостиную. Делая вид, что углубился в вечернюю газету,

краешком глаза я следил, как ты ходила на кухню и из кухни. Ты не улыбалась, но у тебя, когда ты делала то одно, то другое, ни на миг не переставая двигаться, было такое удивительно легкое выражение лица, точно ты вот-вот улыбнешься. Это было в самом деле удивительное выражение, которое появилось у тебя непроизвольно, и я даже подумал: не было ли самым главным стимулом, заставившим меня сделать тебе предложение, именно то, что я был неожиданно очарован этим выражением твоего лица?

(Не писал ли я уже об этом? Ладно, если и повторюсь, не страшно. Для меня, ищущего смысл в выражении лица, оно было как свет маяка. Даже сейчас, когда я это пишу и думаю о тебе, первое, что всплывает перед глазами, — снова то выражение твоего лица. В ту самую секунду, как на твоём внешне бесстрастном лице появилась улыбка, в выражении его неожиданно что-то засверкало, и все, освещенное этим светом, вдруг почувствовало уверенность, подтверждение своего существования...) Щедро даря это выражение окнам, стенам, лампам — всему, что тебя окружало, но только не мне, только в мою сторону ты не могла заставить себя повернуться. И хотя я считал это вполне естественным и ни на что, в общем, не надеялся, я вдруг почувствовал, что мне было бы вполне достаточно, если бы удалось заставить тебя повернуться в мою сторону, чтобы увидеть выражение твоего лица.

— Поговорим.

Но когда ты повернулась ко мне, то выражение уже исчезло.

— Сегодня я ходил в кино.

Ты ждала, что я скажу дальше, заглядывая в щели между бинтами с таким вниманием, что его даже нельзя было принять за внимание.

— Нет, не потому, что хотел посмотреть фильм. Просто мне нужна была темнота. Когда идешь по улице с таким лицом, начинает овладевать сознание, что делаешь что-то плохое.

Странная это штука — лицо... Раньше я совсем о нем не думал, а как только его не стало, мне кажется, что от меня оторвана половина мира...

— Какой был фильм?

— Не помню. Наверно, потому, что совсем потерял голову. Меня вдруг настигла идея насилия. И тогда я, точно спасаясь от дождя, влетел в ближайший кинотеатр...

— А где этот кинотеатр?

— Не все ли равно где. Мне нужна была темнота.

Ты осуждающе поджала губы. Но глаза грустно прищурились, показывая, что не только меня ты обвиняешь. Меня охватило жестокое раскаяние. Я не должен был этого делать. Нужно было говорить совсем о другом.

— ...Так вот, тогда-то я и подумал. Может быть, стоит иногда ходить в кино. Там все зрители будто берут напрокат у актеров лица и надевают их. Никому не нужно свое собственное лицо. Кино — это такое место, куда ходят для того, чтобы, уплатив деньги, на какое-то время поменяться лицами.

— Да, пожалуй, иногда ходить в кино стоит.

— Я думаю, не подходят только фильмы, в которых не нравятся лица актеров. Верно? Ведь идешь, чтобы взять напрокат эти лица и надеть на себя. Поэтому, не придись они точно, половина интереса пропадает.

— А разве нет фильмов без актеров? Ну, например, документальные...

— Не имеет значения. Пусть в них нет актеров, лица-то все равно есть. Даже рыбы, даже насекомые имеют какую-то физиономию. Даже стулья и столы имеют свое лицо, которое может нравиться или не нравиться.

— Но кто захочет смотреть фильм, нацепив рыбью морду?

Ты затрепетала, как бабочка, наслаждаясь шуткой. Права была, конечно, ты. Несомненно, лучше молчать, чем вытаскивать на свет эту рыбью морду.

— Нет, ты ошибаешься. Речь идет совсем не о моем лице. Лица-то у меня ведь нет, а значит, оно не может ни нравиться, ни не нравиться. Ты — другое дело. Для тебя не может не быть вопроса, с какими актерами фильм ты хочешь смотреть.

— Что б ты ни говорил, все равно мне нравятся фильмы без актеров. Не получаю никакого удовольствия ни от трагедии, ни от комедии.

— Ну почему, ну почему ты всегда стараешься меня утешать!

Непроизвольно тон у меня стал резким, мне как-то все вдруг стало безразлично, и под бинтами я скорчил отвратительную гримасу, которую все равно никто не мог увидеть. Может быть, оттого, что снова стало жарко, пиявки закопошились, и все лицо вокруг них загорелось зудом.

Это не было молчание, которое можно преодолеть таким способом. С какой стороны мы ни подступали к разговору, он все время замирал на одной и той же точке. У меня не хватило духа продолжать, и я замолчал. Наше молчание не было безмолвием, возникшим оттого, что уже все сказано. Это было горькое молчание, когда весь наш разговор рассыпался на мелкие кусочки.

* * *

Потом в течение нескольких недель я продолжал двигаться в этом молчании, механически, точно передвигая взятые на прокат суставы. Но однажды я вдруг заметил, что лиственница за окном играет на ветру тоненькими зеленоватыми побегами, оповещая, что вот-вот наступит лето. Так же неожиданно пришло и мое решение. Это случилось в тот вечер, когда я, помнишь, вдруг закричал во время еды — что послужило поводом, забыл:

— Ну скажи мне, скажи, что заставляет тебя жить со мной! — Я знал, каким бы громким ни был мой крик, он оста-

вался всего лишь частью молчания, и, не в силах взглянуть тебе прямо в лицо, уставился на обметку петли цвета вялой зелени, выглядывавшую из-под маленькой зеленой пуговички на груди. И, стараясь не спасовать перед собственным голосом, продолжал вопить: — Отвечай сейчас же, отвечай! Почему ты не разводишься со мной? Сейчас нужна полная ясность — это в наших с тобой интересах. Просто по инерции? Говори, не стесняйся. Нельзя насильно заставлять себя делать то, в чем сама не убеждена...

Когда я, выговорившись, заперся в своем кабинете, то был в жалком состоянии, как бумажный змей, попавший под дождь. Какая связь может существовать между мной — человеком, закатившим по поводу такого пустяка, как лицо, подобную безумную сцену, и мной — руководителем лаборатории с жалованьем 97 тысяч иен? И чем больше я думал, тем больше превращался в разодранный змей, от которого остались наконец одни дранки — вся бумага разлезлась...

И когда остались одни дранки и я пришел в себя, то понял, что грубые и обидные слова, брошенные тебе в лицо, я должен был обратить как раз к себе. Да, мы женаты уже восемь лет. Восемь лет — срок немалый. Во всяком случае, достаточный, чтобы ответить друг за друга, кто что любит из еды, кто чего не любит. Ну а если мы можем представлять друг друга во вкусах, касающихся еды, то разве не можем делать то же, когда речь идет о лицах? Значит, не было никакой необходимости попусту выискивать в нашем молчании тему для разговора.

Я начал судорожно копаться в своей памяти. Где-то непременно должно быть завещание, в котором ты назначаешь меня своим душеприказчиком. Не может не быть. А если мы были так далеки друг от друга еще до несчастного случая, что же я тогда стараюсь возвратить, затеявая всю эту возню с маской? Значит, мне просто нечего возвращать. И поскольку нет абсолютно ничего, что мы должны были скрывать

друг от друга все эти восемь лет, которые протекли безо всяких событий, мне нечего сомневаться в этом сейчас, когда я огражден более толстой, чем мои бинты, стеной отчуждения. Следовательно, я уже потерял право требовать что-либо. Коль скоро я ничего не потерял, то не могу требовать и возмещения. Может быть, мне следует примириться с тем, что мой первоначальный облик тоже маска, и, не сопротивляясь, удовлетвориться своим нынешним положением?

...Проблема весьма важная... сам факт, что я считал ее важной, был чрезвычайно важен. Следовательно, просто даже из самолюбия я должен выполнить миссию душеприказчика. Эта работа не особенно привлекала меня, но, мобилизовав все воспоминания, впечатления, разговоры, я создал твою модель и стал припоминать, какие черты лица нравились тебе, и, поставив себя на твое место, попытался вспомнить выражение лиц разных мужчин. Я испытал отвратительное чувство, будто за воротник влезла гусеница. Но прежде, чем определить, что представляют собой все эти мужчины, необходимо поточнее установить, что представляешь собой ты? Линза должна, безусловно, быть твердо зафиксирована. Если она будет колыхаться, как медуза, то смотри не смотри — ничего не увидишь. И сейчас, когда я изо всех сил старался рассмотреть тебя, ты, казалось, то превращалась в точку, то в линию, то в плоскость и, наконец, стала бесформенной пустотой и проскользнула сквозь сеть пяти моих чувств.

Я оторопел. Что же я видел, к чему обращался, с каким чувством жил это совсем не короткое время? Неужели я так мало знал о тебе? Я замер в растерянности перед твоим внутренним миром — неведомой областью, окутанной безбрежным молочным туманом. Мне стало так стыдно, что я готов был намотать на свое лицо еще столько же бинтов.

Но может быть, наоборот, хорошо, что однажды я оказался так вот припертым к стене. Я выбросил из-за воротника

гусеницу, взял себя в руки и вернулся в гостиную — ты сидела, спрятав лицо в ладони, перед телевизором с выключенным звуком. Наверно, тихо плакала. Стоило мне это увидеть, как я сразу же понял, что возможно совсем другое объяснение, почему я оказался не способен быть твоим душеприказчиком.

Нельзя, пожалуй, утверждать, что я был идеальным душеприказчиком. Во всяком случае, с уверенностью можно сказать, что наше общение с тобой было односторонним, я даже не представлял себе, что ты можешь проявлять особый интерес к мужскому лицу. К чему же это привело? Теперь я вынужден превратиться в полное подобие сводника! Разве это не обычная форма брака, когда с самого начала отбрасывается вопрос о том, каковы вкусы твоей будущей жены в отношении мужского лица (вкусы в еде — другое дело). Когда мужчина и женщина вступают в брак, они должны отбросить подобные сомнения и любопытство. Если в этом нет согласия, то лучше не начинать такого хлопотного дела!

Тихонько, чтобы ты не заметила, я подошел сзади — пахло как от асфальта после дождя. Может быть, это был запах твоих волос. Ты обернулась, несколько раз потянула носом, будто простудилась, и, чтобы рассеять мои иллюзии, посмотрела на меня ясными и бездонными глазами — они казались нарисованными. С совершенно прозрачным, отсутствующим выражением — так лучи солнца пронзают лес, оголенный холодным осенним ветром...

Тогда это и случилось. Странный порыв охватил меня. Может быть, ревность? Возможно. Внутри меня комок, похожий на колючий репейник, начал разрастаться до размеров ежа. И сразу же вслед за этим я вдруг обнаружил, что критерий выражения лица, мое заблудшее дитя, которое, казалось, потеряно безвозвратно, находился рядом со мной. Это было неожиданно. Настолько, что я даже сам не мог ясно осознать эту неожиданность. Но не думаю, что я так уж удивился. Как

я раньше не спохватился, что, кроме этого ответа, другой невозможен? Вот это показалось мне неразумным.

Я оставляю в стороне это «как» и начну с вывода, к которому я пришел. Моя маска должна была относиться к четвертому типу по классификации Блана: «Негармоничный, экстравертный тип». Лицо, остро выдающееся вперед у носа... с точки зрения психоморфологии — волевое, целеустремленное лицо...

Всего этого было слишком мало, и я почувствовал себя чуть ли не одураченным. Но если вдуматься, объяснение можно было найти. Ведь при превращениях куколка, внешне не претерпевая никаких изменений, готовится к переходу в новое. После того как я столкнулся с новым смыслом, которое приобрело лицо — из того, что я выбираю, оно стало тем, что для меня выбирают, — мне не оставалось ничего другого, как внимательно следить за тобой, бредя наугад, как человек в темноте, который — открыты у него глаза или закрыты, смотрит он вправо или влево — видит лишь одно — тьму. И хотя возникшая теперь необходимость следить за тобой ранила мое самолюбие, заставляла нервничать, раздражаться, испытывать чувство унижения, хотя я уже устал от своих бесконечных мыслей, оторвать от тебя глаз все равно не мог ни на минуту.

Я жаждал приблизиться к тебе и в то же время жаждал отдалиться от тебя. Хотел узнать тебя и в то же время противился этому. Стремился видеть тебя и в то же время стеснялся тебя видеть. И вот в таком неопределенном состоянии, когда трещина между нами становилась все глубже, мне не оставалось ничего другого, как сжимать руками расколотый стакан, изо всех сил стараясь сохранить его форму.

Все это я прекрасно понимал. Понимал, что это была беспорядочная ложь, мною самим измышленная и очень для меня удобная, — будто ты жертва, прикованная цепью ко мне, уже не имеющему на тебя никаких прав. И ты безропотно,

по собственной воле обрекла себя на такую участь. И не к тебе ли самой относилось сияние, промелькнувшее на твоём лице, когда из серьезного оно стало улыбающимся? Значит, как только тебе вздумается, в любую минуту ты можешь покинуть меня. Но представляешь ли ты себе, как это страшно для меня? У тебя есть тысяча выражений лица — у меня ни одного. Но стоило мне вспомнить, что под кимоно у тебя тело и кожа неповторимой эластичности, неповторимой температуры, я начинал серьезно думать о том, что конца моим мучениям не будет до тех пор, пока я не проткну твоё тело огромной иглой — даже если это лишит тебя жизни — и не превращу тебя в экспонат коллекции.

И все это потому, что внутри меня терзали друг друга стремление восстановить тропинку между нами и мстительность, заставляющая желать твоего уничтожения. В конце концов я уже не мог различить, где одно чувство, где другое, и поза — стрела моего лука всегда направлена на тебя — стала привычной, повседневной, а потом в моем сознании неожиданно высветилось лицо охотника.

Лицо охотника не может принадлежать к «гармоничному, интровертному типу». С таким лицом я либо превращусь в друга пичужек, либо, в противном случае, в добычу диких зверей. В таких условиях решение мое не только не представлялось неожиданным, но, можно сказать, было неизбежным. Может быть, потому, что я был ослеплен двойственным характером маски — отрицание лица и одновременно создание нового лица — и упустил из виду основное: даже это ослепление есть одна из форм действия, — может быть, поэтому неминуемым для меня оказался такой кружной путь.

Существуют «мнимые числа». Странные числа, которые при возведении в квадрат превращаются в отрицательные. В маске тоже есть нечто схожее с ними: наложить на маску маску — то же самое, что не надевать ее вовсе.

Стоило лишь выбрать тип — остальное было просто. Одних фотографий, собранных в материалах по моделированию лица, я просмотрел шестьдесят восемь, и больше половины из них принадлежало к «типу лиц, выдающихся вперед у носа». Все было готово, даже более чем готово.

Я решил немедленно приступить к работе. Под руками у меня никаких образцов не было, но я попытался рисовать в своем воображении лица, как картину, написанную невидимой краской, накладывая слой за слоем и так на ощупь определяя каждый раз, какое впечатление производят они на тебя. Прежде всего на слепке из сурьмы я замазал вспененной древесной смолой все места, изъеденные пиявками. Сверху вместо глины, следуя линиям Лангера, я стал слой за слоем в определенном направлении накладывать тонкие пластиковые ленты. Благодаря полугодовой тренировке мои пальцы, точно пальцы часовщика, на ощупь чувствующие искривление волоска маятника, разбирались в мельчайших деталях лица. Цвет лица я подбирал по цвету кожи у запястья. Чтобы виски и подбородок были светлее, я использовал материал с добавлением небольшого количества двуокиси титана, чтобы щеки были розоваты, добавлял в материал красный кадмий. По мере приближения к поверхности я все осторожнее использовал красящие вещества, особенно большое искусство потребовалось, чтобы легким, сероватым налетом у ноздрей естественно передать возраст. Наконец растопленной древесной смолой я залил прозрачный слой — тонкую пленку, содержащую флуоресцирующие вещества и имеющую коэффициент преломления света, близкий кератину, на котором была воспроизведена поверхность купленной мной кожи. Затем на очень короткое время я подверг полученную оболочку действию пара под большим давлением, и она натянулась и застыла, как влитая. Морщин

пока не было, и поэтому она была гладкой, не имеющей выражения. Но все равно создавалось впечатление, будто это нечто живое, только что содрванное с живого человека.

(Пока мне удалось добиться этого, прошло двадцать два или, кажется, двадцать три дня.)

Следующая проблема: что делать с границей соединения маски с кожей. На лбу ее удастся прикрыть волосами. (К счастью, волос у меня больше чем достаточно, и они немного вьются.) Вокруг глаз, если сделать побольше мелких морщин, наложить посильнее краску и надеть очки, никто ничего не заметит. Губы можно будет заправить внутрь, а края закрепить на деснах. Ноздри удастся соединить с более твердыми трубками и ввести трубки внутрь. Некоторые затруднения вызывал участок у подбородка. Выход был только один. Скрыть его бородой.

Вывав из головы и отобрав наиболее тонкие волосы, я втыкал, стараясь сохранить направление и угол, волосок за волоском, по двадцать пять — тридцать штук на каждый квадратный сантиметр маски. Закончилась и эта работа — она одна потребовала двадцать дней, — но меня еще мучило чувство психологического протеста. В прошлом веке борода была обычным явлением, но сейчас, что ни говори, это несколько претенциозно. К примеру, стоит мне услышать слово «борода», и, как это ни прискорбно, оно ассоциируется с постовым полицейским у вокзала, ты его помнишь?

Все существующие бороды не ограничиваются, конечно, бородами бандитов или героев. Есть бороды различных типов. Есть бороды пророков, бороды европейских аристократов. Есть бороды Кастро, есть, не знаю, как они называются, чрезвычайно современные бороды, которые любят носить молодежь, корчащая из себя людей искусства. Хотя и трудно избежать несколько экстравагантного вида, когда ты с бородой и в темных очках, но поскольку другого выхода у меня не было, нужно было только постараться сделать все

так искусно, чтобы она не производила неприятного впечатления.

Ты все видела и все знаешь сама, и вряд ли нужно снова говорить о том, насколько успешной оказалась моя работа. Мне самому не хотелось ее оценивать, и не было у меня какого-либо другого плана, чтобы сделать ее по-иному — то, что получилось, удовлетворяло меня. Правда, некоторых угрызений совести я не мог избежать, но...

* * *

Нет, я случайно обронил слова «некоторые угрызения совести», но, если вдуматься, в них действительно заключается глубокий смысл. Мысли мои еще не отлились в слова, были совсем неясными, и это вызывало какое-то неприятное чувство, будто вскочил прыщик на языке, начинавший саднить, стоило открыть рот, — чувство, предостерегавшее меня: не занимайся пустой болтовней...

В ту ночь, когда я закончил наконец бороду, на большом пальце правой руки пинцет оставил кровавую мозоль. Боль, от которой я весь взмок, угольками горела внутри глаз. Сколько я их ни вытирал, вновь и вновь выступали слезы, липкие, как разбавленный мед, и глаза туманились, как грязные оконные стекла. Когда я поднялся, чтобы пойти в ванную умыться, уже забрезжил рассвет — я и не заметил, как прошла ночь. Невольно зажмурившись от ярких бликов утреннего солнца, рассеченных оконным переплетом, я неожиданно испытал стыд, чувство, уже однажды пронзившее мой мозг.

Я вспомнил сон, который видел однажды. Это был сон, похожий на старый немой фильм, начинавшийся с очень милой сцены: однажды в конце лета или самом начале осени я — мне было тогда лет десять, а может, и меньше — рассеянно следил за тем, как возвратившийся с работы отец снимает в



передней ботинки. Но вдруг мир рушится. Возвратился еще один отец. И этот отец, как ни странно, тот же самый человек, что и прежний отец, — другая у него только шляпа. У старого отца — соломенная шляпа, у нового — мягкая, фетровая. Увидев отца в соломенной шляпе, отец в мягкой шляпе с презрением посмотрел на него и преувеличенно резким жестом показал ему, что тот ошибся адресом. Тогда тот, что был в соломенной шляпе, в полной растерянности, со снятым ботинком в руке, грустно улыбнувшись, чуть не бегом выскочил из дома. Сердце разрывалось у меня в груди, когда я, совсем еще ребенок, смотрел ему вслед... Тут фильм оборвался. И после него остался лишь горький осадок.

Сон можно было бы счесть детской реакцией на смену времен года... Но если бы дело было только в этом, разве сохранились бы в течение десятилетий так ясно и отчетливо все ощущения, испытанные мной тогда? Едва ли. Две шляпы, которые я увидел, были чем-то иным. Может быть, символом лжи, недопустимой в отношениях между людьми... Точно можно сказать лишь одно: смена шляпы привела к тому, что доверие, которое я питал прежде к отцу, оказалось полностью подорванным... Наверно, с тех пор я все время испытываю стыд за отца.

Но сейчас позиции наши переменились. Теперь была моя очередь оправдываться. Я рассматривал в зеркале покрывшие лицо багровые пиявки, и это еще больше подстегнуло мое стремление поскорее сделать маску. Все равно не я должен стыдиться. И если уж есть люди, у которых действительно должно щемить сердце, то это скорее те, кто не признает, что может существовать человек, не имеющий лица — его паспорта, — и этим заживо хоронят меня. Разве не так?

Вновь настроившись агрессивно, я вернулся к маске. Бесстыдно обросшая физиономия... физиономия с торчащим носом... в глаза бросается только ее вызывающий вид. Создается неприятное впечатление, видимо, оттого, что рассматриваешь

отдельные части, — я прислонил маску к стене и, отойдя на несколько шагов, стал рассматривать ее сквозь сложенные трубкой ладони. Я не ощутил радости завершения работы, скорее испытывал чувство, похожее на печаль, оттого, что это чужое лицо постепенно завладеет мной.

Наверно, это от переутомления, подбадривал я себя. Ведь так у меня всегда бывало, когда я заканчивал большую работу. Радость завершения испытывают только те, кто не несет никакой ответственности за результат работы. Может быть, я еще бессознательно испытывал воздействие предвзятости, касающейся лица. Сколько бы я ни боролся против обожествления лица, не было никакой гарантии, что в глубине сознания не останутся корни этого зла. Так люди, даже не верящие в привидения, все равно боятся темноты.

Тогда я решил любыми средствами загнать себя в работу. Чтобы окончательно решить, что же представляет собой маска, попробую надеть ее. Сначала я освободил маску под ушами, оттянул у подбородка, снял с губ, вытащил трубки из ноздрей и содрал ее со слепка. Она повисла мягким мешочком для сухого льда. Потом в обратном порядке натянул ее на лицо. Технических ошибок как будто не было. Как вещь, уже долго бывшая в носке, она точно пришлась к лицу — стоявший в горле комок глотком провалился вниз.

Глянул в зеркало. На меня холодно смотрел незнакомый человек. Как я и ожидал, нет ни черточки, которая бы напоминала меня. Полное перевоплощение. И цвет, и эластичность, и полное ощущение вещественности кожи — в общем, можно говорить об успехе. Но почему же тогда оно такое безжизненное? Может быть, зеркало плохое... Или свет падает как-то неестественно... Я рывком открыл ставни и впустил в комнату солнце.

Острые осколки лучей, вибрируя, как щупальца насекомых, проникли во все уголки маски. Отчетливо всплыли на

поверхности поры, мелкие повреждения, даже разветвления мельчайших вен. И нигде невозможно было усмотреть дефекта. Но где же тогда причина ощущения неудовлетворенности? Уж не в том ли, что маска неподвижна и поэтому лишена выражения? Нечто напоминающее неприятное до ужаса лицо покойника, нарумяненное под живое. Попробовать разве подвигать каким-нибудь мускулом? Поскольку я еще не приготовил специального состава, чтобы приклеивать маску к лицу — я собирался использовать что-нибудь вроде клея для липкого пластыря, но менее концентрированного, — то точно воспроизвести маской движения мускулов не смогу, видимо, единственное, что мне удастся, — сделать это только в районе носа и рта, где маска прилегает к лицу сравнительно плотно.

Прежде всего напряг углы рта и попробовал слегка растянуть их вправо и влево. Прекрасно. Не зря я так внимательно отнесся к доставившей мне столько хлопот анатомической проблеме — накладывал слой за слоем материал, имеющий определенную направленность волокон. Воодушевившись, я решил теперь попробовать улыбнуться по-настоящему. Но маска не хотела улыбаться. Только чуть искривилась. И так странно искривилась, что я даже подумал, не искривилось ли само зеркало. Сейчас в ней ощущалась смерть гораздо сильнее, чем когда она была неподвижной. Я растерялся, мне показалось, что ниточка, связывающая мои внутренности, оборвалась, и в груди стало пусто.

...Но я не хочу быть неправильно понятым. У меня ведь и в мыслях не было становиться в трагическую позу, спекулировать своими горестями. Хорошо ли, плохо ли, но это была маска, которую я сам себе выбрал. Лицо, к которому я наконец пришел после многомесячных экспериментов. Если я недоволен, то лучше самому и переделать по своему усмотрению. Но если вопрос не в том, хорошо или плохо она сделана, что же мне тогда предпринять? Смогу ли я потом безропотно



признать, что это мое лицо, и безоговорочно принять его? И тогда я почувствовал, что эта опустошенность, от которой я совсем пал духом, была вызвана не столько растерянностью перед новым лицом, сколько безысходностью исчезновения, будто я увидел, как мой собственный образ укрывается от меня под шапкой-невидимкой. А если так, удастся ли мне осуществить дальнейшие планы?

Выражения лица напоминают годичные кольца, прочерченные жизнью, и, может быть, напрасно я сразу же попытался засмеяться. Жизненные обстоятельства вызывают повторение тех или иных выражений лица, и они застывают, например, в виде морщин, в виде складок. Постоянно улыбающееся лицо привыкает к естественной улыбке. И наоборот, сердитое лицо привыкает к сердитому выражению. Но на моей маске, как на лице новорожденного, не запечатлелось ни одного годичного кольца. Как бы ни улыбался ребенок, надев лицо сорокалетнего, он будет похож на оборотня. Конечно! Обязательно! Поэтому первое, что я включу в план после того, как укроюсь в своем убежище, — приучить маску к морщинам. Если мне это удастся, маска станет мне родной и удобной. Я, в общем, с самого начала предполагал нечто подобное, и поэтому сейчас не было никаких оснований для отчаяния. Так, ловко подменив один вопрос другим, я не только не обратил внимания на уколы совести, но, наоборот, постепенно увязал все глубже и глубже.

* * *

Ну вот, как будто я и подошел к убежищу в доме S., с которого начал свои записки. Где же это я уклонился в сторону?.. Да, конечно, когда остался один и начал разматывать бинты... Ну что ж, продолжу теперь с того самого места.

Первое, чем я должен был заняться в своем убежище, — это, конечно, приучить маску к морщинам. Никаких особых

приспособлений не требовалось — это была огромная, кропотливая работа, для которой нужно было собрать всю свою волю, выдержку, внимательность.

Сначала я нанес на лицо клейкий состав. Маску следовало надевать с носа. Я плотно вставил в ноздри трубки, прикрепил к деснам загубники маски, затем, легонько похлопывая, плотно прижал ее к носу, щекам и подбородку, внимательно следя за тем, чтобы нигде не было складок. Подождав, пока маска пристанет к лицу, я стал прогревать ее инфракрасной лампой и, поддерживая определенную температуру, повторял одно и то же мимическое движение. Материал, из которого была сделана маска, имел такое свойство, что, когда он нагревался выше определенной температуры, эластичность его резко снижалась, и поэтому в направлении, заранее приданном материалу, то есть вдоль линий Лангера, естественно образовывались морщины, соответствующие тому или иному выражению лица.

Содержание и распределение выражений лица в процентах могут быть представлены следующим образом:

	%
заинтересованность	16
любопытство	7
согласие	10
удовлетворение	12
смех	13
отрицание	6
недовольство	7
отвращение	6
сомнение	5
недоумение	6
озабоченность	3
гнев	9

Я не считал, конечно, что можно удовлетвориться, разложив такое сложное и деликатное явление, как выражение лица, только на эти основные элементы. Но если смешивать их на палитре в разных комбинациях, удастся получить любые оттенки. Как ты понимаешь, проценты указывают на частоту того или иного выражения лица. Короче говоря, я вообразил себе человека такого типа, у которого выражение эмоций протекает примерно в такой пропорции. Конечно, если бы меня спросили, что принято мной за критерий, я затруднился бы сразу ответить. Просто я поставил себя в положение соблазнителя и, представив себе сцену, в которой я стою перед тобой, символизирующей других людей, взвешивал одно выражение лица за другим. Как дурак, я все снова и снова то плакал, то смеялся, то злился, и так до утра. Поэтому на следующий день я проснулся только под вечер. Щели в ставнях пропускали лучи света, будто проходившие сквозь красное стекло. Кажется, пошел долгожданный дождь. Но настроение нисколько не улучшилось, усталость, терпкая, как настоявшийся чай, сковала все тело. Особенно жгло и болело в висках. И не случайно. Больше десяти часов я непрерывно двигал мимическими мускулами.

Нужно еще сказать, что я не просто двигал мимическими мускулами, а до предела напрягал нервы — когда смеялся, то смеялся по-настоящему, когда злился, то злился по-настоящему.

Дело в том, что, пока я это делал, даже самое незначительное выражение должно было глубоко врезаться в поверхность моего нового лица, как герб, не терпящий никаких исправлений. И если бы я все время фальшиво улыбался, на моей маске навсегда сохранилась бы печать лица, способного лишь на искусственную улыбку. Поэтому, какими бы моментальными ни были отпечатки, я не мог не относиться к ним со всей серьезностью, поскольку они будут запечатлены маской как история моей жизни.

Я приготовил горячее полотенце и промассировал лицо. Пар проник в кожу. Она воспалилась оттого, что инфракрасной лампой я стимулировал потовые железы, а клейким составом забил поры. Это, несомненно, плохо повлияло и на келоиды. Но ничего более страшного, чем то, что уже случилось, произойти не могло, и вряд ли стоило проявлять излишнее беспокойство. Мертвому безразлично, кремируют его или погребут.

В течение трех дней я повторял одно и то же в одном и том же порядке. То, что нужно было исправить, я исправил, все пришло в норму, и на третий день я решил сделать попытку поужинать в маске. Когда-нибудь я должен буду столкнуться с такой необходимостью, и поэтому нет ничего лучше, как испытать сейчас все на практике. Так создам же я условия самые что ни на есть натуральные. После того как клейкий состав достаточно застыл, я взъерошил волосы и прикрыл ими края маски, надел очки с затемненными стеклами, чтобы граница маски вокруг век не бросалась в глаза, и вообще сделал все приготовления, будто собирался выйти из дому.

Преодолевая искушение заглянуть в висевшее напротив меня зеркало, я поставил на стол оставшиеся от вчерашнего ужина консервы и хлеб и, представляя себя в ресторане или еще в каком-нибудь зале, где я ем вместе со множеством людей, медленно поднял голову и взглянул в зеркало.

Тот тоже, конечно, поднял голову и посмотрел на меня. Потом, в такт движению моего рта, начал жевать хлеб. Когда я ел суп, он тоже его ел. Наше дыхание совпадало, и это выглядело очень естественно. Чужие губы и притупившиеся нервы не позволяли по-настоящему почувствовать вкус пищи, мешали жевать, но если привыкнуть, можно об этом забыть, как забывают о вставных зубах. Только вот из углов рта стекали капли слюны и соуса, и я понял, что за этим нужно все время следить.

Вдруг он поднялся и подозрительно уставился на меня. В этот миг меня охватило чувство какой-то удивительной гармонии — возбуждения, смешанного с умиротворенностью. Появилась острота восприятия, я испытал опьянение, будто принял слишком большую дозу снотворного и оно сразу начало действовать. Может быть, моя скорлупа где-то треснула? Некоторое время мы смотрели друг на друга — он улыбнулся первым, я улыбнулся в ответ, а потом, не встретив никакого сопротивления, впился взглядом в его лицо. Мы мгновенно слились, и я стал им. Не думаю, чтобы это лицо мне особенно нравилось, но вместе с тем не похоже, чтобы и не нравилось, — во всяком случае, теперь я стал чувствовать, мыслить этим лицом. Все шло настолько хорошо, что даже я сам, прекрасно знавший о своей подделке, сомневался, существовала ли подобная подделка на самом деле.

Действительно, очень уж все гладко. Не исключено, что потом возникнут побочные явления оттого, что залпом хлебнул слишком много? Я отошел назад на пять-шесть шагов и прищурился. Уловив момент, когда я выглядел особенно неприятным, широко открыл глаза. Но лицо по-прежнему, с постоянством камертона продолжало излучать все ту же улыбку. Вроде бы никакой ошибки. Как ни считай, я, кажется, помолодел не меньше чем лет на пять.

Что ж тогда так беспокоило меня до вчерашнего дня? Может быть, и резонерствовал я, будто не нужно особенно стесняться, будто кожа лица не имеет никакого отношения к характеру человека, только потому, что сам был скован предубеждением? По сравнению с обиталищем пиявок или маской из бинтов теперешняя маска из синтетической смолы гораздо больше похожа на живое лицо. Если первая — декоративная дверь, нарисованная на стене, то эту можно сравнить с широко распахнутой дверью, через которую льется солнечное тепло.



Чьи-то шаги, которые, казалось, я слышу уже давно, становились все громче, приближались. И когда они приблизились ко мне вплотную, оказалось, что это мое сердце. Открытая дверь торопит меня.

Решено, выхожу! Через новое чужое лицо выхожу в мир новых чужих людей!

* * *

Сердце учащенно билось. В душе моей боролись надежда и тревога, как у ребенка, которому впервые разрешили одному ехать в поезде. Благодаря маске все, конечно, изменится. Не только я — мир и тот предстанет в совершенно новом одеянии. И унижительный стыд стал вскоре тонуть в водовороте надежд.

Постскриптум. Думаю, что должен признаться: в тот день я принял большую дозу снотворного. Нет, не только в тот день. С некоторых пор я делал это регулярно. Но не для того, как это может показаться, чтобы парализовать тревогу. Цель была скорее иная: снять ненужное раздражение и сохранить рационализм. Как я неоднократно повторял, моя маска должна была прежде всего означать борьбу с предвзятым мнением относительно лица. Я должен был все время помнить о маске, будто управлял сложнейшей машиной.

И еще одно... Когда я принимал, смешав в нужной пропорции, снотворное и успокоительное, то через несколько минут после того, как начинало действовать лекарство, наступало удивительное безмятежно-спокойное состояние, будто я смотрел внутрь самого себя в телескоп. Я невольно избегал писать об этом, так как не был убежден, что это не наркотическое опьянение, но сейчас мне кажется, испытанное мной в течение тех нескольких минут ощущение включает смысл, гораздо более глубокий, чем я предполагал. Например, нечто приближающее

меня к сущности отношений между людьми, которые объединены ложным символом, именуемым лицом...

Когда лекарство только начинало действовать, наступало состояние, будто я споткнулся о камень. Какое-то мгновение тело мое плыло в воздухе, и я испытывал легкое головокружение. Потом ноздри начинал щекотать запах скошенной травы и сердце вырывалось в далекие просторы. Нет, я выражаюсь, пожалуй, не совсем точно. Неожиданно поток времени приостанавливался, я терял направление, выплывал из потока. Выплывал не только я — все, кто летел вместе со мной, рвали существовавшие прежде связи и рассыпались в разные стороны. Вырвавшись из потока, я испытывал чувство освобождения, становился необыкновенно великодушным и, соглашаясь со всем, повторял странное, поспешно сделанное заключение, что мое лицо точь-в-точь как твое — тоже напоминает лицо Бодисатвы. Время, когда я был абсолютно безразличен к тому, что именуется лицом, длилось минут семь-восемь.

Похоже, что, когда поток времени на секунду замирал, я преодолевал не только свои скопища пиявок, но и само лицо и оказывался на другой стороне. Видимо, и в те минуты, когда я, отбросив сомнения, проникал сквозь окно, именуемое лицом, в человеческие отношения, передо мной, пусть на мгновения, мелькала свобода, существование которой я не мог себе даже представить. Видимо, я неожиданно для себя сталкивался со страшной действительностью: все люди закрывают окно души маской из плоти и прячут обитающие под ней пиявки. Может быть, благодаря потере лица я смог подойти вплотную к другому, настоящему, а не нарисованному на окне миру... Тогда испытываемое мной чувство освобождения — правда. Тогда оно — не временный обман, приносимый наркотиками.

И потом... как это ни неприятно... моя маска легко сможет скрыть правду. Если вдуматься, не исключено, что в этом как раз и была причина того, что я стыдился своей маски. Но маска

уже прикрыла мое лицо. К тому же почти двойная доза лекарства начала оказывать свое действие, заставляя забыть о свободе, которую дает отсутствие лица. Я говорил самому себе: пусть в мире сказки, но ведь гадкий утенок получил все-таки право превратиться в белого лебедя.

Чтобы превратиться в совершенно другого человека, нужно было, естественно, начать с одежды. Но, к сожалению, к этому я еще не подготовился, и потом в тот вечер мне нужно было только достичь душевного равновесия, поэтому я и решил просто накинуть куртку и выйти из дому. Маска была совершенно готова, ничем не отличалась от лица, и можно было не опасаться, что она покажется подозрительной.

Лестница черного хода скрипела, и было очень странно, что я, казалось, летевший на крыльях, столько весил. К счастью, я не встретил никого, пока добирался до улицы. Но, завернув за угол, я столкнулся лицом к лицу с соседкой, которая несла сумку с покупками. Я остановился как вкопанный, буквально закрипел зубами от досады, а соседка лишь мельком взглянула на меня и как ни в чем не бывало пошла своей дорогой. Это хорошо. Итак, ничего не случилось. Разве это не самое лучшее алиби?

Я пошел дальше. Поскольку у меня была одна цель — привыкнуть к маске, мне было все равно куда идти. В самом деле, просто идти и то уже немалая работа. Вопреки ожиданиям колени не сгибались, будто кончилась смазка, дыхание перехватило. От стыда, хотя маска и не могла краснеть, от страха, что все узнают правду, я весь сжался и дрожал, вид у меня был самый жалкий. Но если чужой взор и сможет проникнуть сквозь маску, то, скорее всего, из-за моей скованности. Когда ведешь себя как подозреваемый, тебя и будут подозревать. Ведь я всего лишь пытался немного изменить рисунок на обертке. Хотя бы не осуждали меня. Но если не обманет то, что у меня внутри, окружающих нечего бояться.

Пока я так рассуждал, мой энтузиазм куда-то испарился, силы предавали чувства, так же как чувства предавали силы, и у меня все больше опускались руки. Так прошло три часа. Если попадалась слишком освещенная витрина, я переходил дорогу, делая вид, что меня привлек магазин на противоположной стороне... если улицу заливал яркий неоновый свет, я выбирал темные переулки, будто в поисках приключений... если, подходя к остановке, видел приближающийся трамвай или автобус, то сознательно ускорял шаг, избегая соблазна сесть в него... или же, наоборот, нарочно шел медленнее, пропуская его вперед... и в конце концов я устал от самого себя. Сколько бы дней я так ни ходил, все равно по-настоящему не привыкну к маске.

Мне встретила табачная лавчонка, прилепившаяся вплотную к кондитерскому магазину. И я решил пойти на рискованную авантюру. Авантюра — слишком сильно сказано, просто решил зайти и купить сигарет. Не успел я подойти к лавке, как у меня бешено заколотилось сердце. Внутри что-то прорвалось, и полились слезы. Маска сразу же отяжелела и, казалось, начала сползать. Ноги дрожали, точно я спускался в бездонную пропасть, держась за тоненькую веревку. Ради какой-то пачки сигарет я отдал столько сил, будто схватился с чудовищем.

Но, не знаю почему, стоило мне встретиться взглядом с продавщицей, подошедшей ко мне с безразличным видом, как меня точно подменили, я вдруг осмелел. Может быть, потому, что она обратила на меня не больше внимания, чем на обычного покупателя, или, может быть, потому, что пачка сигарет, точно мертвая пичужка, невесомо лежала у меня на ладони? Нет, причина была скорее в той перемене, которую принесла с собой маска. До тех пор пока я воображал обращенные на себя чужие взгляды, я боялся своей собственной тени, но стоило мне встретиться с настоящим взглядом, как

я точно увидел свой истинный облик. В моем представлении маска, может быть, выставляла меня напоказ, но в действительности она была непрозрачным прикрытием, прятавшим меня. Под ней пульсировали кровеносные сосуды, потовые железы выделяли пот, а на поверхности ее не было ни капли.

В конце концов я избавился от страха покраснеть, но к тому времени был уже окончательно измотан. У меня не было сил идти дальше, я взял такси и вернулся прямо в свое убежище. Я пришел в уныние при мысли, что единственной компенсацией за все мои мучения была лишь пачка сигарет, но, если принять в расчет, что я осознал себя в маске, сделка представлялась вполне выгодной. В подтверждение этому, когда я, вернувшись в свою комнату, снял маску, смыл клейкий состав и посмотрел на свое лицо, безобразные скопища пиявок почему-то не показались мне такими уж реальными. Маска стала настолько же реальной, насколько реальными были пиявки, и если считать маску временным обликом, то временным же обликом были и пиявки. В общем, маска, казалось, спокойно укоренялась в моем лице.

На следующий день я решил смело расширить сферу своих опытов. Прежде всего, как только встал, позвал управляющего и сказал, что если соседняя квартира еще свободна, то хотел бы снять ее для «младшего брата». Этим «младшим братом» был, конечно, еще один я — в маске.

К сожалению, я опоздал — комната была сдана днем раньше.

* * *

Но это не могло заставить меня изменить свои планы. Больше того, я воспользовался этим случаем, чтобы рассказать о существовании «младшего брата» — для меня было очень важно, чтобы мой собеседник твердо это усвоил.



— Брат живет в очень неудобном пригороде, да к тому же работать ему приходится в разные часы, и поэтому он очень хочет иметь квартиру, в которой мог бы время от времени отдыхать. Но если она сдана, ничего не поделаешь. Условия жизни у нас примерно одинаковые, мы не особенно привередливы, так что проживем вместе.

Потом я сразу же предложил увеличить квартирную плату на тридцать процентов. Управляющий сделал вид, что смущен, очень смущен, безмерно смущен, но на самом деле никакого

смущения он не испытывал. В конце концов для «младшего брата» мне удалось даже получить дополнительный ключ.

Часов в десять я надел маску и вышел из дому. Мне нужно было подобрать одежду к маске, дополненной очками и бородой. Выйдя из дому, я некоторое время не мог побороть напряжения — я впервые оказался на улице среди бела дня... Не знаю из-за чего — то ли волоски на маске, за ночь превратившись в живые, начали расти?.. то ли из-за слишком большой дозы успокоительного?.. — но так или иначе, ожидая автобуса, я уже спокойно дымил сигаретой.

Но по-настоящему я осознал, насколько жизнеспособна и своенравна маска, когда пришел в универсальный магазин, чтобы купить костюм. Хотя наиболее подходящим для очков и бороды было бы что-нибудь броское, я тем не менее выбрал строгий пиджак с узкими бортами, на трех пуговицах. Мне просто не верилось, что я способен на такое. Во-первых, сам факт, что я, как оказалось, разбираюсь в моде, был выше моего понимания. Мало того, я специально зашел в ювелирный отдел и купил кольцо. Выходило, что маска игнорирует мои желания и начинает сама ходить куда ей вздумается. Меня это, правда, не особенно беспокоило, но порядком удивило. Хотя в этом не было ничего смешного, приливы смеха следовали один за другим, будто меня щекотали, и я, слившись с этим смехом, впал в игривое настроение.

Выйдя из универсама, может быть, по инерции я решил предпринять еще одну небольшую авантюру. Да нет, ничего серьезного, всего лишь зайти в маленький корейский ресторан, находившийся в узком переулке вдали от ярких центральных улиц. Я уже давно не ел как следует, и голод давал о себе знать, да к тому же жареное мясо, такое вкусное, всегда было самой любимой моей едой. Но разве только поэтому? Разве жареное мясо было единственным побуждением, заставившим меня пойти туда?

В какой мере я действовал сознательно — это другой вопрос. Но было бы ложью говорить, что выбор именно корейского ресторана ни на чем не основывался. Я совершенно явно принимал в расчет, что это корейский ресторан и там будет много корейцев. Я бессознательно надеялся, конечно, на то, что, если в моей маске и есть еще какие-то изъяны, корейцы, наверно, ничего не заметят, к тому же мне казалось, что общаться с ними мне будет проще. А может быть, я находил сходство между собой, лишившимся лица, и корейцами, часто становившимися жертвой расовых предрассудков, и невольно проникся к ним дружескими чувствами. Сам я, конечно, вовсе не испытывал предубеждения против корейцев. Прежде всего, человек без лица просто не вправе иметь предубеждения. Правда расовые предрассудки, несомненно, существуют как универсальное явление, поскольку выходят за рамки индивидуальных склонностей и бросают тень на историю и народы. Поэтому, во всяком случае субъективно, тот факт, что я искал убежище среди этих людей, был не чем иным, как перелицованным предрассудком, но...

Вился вверх голубой дымок. Шумел допотопный вентилятор. Посетителей трое, и, к счастью, все трое как будто корейцы. Двоих на первый взгляд не отличить от японцев, но их беглый разговор по-корейски неопровержимо свидетельствовал, что они настоящие корейцы. Хотя был еще только полдень, они уже опорожнили целую батарею пивных бутылок, что еще больше разожгло их и без того экспансивную манеру разговаривать.

Я слегка прикоснулся к маске у щек, чтобы проверить, все ли в порядке, и сразу же заразился их весельем. Или скорее, может быть, стремился опьянить себя возможностью, доступной обыкновенному человеку, — если я этого захочу, то легко могу сделать. Может быть, психологически это объяснялось тем же, что и неодолимое желание нищих поговорить

о своих богатых родственниках — таких можно часто встретить в романах. Но так или иначе, присев к колченогому столу и заказав жареное мясо, я явственно ощутил себя чуть ли не киногероем.

По стене сновал таракан. Свернув газету, забытую кем-то на столе, я смахнул его на пол. Потом стал рассеянно читать заголовки — обычные объявления: «Требуется», «Сегодня в кино, мюзик-холлах, увеселительных заведениях»... Соединение всех этих иероглифов странным образом распалило мое воображение. Между рекламными колонками начал разворачиваться ландшафт, полный загадок и намеков, а непрерывная болтовня трех корейцев служила идеальным аккомпанементом моему воображению.

На столе стояла пепельница, к которой было прикреплено специальное устройство для предсказания судьбы. Если в него опустить десятииеновую монету и нажать кнопку, из отверстия внизу выскакивает свернутая бумажка величиной со спичку. Моя маска пришла, казалось, в такое бесшабашно-веселое настроение, что решила тоже попытать счастья. Я развернул бумажку — моя судьба была определена так:

«Небольшая удача: жди и дождешься. Если увидишь человека с родинкой под глазом, иди на запад».

Я уже готов был рассмеяться, но тут один из корейцев заговорил вдруг по-японски, повернувшись к девушке, которая принесла мой заказ, он громко сказал:

— Эй, девочка, у тебя лицо, как у корейской деревенской девчонки. Правда, точь-в-точь как у корейской деревенской девчонки.

Казалось, он не заговорил, а заорал. В испуге втянув голову в плечи, будто он издевался надо мной, я посмотрел украдкой на официантку, но она, не выказывая никакого беспокойства, поставила передо мной тарелку с мясом и, присоединяясь к громкому смеху трех приятелей, расплылась



в улыбке. Я растерялся. Может быть, в выражении «корейская девчонка» не было того плохого смысла, который мне почудился? И ведь верно, именно этот вопивший мужчина средних лет был самым неотесанным из всех троих, и, как никому другому, ему подходило определение «деревенский». Судя по их веселой болтовне, можно было догадаться, что они просто шутили над самими собой. Да к тому же совсем не исключено, что и девушка тоже была корейкой. И нет ничего удивительного, если корейцы ее возраста знают только японский язык. Тогда слова, сказанные тем корейцем, не только не должны были восприниматься как насмешка, но, наоборот, как полное доброжелательности одобрение. Да, это точно. Начать хотя бы с того, что не станет же кореец употреблять слово «корейский» в дурном смысле.

Все эти рассуждения привели к тому, что меня начала непреодолимо мучить совесть: я подло обманывал себя, делая вид, будто питаю к корейцам чувство близости. Выражаясь фигурально, моя позиция выглядела так: белый нищий обращается дружески с цветным монархом. Хотя этот предвзгляд в одинаковой мере распространялся и на них, и на меня, природа его различна. У них было право высмеивать носителей предрассудка, у меня же такого права не было. У них были друзья, с которыми они объединяли силы в борьбе с предрассудками, у меня же таких друзей не было. Если бы я серьезно решил уравниваться с ними, мне бы пришлось смело сбросить маску и выставить напоказ скопища пиявок. И, создав привидения, лишенные лиц... нет, бессмысленная гипотеза — может ли найти друзей человек, который не любит самого себя?

Воодушевление сразу же остыло, все опротивело, и мне ничего не оставалось, как уныло вернуться в свое убежище, снова испытывая проникшее во все поры чувство стыда. Но перед самым домом — неужели я так изменился? — я снова

повел себя непростительно глупо. Ничего не подозревая, я повернул за угол и неожиданно столкнулся с дочкой управляющего.

Прислонившись к стене, она неумело играла в йо-йо¹. Йо-йо был огромный, блестящий золотом. Я остановился как вкопанный. Это было уж совсем глупо. Дорожка, по которой я шел, кончалась тупиком и нужна была лишь тем, кто пользовался стоянкой автомашин за домом или черной лестницей. До тех пор пока я сам не представлюсь семье управляющего как «младший брат», в маске ходить с черного хода не следовало. Правда, поскольку дом только что построен и почти все жильцы новые, переехали вчера, а может быть, даже сегодня, было бы лучше всего, наверно, если бы я прошел как ни в чем не бывало... Я сделал попытку приосаниться, но было уже поздно... девочка заметила мою растерянность. Как же выйти из этого положения?

— В той квартире, — я понимал, насколько бездарно мое объяснение, но был не в силах придумать ничего более подходящего, — там живет мой брат... Он сейчас у себя? У него все лицо вот так обмотано бинтами... Ты его, наверно, знаешь?

Но девочка только чуть-чуть шевельнулась, ничего не отвечая и не изменив выражения лица. Мне все больше становилось не по себе. Уж не заметила ли она чего-нибудь? Нет, не должна бы... Если верить словам ее отца — управляющего — то, хоть на вид она почти девушка, но в умственном развитии отстает от сверстников: с трудом учится в начальной школе. Когда она была совсем маленькой, простуда осложнилась менингитом, и окончательно она так и не поправилась. Слабый,

¹ Йо-йо — игрушка, представляющая собой два полушария, между которыми пропущена нитка, по которой полушария движутся вверх и вниз.

как крылышки насекомого, рот... детский безвольный подбородок... узкие, покатые плечи... и контрастирующий с ними тонкий, как у взрослой, нос... большие, овальные, ничего не выражающие глаза... видимо, я не ошибся, сразу подумав, что она слабоумная.

Но что-то в молчании девочки вызвало чувство неловкости, которое не позволяло просто пройти мимо. Чтобы заставить ее заговорить, я сказал первое, что пришло в голову:

— Прекрасный йо-йо. Здорово, наверно, подпрыгивает.

Девочка задрожала от испуга и, спрятав игрушку за спину, ответила вызывающе:

— Мой, я не вру!

Я едва не рассмеялся. Успокоившись, я вдруг захотел чуть-чуть подразнить ее. Отплатить ей за то, что она заставила меня пережить неприятные минуты, наказать за то, что она подняла крик, в первый раз увидев обмотанное бинтами лицо. Хотя девочка была умственно отсталая, но обладала привлекательностью эльфа. Если все пойдет как нужно, разговор с ней поможет, пусть хоть немного, восстановить пошатнувшийся авторитет маски.

— Правда? А где доказательства, что ты не врешь?

— Зря вы мне не верите. Ведь я ничего плохого не делаю.

— Ладно, верю. Но мне кажется, на йо-йо чье-то другое имя написано.

— Да в этом нет ничего такого. Давным-давно одна кошечка сказала... похожая на нашу, не пестрая, а такая, совсем-совсем белая кошечка...

— Ты мне ее покажешь?

— Я очень крепко храню секреты.

— Секреты?..

— Давным-давно одна кошечка сказала. Мыши хотят надеть на меня колокольчик, что же мне делать?..

— Ну ладно, хочешь, дядюшка купит тебе точно такой же?



Я испытывал удовлетворение от одного того, что могу вот так спокойно беседовать, но результаты заигрывания значительно превосходили все мои ожидания.

Девочка терлась спиной о стену и некоторое время, казалось, сосредоточенно взвешивала смысл моих слов. Потом, подозрительно посмотрев на меня исподлобья, спросила:

— Тайком от папы?

— Конечно, тайком.

Я невольно рассмеялся (да ведь я смеюсь!) и, сознавая эффект смеющейся маски, засмеялся еще громче. Наконец девочка как будто согласилась на мое предложение. Она расслабила напрягшуюся спину и оттопырила нижнюю губу.

— Хо-ро-шо... хо-ро-шо, — пропела она несколько раз и грустно протирая золотой йо-йо полую кофты. — Если вправду купите, я этот отдам... но правда, правда я не украла потихоньку... мне его когда еще обещали... Но я отдам... вот прямо сейчас пойду и отдам... А мне нравится, кто бы что ни подарил, мне это очень нравится...

Продолжая прижиматься к стене, она бочком, бочком кралась мимо меня. Дети есть дети... я совсем уже успокоился, но, поравнявшись со мной, она прошептала:

— Играем в секреты!

«Играем в секреты»? Что это значит? А, нечего обращать внимание. Разве способна эта недоразвитая девочка на такие сложные хитрости? Легче всего было отнести это на счет ее скудного умишка, но ведь собака со скудным умишком в качестве компенсации имеет острый нюх... Сам факт, что я беспокоился по этому поводу, служил доказательством того, что моя уверенность снова поколебалась.

В общем, осадок был очень неприятный. Только лицо мое стало совершенно новым, а память и привычки остались прежними — все равно что черпать воду ковшом без дна. Поскольку я надел на лицо маску, мне нужна была такая, которая бы

отвечала ритму моего сердца. Мне бы хотелось в своем лице-действе достигнуть такого совершенства, чтобы меня не могли разоблачить даже с помощью детектора лжи...

* * *

Я снял маску. Напитанный потом клейкий состав пахнул как перезрелый виноград. И в эту минуту невыносимая усталость хлынула вверх, как из засоренной канализации, и вязким дегтем стала застаиваться в суставах. Но все зависит от восприятия — как первую попытку ее совсем нельзя назвать неудачной. Муки, связанные с рождением ребенка, — и то не шутка. А здесь сформировавшийся взрослый человек собирается переродиться в совершенно другого — не должен ли я те или иные шероховатости, неудачи считать естественными? Не должен ли я скорее радоваться, что не был смертельно ранен?

Вытерев маску изнутри, я снова натянул ее на слепок, вымыл и намазал кремом. Чтобы дать коже немного отдохнуть, прилег на кровать. Наверно, это была реакция на слишком длительное напряжение: хотя солнце еще не зашло, я заснул крепким сном. И проснулся, когда уже занимался рассвет.

Дождя не было, но сквозь густой, мокрый туман торговый квартал, за которым была широкая проезжая улица, выглядел темневшим вдали лесом. Бледное небо, тоже, наверно, из-за тумана, приняло розоватый оттенок. Распахнув окно, я полной грудью вдохнул воздух, тугой, как морской ветер, и эти минуты, созданные для тех, кто прячется, минуты, когда совсем не нужно беспокоиться о посторонних взглядах, эти минуты представлялись мне прекрасными, созданными специально для меня. Не выявляется ли истинный облик человека именно вот в таком тумане? И настоящее лицо, и маска, и обиталище пиявок — все эти фальшивые наряды просвечиваются

насквозь, будто радиоактивными лучами... их истинное содержание, их суть раскрываются во всей своей наготы... и душу человека, как персик с ободранной кожицей, можно попробовать на вкус. За это, конечно, нужно заплатить одиночеством. Но не все ли равно? Как знать, может быть, имеющие лицо не менее одиноки, чем я. Какую бы вывеску я ни повесил на своем лице, незачем поселять внутри себя человека, потерпевшего кораблекрушение.

Одиночество, поскольку я бежал его, было адом, а для тех, кто жаждет одиночества, оно благо. Ну а если отказаться от роли героя слезливой драмы и добровольно пойти в отшельники? Раз уж на моем лице оттиснуто клеймо одиночества, нелепо не извлечь из этого выгоды. К счастью, у меня есть бог — высокомолекулярная химия, есть молитва — реология, есть храм — лаборатория и совсем отсутствует боязнь, что одиночество помешает моей повседневной работе. Наоборот, разве оно не гарантирует, что каждый мой день будет более простым, более правильным, более мирным и к тому же более содержательным, чем прежде?

Я смотрел на розовеющее небо, и на душе становилось все светлее. Правда, если вспомнить о тяжелых боях, которые я до этого вел, такая смена настроений могла показаться слишком резкой, слишком неустойчивой, но, если уж выгреб в открытое море и возврата нет, роптать нет смысла. Радуюсь в душе, что есть еще возможность, пока виден берег, повернуть лодку назад, я бросил взгляд на маску, лежавшую на столе. Легко и великодушно, чистосердечно, с неподдельной готовностью я решил распрощаться с ней.

Разлитый по небу свет еще не коснулся маски. И это темное чужое лицо, безо всякого выражения смотревшее на меня, не собиралось подчиняться и, глубоко упрятав непокорность, изо всех сил противилось моему сближению с ним. Эта маска казалась мне злым духом из сказочной страны,



и неожиданно я вспомнил сказку, которую когда-то прочел или услышал.

В давние времена жил король. Однажды он заболел какой-то непонятной болезнью. Это была ужасная болезнь, от нее тело короля постепенно таяло. Ни врачи, ни лекарства не помогали. И тогда король решил издать новый закон, по которому казнь ждала каждого, кто его увидит. Закон принес пользу: хотя у короля растаял нос, не стало кистей рук, затем исчезли ноги — до колен, никто не сомневался, что король по-прежнему жив и здоров. А болезнь шла своим чередом, и король, который таял, как свеча, и не мог уже двигаться, решил наконец обратиться за помощью, но было слишком поздно — у него уже пропал рот. И вот король исчез. Но ни один из преданных ему министров не выразил сомнения в том, что король существует. Рассказывают даже, что этот исчезнувший король, поскольку он уже не мог творить зло, долгие годы слыл мудрым правителем и пользовался любовью народа.

Неожиданно я разозлился, закрыл окно и снова бросился на кровать. Ведь и двенадцати часов не прошло с тех пор, как я решил испробовать маску. Такой незначительный опыт не дает никаких оснований для столь бурного волнения. Воспользоваться сурдинкой можно когда угодно. Закрыв глаза, я начал вспоминать один за другим бессмысленные осколки видений: влажное от дождя окно, а потом — то травинка, выглядывающая из трещины в тротуаре, то пятно на стене, похожее на животное, то нарост на старом, израненном дереве, то паутина, готовая прорваться под тяжестью росы. Мой обычный обряд, когда я бывал возбужден и не мог заснуть.

Но сейчас и это не помогло. Наоборот, раздражение, не знаю почему, все разбухало и наконец стало невыносимым. Вдруг я подумал: хоть бы этот туман на улице превратился в отравляющий газ, хоть бы случилось извержение вулкана или война и мир задохнулся, а действительность рассыпалась

на куски. Специалист по искусственным органам К. рассказывал, что на войне солдаты, потерявшие лицо, лишали себя жизни. Почти всю свою молодость я провел на фронте и прекрасно знаю, что такие случаи действительно бывали. В те годы цена на лица упала. Когда смерть ближе к тебе, чем самый близкий друг, может ли тропинка, связывающая с людьми, иметь какое-либо значение? Атакующему солдату лицо ни к чему. Да, это было неповторимое время, когда забинтованное лицо казалось прекрасным.

В воображении я превратился в артиллериста, расстреливающего все, что попадалось на глаза. И в окутавшем меня пороховом дыму я наконец заснул.

* * *

Влияние солнечных лучей на психическое состояние человека поразительно. Или, может быть, я просто выспался? Когда от яркого света я повернулся на другой бок и открыл глаза, был уже одиннадцатый час, и мое сумеречное нитье испарилось начисто, как утренняя роса.

Завтра кончается срок моей вымышленной командировки. И если я собираюсь осуществить свой план, то должен непременно в течение сегодняшнего дня окончательно освоиться с маской. В приподнятом настроении я надел маску и стал одеваться. Испытывая некоторую неловкость, облачился в свою новую одежду, надел на палец кольцо и, закончив туалет, приобрел вполне элегантный вид. Невозможно было представить себе, что это тот самый человек, который в халате, залитом химикатами, с утра до ночи занимался молекулярными исследованиями. Мне захотелось выяснить, почему это невозможно себе представить, но, к сожалению, я был слишком возбужден. И не только возбужден — опьянен своим блестящим перерождением. И в какой-то точке, на два

пальца вглубь от глазного дна, непрерывно раздавался треск фейерверка, возвещавший начало чего-то... Я вел себя как щеголь, отправившийся полюбоваться празднеством.

На этот раз я решил выйти из дому через парадный ход. Поскольку я «младший брат», мне уже не нужно особенно избегать посторонних взглядов, а если повезет и я встречу с девочкой, то смогу уточнить у нее, в каком магазине продают йо-йо. Я и представить себе не мог, где покупают такие игрушки. После того как умер наш первый ребенок, а потом у тебя случился выкидыш, я совсем отошел от мира детей, может быть, умышленно избегая его... Но к сожалению, ни с девочкой, ни с управляющим я не встретился.

Никакой особой цели у меня не было, и поэтому я начал с поисков йо-йо. Не имея представления, где находятся специальные магазины игрушек, я прежде всего стал заглядывать в игрушечные секции универмагов. Может быть, из-за того, что йо-йо только что вошли в моду, в каждой секции обязательно стояли витрины с этими игрушками, которые со всех сторон, точно мухи, облепляли дети. Смешиваться с толпой в таком месте, пожалуй, не следовало с точки зрения психогигиены, и я заколебался. Но в конце концов я должен был раз и навсегда покончить с неуютной «игрой в секреты» и, решившись, стал протискиваться сквозь это мушиное царство. Но йо-йо той формы, которая мне была нужна, не попадалось. Наверно, тот йо-йо и формой и цветом отличался от тех, какие продают в универмагах. Взять, к примеру, сласти — мне они больше по душе из дешевой лавочки. Выйдя из универмага, я около часа бродил в поисках подходящего магазина, как вдруг в переулке против вокзала наткнулся на маленький магазин игрушек.

Как и следовало ожидать, он нисколько не был похож на игрушечные секции универмагов. Магазин, правда, не был таким дешевым, как лавочка детских сластей, но в нем

продавались не только дорогие вещи. Он был рассчитан, наверно, на детей постарше, которые на подаренные деньги покупают игрушки по своему вкусу, — в нем царила атмосфера невинного греха таинственности. Вернее, в нем бесстыдно спекулировали на психологии ребенка, который предпочитает подкрашенную сладкую воду из треугольного пакета фруктового соку в бутылке. Как я и предполагал, нужный мне йо-йо там тоже был. Держа в руках разделенный на две половинки шар из синтетической смолы, я с горечью улыбнулся, неожиданно подумав о его создателе, сумевшем так прекрасно выразить суть магазинчика в переулке. Все было сделано с предельной предусмотрительностью. Простота формы сочеталась с кричащей расцветкой. Если бы он не был безжалостен к своему вкусу, ему бы ни за что такого не придумать. Причем он продемонстрировал не отсутствие вкуса, а скорее сознательное насилие над своим вкусом. Это было все равно что в упоении растаптывать каблуком свой вкус, стряхнув его на землю, как насекомое. Жестоко, правда? Ничего не поделаешь, существуют и жестокие обстоятельства. Но если он избрал такой путь по своей воле, то не было ли это, наоборот, продиктовано мстительностью, чувством освобождения, будто снял одежду и остался обнаженным? Поскольку он был волен не действовать по своему вкусу, а убежать от своего вкуса...

Да, я не отрицаю: такое впечатление было вызвано и тем, что со мной случилось. Я должен идти вперед, шаг за шагом растаптывая свой вкус, если хочу создать чужое сердце, подходящее чужому лицу. Но это оказалось не таким трудным делом, как я предполагал. И, будто маска обладала способностью призывать осень, мое усталое сердце превратилось в сухой лист, готовый вот-вот упасть — стоит лишь слегка потрясти ветку. Я не особенно сентиментален, но удивился, что не почувствовал боли, хотя бы похожей на пощипывание глаз,

как от мяты, хотя бы как комариный укус. Собственное «я», видимо, не то, что о нем говорят.

Но какое же, наконец, сердце собираюсь я нарисовать на этом старом, выцветшем холсте? Не сердце ребенка, конечно, и не мое собственное. Сердце для моих завтрашних планов... хотя я и не мог бы определить его словом, которое можно понять, заглянув в словарь, ну, например, йо-йо, туристская открытка, футляр для драгоценных камней, приворотное зелье... Как программу действий я представлял себе это сердце гораздо яснее, чем карту, полученную с помощью аэрофото-съемки. Сколько раз уже повторял я намеки, заставлявшие тебя задумываться. Но сейчас, когда все закончено и можно и говорить и слушать о содержании и последствиях того, что произошло, можно буквально пощупать происшедшее, вряд ли стоит ограничиваться намеками, боясь той боли, которую я причиню, если облеку свои ощущения в слова. Я воспользуюсь представившимся случаем и расскажу все. Я как совершенно чужой для тебя человек... решил соблазнить тебя... тебя — символ чужого.

Нет, подожди... Я совсем не собирался писать об этом... Я ведь не похож на малодушного человека, который тянет время, повторяя то, что известно и так. Я хочу лишь рассказать о своем странном, неожиданном даже для меня самого поведении после покупки йо-йо.

Примерно треть магазина игрушек занимали стенды, на которых были выставлены игрушечные пистолеты. Среди них несколько, видимо, импортных и достаточно дорогих, но действительно прекрасно сделанных. Я взял один из них — немного тяжеловат и дуло залито свинцом, в остальном же был в нем и механизм подачи патронов, и курок совершенно ничем не отличался от настоящего. Я вспомнил, что мне как-то попала статья в газете, в которой говорилось, что игрушечный пистолет можно переделать и стрелять из него настоящими

пулями. Может быть, и этот такой же? Интересно, можешь ли ты представить себе меня, с увлечением рассматривающего игрушечный пистолет? Самые близкие мои товарищи по лаборатории и те вряд ли смогли бы. Да и мне самому никогда бы такая мысль не пришла в голову, не будь я свидетелем своих собственных действий.

Хозяин магазина, заворачивая йо-йо, прошептал с искаженной полуулыбкой: «Нравится? Может быть, показать, что у меня отложено?» И тогда на какое-то мгновение я начал сомневаться, я ли это. Или правильнее, пожалуй, сказать так: я растерялся оттого, что не реагировал на это так, как реагировал бы я. Растеряться и одновременно осознать это — нет ли тут противоречия? Нет, здесь виновата маска. Не обращая внимания на мое замешательство, маска согласно кивнула пугливо озирающемуся по сторонам хозяину магазина и, как бы используя возможность доказать свое существование, стала горячо договариваться о том, что было отложено.

Это был духовой пистолет «вальтер». С трех метров пробивает пятимиллиметровую доску — сильная штука, но и цена у него была порядочная — 25 тысяч иен. Как ты думаешь, что я сделал?.. Мне уступили за 23 тысячи, и я купил его. «Учтите, это ведь незаконно. Духовой пистолет — не духовое ружье, он приравнивается к настоящему. А незаконное хранение пистолета очень строго преследуется. Я серьезно прошу вас, внимательно отнеситесь к тому, что я сказал...» Но я все равно купил его.

У меня было странное состояние. Мое настоящее «я» с подлинным лицом пыталось что-то пропищать тоненьким голоском, забившись глубоко между кишками. Такого не должно было быть, но... Ведь я выбрал экстравертный агрессивный тип из единственного побуждения получить лицо охотника, пригодное для твоего соблазнителя. Теперь о другом... Я просил маску лишь об одном: помоги мне выздороветь. Я ведь ни

разу не просил: делай как тебе нравится. И вот теперь у меня этот пистолет — что же мне с ним делать?

Но маска, будто нарочно выставляя напоказ торчащий из кармана твердый сверток, смеялась над моими затруднениями, наслаждалась ими. Она, конечно, и сама не знала как следует, что ответить на вопросы моего настоящего лица. Будущее — не что иное, как производное прошлого. У маски, которая не прожила и двадцати четырех часов после своего рождения, не должно было быть плана действий на завтра. Социальное уравнивание человека — это, в сущности, математическая функция возраста, и маска, возраст которой равен нулю, ведет себя как младенец, чересчур непринужденно.

Да, этот младенец в темных очках, отражающийся в зеркале вокзального туалета, возможно, под влиянием того, что было спрятано у него в кармане, держал себя вызывающе агрессивно. И честно говоря, я не мог решить, что я должен делать — наплевать на этого младенца без возраста или опасаться его.

* * *

Ну, так что же делать?.. Но это не было «что делать» человека, в растерянности опустившего руки, а скорее полный любопытства вопрос. Во всяком случае, для маски это была первая самостоятельная прогулка, а у меня не было других планов, кроме как прогуливать ее. Прежде всего я хотел приучить ее к людям, но, подготовившись крайне неумело, все испортил и вынужден был, утешая, вести ее за руку. Однако после того, что случилось в магазине игрушек, хозяин и гость поменялись местами. О том, чтобы вести ее за руку, не могло быть и речи — ошеломленный, я был способен лишь на то, чтобы слепо следовать за этим изголодавшимся духом, напоминавшим преступника, только что выпущенного на свободу.

Ну, так что же делать?.. Пока я слегка поглаживал пальцами бороду (может быть, это была реакция на бинты, обматывавшие раньше мое лицо), маска демонстративно принимала самые различные выражения, как охотник, жаждущий удачи: готовность, презрение, вопрос, алчность, вызов, внимание, желание, уверенность, стремление, любопытство... В общем, все возможные выражения, каждое в отдельности и в различных вариациях, какие только мыслимо представить себе в подобном случае, — она вынюхивала эти выражения, точно сорвавшаяся с привязи и сбежавшая от хозяина собака. Это было знаком того, что маска начинает спокойно относиться к реакции посторонних, и я не могу отрицать, что в какой-то степени — пусть дурачит других — испытывал даже удовлетворение от ее действий.

Но в то же время меня охватило страшное беспокойство. Как бы она ни отличалась от моего настоящего лица, я — это я. Я не был ни загипнотизирован, ни опьянен наркотиками, и за все, что совершит маска — например, за то, что в кармане спрятан духовой пистолет, — ответственность должен нести я, и никто иной. Характер маски совсем не случаен, он ничем не напоминал кролика, выскочившего из шляпы фокусника, — нет, он был частью меня самого, появившейся не по моей воле, а благодаря тому, что стража моего настоящего лица прочно прикрыла все входы и выходы. Теоретически понимая, что все это именно так, я не мог представить себе ее характера целиком, будто потерял память. Попробуй представить себе мое раздражение, когда существует лишь абстрактное «я», и мне не под силу вдохнуть в него желаемое содержание. Я был вконец расстроен и решил неприметно нажать на тормоза.

«Провал того, тридцать второго эксперимента: опыты были проведены плохо или же изъян оказался в самой гипотезе?»

Я решил избрать темой этот важный для лаборатории вопрос и попытаться вспомнить занятую мной позицию.

Я высказал предположение, что в некоторых высокомолекулярных соединениях существует выражающаяся функционально зависимость между изменением коэффициента упругости под действием давления и изменениями под действием температуры, и получил весьма обнадеживающие результаты, но последний, тридцать второй эксперимент опрокинул все мои ожидания, и я оказался в весьма тяжелом положении.

Однако маска только досадливо нахмурила брови. С одной стороны, мне показалось это естественным, но вместе с тем я почувствовал укол самолюбия...

Заметки на полях. Собственно говоря, маска не более чем средство для моего выздоровления. Представь себе, что ты сдала комнату, а у тебя отняли весь дом — у любого самолюбие разыграет.

...И тогда я взорвался.

«Что же тебе, наконец, нужно? Стоит мне захотеть, и я в любую минуту сорву тебя!»

Но маска хладнокровно, беззаботно парировала:

«Видишь ли, я ведь никто. До сих пор мне пришлось отдать немало сил, чтобы быть кем-то, и теперь я непременно воспользуюсь этим случаем, я хочу отказаться от жалкого жребия стать кем-то иным. А ты сам? Разве, честно говоря, ты хочешь меня сделать кем-то иным? Да, по-моему, и не сможешь, так что давай оставим все как есть. Согласен? Взгляни-ка! Не выходной день, а такая толчея... толчея возникает не потому, что скапливаются люди, а люди скапливаются потому, что возникает толчея. Я не вру. Студенты, длинноволосые, точно хулиганы, целомудренные жены, накрашенные, точно известные своим распутством актрисы, замызганные девицы в модных платьях, тощие, точно манекены... Пусть это несбыточная мечта, но они вливаются в толчею, чтобы стать никем. Или, может быть, ты собираешься утверждать, что только мы с тобой другие?»



Мне нечего было ответить. Ответа и не могло быть. Ведь это были утверждения маски, а их она придумывала моей головой. (Ты сейчас, наверно, смеешься? Нет, ждать этого — значило бы желать слишком многого. Горькая шутка совсем не для того, чтобы рассмешить. Я был бы вполне удовлетворен, если бы ты признала, что в моих словах содержится хоть частица здравого смысла, но...)

Я оказался припертым к стене или под предлогом, что оказался припертым к стене, перестал сопротивляться и разрешил маске делать все, что она захочет. И тогда маска, хотя и была никем, придумала неожиданно разумный план, ничуть не менее дерзкий, чем случай с пистолетом. Он заключался в том, чтобы после обеда пойти к нашему дому и посмотреть, что там происходит. Нет, не что происходит в нашем доме, а что происходит во мне самом. Попытаюсь заглянуть домой, чтобы установить, насколько смогу я противиться роли соблазнителя, исполнение которой намечено на завтра. В глубине души я еще на что-то надеялся, но облечь эти надежды в слова никак не мог и с готовностью согласился подчиниться маске.

Постскриптум. Не собираюсь зарабатывать хорошую отметку, но, думается, я был слишком добр. Я напоминал человека, который, признавая гелиоцентрическую теорию, проповедует геоцентрическую. Нет, я считаю, что доброта — преступление, и немалое. Стоит подумать, к чему она может привести, и из всех пор моего тела, извиваясь, выползают черви стыда. Если я стыжусь перечесть написанное, представляешь, во сколько раз больший стыд испытываю я, когда подумаю, что ты это читаешь? Я и сам прекрасно знаю, что гелиоцентрическая теория верна, и тем не менее... видимо, я придавал слишком большое значение своему одиночеству... я вообразил, что оно трагичнее одиночества всего человечества. И в знак раскаяния я безжалостно выброшу из следующей тетради все фразы, в которых будет хоть намек на трагедию.

Серая тетрадь

Хотя всего пять дней назад я ездил этой дорогой на электричке, свежесть восприятия была такой, будто прошло пять лет. Ничего удивительного. Для меня дорога настолько знакома, что я не заблудился бы и с закрытыми глазами, но ведь для маски это была совершенно новая дорога. Если же она и припоминала ее, то, наверно, потому, что еще до рождения, в утробной жизни, видела ее во сне.

Да, в самом деле... даже у облаков, напоминающих обросших белой бородой старцев, которые я видел по пути из окна вагона, даже у них есть воспоминания... Внутренняя поверхность маски промыта содовым раствором, и на ней пенятся маленькие пузырьки... Я инстинктивно провел тыльной стороной ладони по неvspотевшему лбу и тут же посмотрел по сторонам — не заметил ли кто мою оплошность?.. Расстояние между мной и другими? Я могу позволить себе присоединяться к остальным, сохраняя естественную дистанцию. Вдруг мне неудержимо захотелось рассмеяться. Возбуждение, будто проник на вражескую территорию, сменилось умиротворением, связанным с возвращением домой; угрызения совести, словно совершил преступление, сменились радостью новых встреч. Что захочу, то и сделаю. Как дистрофик, которому разрешили наконец поесть, я в такт покачиванию вагона стал

изо всех сил тянуться, точно лоза, выбрасывающая усы, к твоему белому лбу, бледно-розовому шраму от ожога на запястье, прожилкам на щиколотках, гладких и нежных, как раковина изнутри.

Что, слишком неожиданно? Если ты и подумаешь так, ну что ж, ничего не поделаешь. Скажешь, что это бред опьяненного маской — у меня нет оснований отрицать это. Действительно, в своих записках я впервые так пишу о тебе. Но это совсем не потому, что я отказался от тебя до поры, точно положил деньги на срочный вклад. Скорее, мне подумалось, что я не имею на это права. Судить о твоём теле лишённому лица привидению еще более нелепо, чем лягушке судить о пении птиц. Причину лишь боль себе, да и тебе, наверно, тоже... Ну а благодаря маске проклятие снято? Для меня это еще более трудный вопрос. Но эта проблема чем дальше, тем настойчивее будет требовать ответа. Подожду, ответить никогда не поздно.

Уже вылилась первая волна служащих, окончивших работу, и электричка была переполнена. Я чуть повернулся, и молодая женщина в зеленом пальто коснулась задом моего бедра. Я подался в сторону, чтобы она не почувствовала, что у меня пистолет, но ничего не вышло — нас прижали друг к другу еще сильнее. Правда, и сама женщина не особенно избегала меня, и я решил остаться в том же положении. С каждым толчком вагона мы прижимались все теснее, но теперь я не отстранялся. Она старательно делала вид, что дремлет. Пока я развлекался мыслью, что будет, если я пистолетом ткну ее в зад, мы подъехали наконец к станции, на которой мне нужно было выходить. Подойдя к дверям, я посмотрел на женщину — притворно-сосредоточенно она изучала рекламные щиты у платформы; сзади, судя по ее причёске, она не казалась молодой. Нет, никакой роли в дальнейших событиях этот случай не сыграл. Мне захотелось рассказать о нем

только потому, что я подумал: такого, наверно, никогда бы не случилось, не надень я маску.

Постскриптум. Нет, этой части моих записок недостает откровенности. Недостает и откровенности, и честности. Уж не сказалось ли то, что мне стыдно перед тобой? С самого начала мне бы лучше не касаться этого. Если бы я только намекнул на эффективность маски, мне бы не пришлось тратить десять-двадцать строк на подобные эротические признания. Потому-то я и сказал, что недостает честности. И поскольку я наполовину обманул тебя, то не только не мог рассказать о своих истинных намерениях, но и неизбежно столкнулся с печальным фактом твоего непонимания.

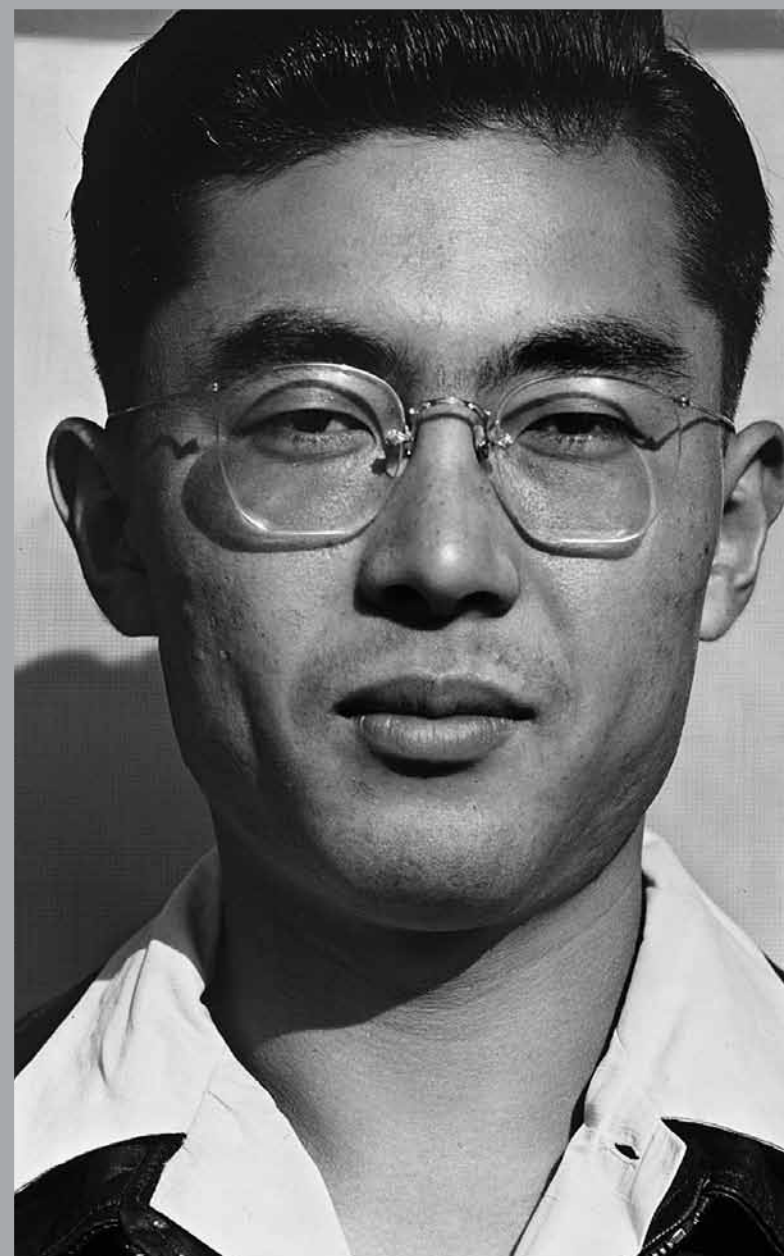
У меня нет умысла превращать честность в предмет торга. Просто, раз уж я коснулся того, чего неизбежно должен был коснуться, постараюсь, ничего не утаивая, раскрыть истинные свои намерения. С точки зрения прописной морали я вел себя попросту бессовестно, и мое поведение достойно осуждения. Но если рассматривать его как поведение маски, то, я думаю, оно может послужить важным ключом для понимания моих дальнейших поступков. Откровенно говоря, в те минуты я начал испытывать возбуждение. То, что произошло, может быть, еще и нельзя было назвать прелюбодеянием, но, во всяком случае, это был акт духовной мастурбации. Ну а изменил ли я тебе? Нет, мне не хотелось бы так легко употреблять слово «измена». Если уж говорить об этом, то я беспрерывно изменяю тебе с тех пор, как мое лицо превратилось в обиталище пиявок. Кроме того, я боялся, что тебе это покажется гадким и ты не захочешь читать дальше. Потому-то я и не касался этого, но по меньшей мере семьдесят процентов моих мыслей занимают сексуальные химеры. В моих действиях они не обнаруживались, но потенциально я, в сущности, был сексуальным маньяком.

Часто говорят, что секс и смерть неразрывно связаны между собой, но истинный смысл этих слов я понял именно тогда. До

этого я давал им лишь поверхностное толкование в том смысле, что завершение полового акта настолько самозабвенно, что может даже вызвать мысль о смерти. Но стоило мне лишиться лица и превратиться в заживо погребенного, как я впервые усмотрел в них совершенно реальный смысл. Так же как деревья приносят плоды до того, как приходит зима, как тростник дает семена, перед тем как засохнуть, секс не что иное, как борьба человека со смертью. Поэтому не будет ли правильным сказать, что эротическое возбуждение, не имеющее определенного объекта, — это жажда человеческого возрождения, испытываемая индивидуумом, стоящим на пороге смерти. Доказательством может служить то, что все солдаты подвержены эротизму. Если среди жителей города растет число эротоманов, то этот город, а может быть, и страна в целом должны быть готовы к множеству смертей. Когда человек забывает о смерти, половое влечение впервые превращается в любовь, направленную на определенный объект, и тогда обеспечено устойчивое воспроизводство рода человеческого.

Поведение маски в электричке объяснялось тем, что и я, и женщина были невыносимо одиноки, но, исходя из моей классификации, маска, видимо, переживала переходную стадию от эротизма к любви — состояние эротической любви. Хоть маска еще не ожила окончательно, наполовину, уж во всяком случае, она начала жить. В этих условиях где ей было изменить тебе — у нее и возможностей-то для измены не было. По выработанной мною программе маска могла зажить полной жизнью только после встречи с тобой.

Вывод из этого дополнения можно, видимо, сделать такой. Благодаря маске мне удалось избежать крайнего возбуждения, которому подвержены сексуальные маньяки, но я по-прежнему оставался полуэротоманом; однако не этот эротизм привел меня к тебе. Я даже уверен, что он послужил стимулом для освобождения. И ради этого я должен был любым способом заставить тебя полюбить мою маску.



Речь идет о воспитании маски, а для этого нет ничего лучше, как заставить ее испытать все на себе, думал я, когда мочился в вокзальном туалете. Я решил избегать шумных торговых улиц и идти переулками. Мне не хотелось неожиданно встретить тебя около рыбного магазина. Я еще не был уверен, что смогу вынести эту неожиданную встречу, ну и, кроме того, хотелось, чтобы первая встреча между маской и тобой состоялась так, как я наметил с самого начала. И хоть встречи не произошло, у меня было чувство, будто я сел на мель. Без всякой причины ноги заплелись, и я чуть не споткнулся на ровном месте. Дыша ртом, как собака, чтобы остудить обжигавший меня горячий воздух, скопившийся под маской, я повторял и повторял, точно заклинание: «Понимаешь, я же здесь впервые. И то, что я вижу, и то, что слышу, — все для меня ново. И дома, которые потом попадутся мне на глаза, и люди, с которыми я, возможно, встречу, — всех их увижу впервые. Если даже что-то и совпадет с моими воспоминаниями, это будет либо ошибкой, либо случайностью или же видением, явившимся во сне. Да, и эта сломанная крышка люка... и сигнальный полицейский фонарь... и этот угол дома, где круглый год стоит лужа грязной воды из переполненной канализации... и выстроившиеся вдоль улицы огромные вязы... потом... потом...

Потом, точно выплевывая песчинки изо рта, я постарался один за другим изгнать из памяти цвета и образы, но что-то все равно оставалось, и я не мог от этого избавиться. Это была ты. Я весь напрягся и сказал маске: «Ты совершенно чужая. Завтрашняя встреча будет самой первой встречей с ней, ты никогда не видела ее, не слышала о ней. А свои впечатления — выбрось их из головы, и поскорее!» Но по мере того, как окружающий пейзаж растворялся и улетучивался из памяти, твой образ, только он, всплывал все яснее, и я был не в силах противиться этому.

В конце концов я... и маска, конечно, тоже... поставив в центр твой образ, будто мотылек, которого влечет свет, едва не касаясь нашего дома, стал ненасытно кружить вокруг него.

Соседки, спеша мимо с кошелками в руках, не обращали на меня никакого внимания — незнакомый прохожий; дети — дети самозабвенно играли, стараясь не упустить коротких минут, оставшихся до ужина. В общем, нечего было опасаться, что меня узнают. Когда я в пятый или шестой раз приблизился к дому, уже зажглись уличные фонари, начало быстро смеркаться. Я стал присматриваться, замедлив шаги настолько, чтобы не вызвать подозрений, и узнал, что ты дома: из окна во двор падал мягкий свет. Свет из столовой. Неужели и для себя одной ты аккуратно накрываешь на стол?

Я вдруг почувствовал нечто похожее на ревность к этому свету из столовой. И не к чему-то конкретному — будто там какой-то гость и он захватил мое место. Я, казалось, ревновал к самому факту, что там наша столовая и в ней ничего не изменилось, а с наступлением темноты в ней зажжена лампа. В ожидании ужина я бы сейчас читал под этим светом вечерний выпуск газеты, а вместо этого, с помощью маски спрятав свое лицо, вынужден слоняться под окном. Как это несправедливо, как трудно перенести это. Невозмутимый свет столовой, нисколько не потускневший оттого, что меня там нет... точно так же, наверно, как и ты...

И маска, которой до этого я был так доволен, на которую возлагал такие надежды, показалась мне ненадежной, поблекшей. И задуманный мной грандиозный спектакль, в котором я, надев маску, должен был с блеском выступить в роли другого человека, действительно оказался всего лишь спектаклем, бледным и слабым перед неумолимой повседневностью: наступает темнота, выключатель повернут — и свет заливают столовую. В тот миг, как маска встретится с твоей улыбкой, она тут же растает, как снег весной.

Чтобы избавиться от чувства поражения, я решил позволить маске пофантазировать. Мечты не совсем оформленные, как сама маска, но будут ли они мечтами или химерами повседневности, вылезшей из своей скорлупы, — я промолчу. И, решив закрыть на все глаза, я снова стал с деловитым видом кружить вокруг дома.

* * *

Но фантазии не приободрили маску, наоборот, они только показали, насколько непреодолима и коварна пропасть между мной и ею.

Освободившись от цепей, маска первым делом без стеснения направится к нашему дому. И я окажусь в роли сводни. Калитка с оторванной петлей. Дорожка из гравия покрыта грязью, и поэтому шагов не слышно. Входная дверь в лишах облупившейся краски. Полусгнивший водосточный желоб валяется у крыльца... тебе-то какая забота, это чужой дом! Нажав кнопку звонка и отступив на шаг, чтобы успокоить дыхание, я буду прислушиваться к тому, что ты делаешь. Шаги приближаются, зажигается свет над крыльцом, раздается твой голос: «Кто там?».

Нет, как бы подробно ни старался я рассказать обо всем, это ничего не даст. И необходимости нет, да прежде всего и невозможно. Не покажется ли, наоборот, странным, если я всеми правдами и неправдами превращу в связный текст свои обрывочные мечтания, похожие на небрежные строчки на грифельной доске, с которой стерто написанное и снова написано по стертому, неизвестно когда, неизвестно в каком порядке — может быть, даже лучше сравнить их с каракулями в общественной уборной? Я хочу выбрать только две-три сцены, ограничившись самым необходимым, чтобы ты поняла, какой удар нанесли мне эти фантазии.



Первая — это жалкая сцена после того, как я услышал твой голос, похожий на шепот. Я стремительно всунул ногу в щель опасно приоткрытой двери, с силой рванул ее и быстро приставил пистолет к твоему лицу, испуганному, точно ты вдруг захлебнулась ветром. Представь себе мое замешательство. Ни капли симпатии. Меня часто раздражала твоя невозмутимость — это правда, но все равно не было никакой необходимости вести себя как бандит из кинофильма. Если уж я соблазнитель, то неужели не мог придумать какой-нибудь ход, более подходящий для соблазнителя? В конце концов, поскольку все это происходило в моем воображении, годилась любая заведомая ложь, ну, к примеру, что я однокашник твоего мужа и зашел по старой дружбе — хотелось, чтобы я вел себя именно так. В общем, никакого обольстителя из меня не вышло. Уж не был ли я мстителем? А может быть, в моей маске с самого начала была упрятана жажда мести? Действительно, я был настроен агрессивно, испытывал ненависть, даже чувство мести — и все это было направлено против предубеждения людей, стремившихся отнять у меня вместе с лицом и право гражданства. А по отношению к тебе?.. Не знаю... думаю, нет, но не знаю... А охватившее меня неистовство совершенно парализовало разум, отняло способность рассуждать.

Это была ревность. Нечто подобное ревности, основанной на воображении, я уже испытывал много раз, но сейчас было другое. Острая чувственная дрожь, которой я даже не могу сразу придумать название. Нет, пожалуй, правильнее сказать «перистальтика». Обручи боли через равные промежутки времени один за другим поднимались от ног к голове. Ты лучше всего поймешь, что это такое, если представишь себе движение лапок сороконожки. Я действительно считаю, что ревность — это животное чувство, которое может легко толкнуть даже на убийство. Существует два взгляда на



ревность: что она является порождением культуры и что она представляет собой первобытный инстинкт, которым обладают и дикие животные. Судя по тому, что случилось тогда со мной, верно, думается, второе.

Но к чему же, наконец, должен был я так ревновать? Причина опять настолько дурацкая, что я просто не решаюсь писать о ней. Я ревновал к маске, к тому, что она будет трогать руками твое тело... К тому, что ты не отбросишь решительно ее руки. Не будешь сопротивляться до конца, даже с риском для жизни. Вот что вызывало мою ревность, и кровь стучала в висках, и перед глазами плыли круги. Смешная история, если подумать. Ведь все твои действия существовали пока лишь в моем воображении, были выдумкой самой маски — следовательно, я сам создал причину для ревности и сам же ревную к следствию.

Если я так отчетливо сознавал все, то должен был бы немедленно прекратить фантазии или приказать маске начать все заново, но... почему-то я не делал этого. И не только не делал, но, будто тоскуя по ревности, наоборот, можно даже сказать, натравливал, подстрекая, маску. Нет, тут была, пожалуй, не тоска, а все та же месть. Я попал в какой-то порочный круг — все время подливал масла в огонь, муки ревности заставляли меня толкать маску на насилие, насилие же разжигало еще большую ревность. А если так, то и та самая первая сцена была продиктована моим собственным, скрытым желанием. Значит, существуют, видимо, проблемы, которым я должен смело посмотреть прямо в глаза, не сваливая все только на маску. Хорошо, ну а что, если... предположение не особенно приятно, но... если я еще до того, как лишился лица... еще с тех пор, как вел семейную жизнь, как все люди... сам тайно взращивал ростки ревности, ревновал тебя? Вполне возможно. Грустное открытие. Теперь я спохватился, но уже поздно.

Слишком поздно. Маска, которая должна была стать посредником между нами, оказалась бессовестным типом. Конечно, ничего бы не изменилось, будь она ласковым соблазнителем. Наоборот, появилась бы даже возможность страдать от злокачественной ревности, не находящей выхода. И в результате — одна из многих сцен насилия, так схожих между собой.

Твой страх вылился для меня в чувственные конвульсии, чего я и сам не ожидал... нет, довольно... каким бы это ни было спектаклем, созданным как протест против повседневности, то, что случилось, выходит за рамки допустимого. Если все это сон, то хотелось бы, чтобы он был облачен в изящные одежды аллегорий, а тут фантазии, которым недостает вымысла, фантазии, похожие на невыдуманный рассказ. Довольно банальностей!

Последняя сцена, какой бы банальной она ни была, — я не собираюсь притворяться, что ничего не произошло. Дело в том, что сцена была не просто банальной — она представляла собой апогей мерзости и в то же время стала переломным моментом, определившим мои дальнейшие действия. Направив на тебя пистолет, я стал вырывать у тебя признание: «Знаю, чем здесь без меня занималась! Не скрывай, ничего не выйдет. Знаю, что занималась». С невероятным упорством, медленно, но неотвратимо преследовал я тебя. Уже не было сил терпеть. Пришло время положить конец этим грязным, диким фантазиям. Как же сделать так, чтобы все было понятно? Самый лучший, единственный способ — я твердо был в этом убежден — сорвать маску в тот самый миг, как ты только откроешь рот, чтобы ответить мне.

Но кому должно быть понятно? Маске? Мне? Или, может быть, тебе?.. Да, об этом, пожалуй, я как следует не подумал. Естественно, что не подумал. Но я хотел, чтобы стало понятно не кому-то из нас, а самой идее «лица», которое загнало меня в такое положение.

Я начал чувствовать невыносимую опустошенность от того, что между мной и маской образовалась такая пропасть. Может быть, я уже предчувствовал надвигающуюся катастрофу? Хотя маска, как видно из самого названия, была всего лишь фальшивым лицом и не должна была оказывать никакого влияния на мою личность, но стоило ей появиться перед твоими глазами, как она улетала так далеко, что до нее уже невозможно было дотянуться рукой, и, окончательно растерявшись, я провожал ее беспомощным взглядом. Так, вопреки моим планам, породившим маску, я вынужден был признать победу лица. Чтобы я слился в одну личность, необходимо было, сорвав маску, прекратить саму комедию масок.

Впрочем, как и следовало ожидать, маска тоже не особенно упрямилась. Как только она убедилась в моей решимости, тут же с горькой усмешкой поджала хвост и прекратила свои фантазии. Я тоже перестал ее преследовать. Сколько бы я ни настраивал себя против фантазий, у меня и в мыслях не было отказаться от своих завтрашних планов, и, значит, мы с маской — соучастники преступления, одного поля ягоды... Нет, было бы неверно назвать нас соучастниками. Не нужно опускаться до такого самоуничтожения. Во всяком случае, в завтрашние планы не входило потрясать пистолетом. Сексуальные мотивы были, конечно, но они не могли иметь ничего общего с тем бесстыдством. Показать распутником случайной, абстрактной попутчице в электричке — куда ни шло, но предстать в таком свете перед собственной женой — кому захочется?

Когда я в последний раз проходил мимо дома и сквозь изгородь заглянул в окно столовой, я увидел множество бинтов, свисавших с потолка лентами, точно белая морская капуста. Ожидая, что послезавтра я возвращусь из командировки, ты выстирала старые бинты, которыми я обматывал лицо. В ту минуту мне показалось, что сердце прорвало диафрагму и провалилось вниз. Я все еще любил тебя. Возможно, вел

себя не так, как следует, но любил по-прежнему. И самое трагичное то, что утвердить свою любовь я мог только таким поведением. Я был похож на ребенка, которого не пустили на экскурсию, — ему остается лишь ревновать к историческим местам и древним памятникам.

Постскриптум на отдельных листах, вложенных в тетрадь.

Может быть, тебе это покажется скучным, но я хочу еще раз попробовать разобраться в бесстыдных фантазиях маски. Видишь ли, я чувствую, что, если на те события посмотреть сегодняшними глазами, во всех рассуждениях вокруг фантазий таился ускользающий от меня определенный смысл, говоря языком детектива... ключ, который дал бы возможность найти преступника или указание на то, что инцидент исчерпан... все содержалось в них.

Я собираюсь потом рассказать о конце как о конце. Надеюсь, не позже, чем через три дня с того момента, как пишу это сейчас, я покажу тебе свои записки, и названные мной три дня — просто приблизительный подсчет времени, необходимого, чтобы все завершить. Поэтому, если бы моей целью было просто рассказать о конце, я, не делая этих дополнений, ограничился бы тем, что включил это в последнюю часть записок. Чтобы они были стройными, это самое правильное — здесь ничего не возразишь. Но цель у меня совсем другая. Я хотел внести хоть какие-то поправки в понятие «эротичный», которым я собирался все объяснить, а вместо этого оказался с прикованной к ноге гирей... а может быть, поправки к утверждению, что между мной и маской существует большая разница. Поскольку я уже признал свою вину, мне, пожалуй, следует дать возможность оправдаться, если, конечно, я не буду искажать фактов.

В тот день я вывел маску из дому с легким сердцем, будто выпустил погулять любимого ребенка. Меня обуяла игривость собачонки, впервые спущенной с поводка, — охватило

веселое, жизнерадостное настроение. Но из-за ревности, неизвестно откуда взявшейся, я и маска должны были схватиться за тебя врукопашную. Эта ревность заставила меня вновь вспомнить о любви и преданности тебе... Потому-то планы, отложенные на следующий день, настоятельно потребовали немедленного осуществления. И волей-неволей мне пришлось предложить маске временное перемирие.

Разумеется, глубоко внутри у меня засело что-то острое, точно шип. Электричка, шедшая в город, была пустая, и на какое бы место я ни сел, оконные стекла, превратившись в черные зеркала, отражали мою маску. Станный тип — обросший бородой, претенциозно одетый, в темных очках, хотя уже вечер... В конце концов, я поставил ему ультиматум: или он по-хорошему соглашается на перемирие, или я срываю маску. В довершение этот тип спрятал в кармане пистолет. Сколько в нем коварства. Мне даже показалось, что маска, ехидно улыбаясь, сказал: «Хватит брюзжать — я для тебя неизбежное зло. Если ты хочешь отказаться от меня, то лучше бы с самого начала ничего не затевал. А уж взялся — молчи. Хочешь что-то получить — будь готов заплатить за это...»

Приоткрыл окно. Ворвалась тугая, острая, как лезвие, струя ночного воздуха. Она освежала лишь затылок и ладони и вмиг замерла перед «неизбежным злом», даже не коснувшись пылавших щек. Психологически я страдал оттого, что маска не составляет со мной единого целого, но физически мне было неприятно слишком тесное соприкосновение с ней. Мое состояние напоминало состояние человека, которому вставили зубной протез.

Но... я тоже, не уступая, стараюсь оправдать себя... поскольку с грехом пополам соблюдалось соглашение о перемирии, если бы только я отказался от некоторых предубеждений (например, от ревности), мне бы как-нибудь удалось добиться главной своей цели — восстановить тропинку

между нами. Ну разве могу я питать к своей жене такой бесстыдный интерес? К тому же мое послушание тебе росло в обратной пропорции тому, что я испытывал к маске, — это было удивительно.

Но верно ли это? Результат тебе известен, так что не буду повторяться... вопрос не только в результате... были ли основания ко мне одному относиться с таким предубеждением?

Интимную близость можно, пожалуй, назвать сексуальной областью абстрактных человеческих отношений. Если ограничиться слишком далекими, абстрактными отношениями, которые даже воображение не в состоянии охватить, другой человек неминуемо превращается в абстрактного антипода — врага, а сексуальное противопоставление становится интимной близостью. Например, поскольку существует абстрактная женщина, обязателен, неизбежен эротизм мужчины. Эротизм ни в коем случае не может быть врагом женщины, как обычно думают, наоборот: как раз женщина — враг эротизма. Следовательно, логично, видимо, предположить, что интимная близость не есть извращенная сексуальность, а, напротив, типичная форма нынешней сексуальной жизни.

Как бы то ни было, мы живем в такое время, когда стало невозможно, как прежде, провести четкую, кем угодно различимую границу, отделяющую ближнего от врага. В электричке, теснее, чем любой ближний, тебя вплотную облепляют бесчисленные враги. Существуют враги, проникающие в дом в виде писем, существуют враги, и от них нет спасения, которые, превратившись в радиоволны, просачиваются в каждую клетку организма. В этих условиях вражеское окружение стало обычным — мы привыкли к нему, и существование ближнего так же малоприметно, как иголка, оброненная в пустыне. Тогда-то и родилась спасительная идея: «сделаем чужих людей своими ближними», но можно ли представить себе, что найдется колоссальное хранилище, способное вместить

людей, единицей для исчисления которых служит миллиард. Может быть, для успеха в жизни рациональнее отказаться от высоких устремлений, которые тебе не по зубам, и добросердечно примириться с тем, что все окружающие тебя люди — враги. Не спокойнее ли побыстрее выработать иммунитет против одиночества?

И нет никакой гарантии, что человек, отравленный одиночеством, не будет эротичным по отношению к своему ближнему, и уж во всяком случае к жене. Случай со мной — не исключение. Если в действиях маски усматривать определенное абстрагирование человеческих отношений, то, возможно, именно из-за этого самого абстрагирования я и предался тем фантазиям, и мне, стремившемуся найти выход из создавшегося положения, не оставалось ничего другого, как заткнуть рот и помалкивать о себе. Да, сколько бы я ни перечислял совершенных мной благих дел, сам факт, что я придумал подобный план, уже достаточно красноречиво говорил о моих эротических химерах.

Значит, план создания маски явился не результатом моего особого желания, а выражением самой обыкновенной потребности абстрагированного современного человека. На первый взгляд казалось, что я потерпел поражение от маски, но на самом деле ничего похожего на поражение не произошло.

Постой! Ведь не только план создания маски не представлял собой ничего особенного! Верно? Сама моя судьба — утрата лица, заставившая обратиться к помощи этой маски, — совсем не является чем-то из ряда вон выходящим — это скорее общая судьба современных людей. Разве не так?.. Небольшое, конечно, открытие. Мое отчаяние объяснялось не столько утратой лица, сколько тем, что моя судьба не имеет ничего общего с судьбами других людей. Я не мог подавить в себе чувство зависти даже к больному раком, потому что он разделяет свою судьбу с другими людьми. Если бы не это...



Если бы только яма, в которую я провалился, оказалась не старым колодцем, который забыли закрыть, а тюремной камерой, о существовании которой все люди прекрасно знали! Это тоже не могло не повергнуть меня в отчаяние. Ты должна понять, что я хочу сказать. Испытывающий чувство одинокого отчаяния юноша, у которого начинает ломаться голос, или девушка, у которой начинаются менструации, подвержены соблазну мастурбации и думают, что соблазн этот — необычная болезнь и больны ею только они одни... Или чувство унижительного отчаяния, когда детское маленькое воровство (шарик из мозаики, или кусочек резинки, или огрызок карандаша) — корь, которой каждый должен однажды переболеть, — воспринимается как позорное преступление, совершенное лишь только тобой одним... К несчастью, если подобное заблуждение длится дольше определенного периода, появятся симптомы отравления, и такие люди могут превратиться в настоящих сексуальных преступников или в обычных воров. И сколько бы они ни старались избежать поджидающей их ловушки, стремясь как можно глубже осознать, что совершают преступление, — это не даст никаких результатов. Гораздо более эффективная мера — вырваться из одиночества, узнав, что кто-то совершил точно такое же преступление, что у тебя есть сообщник.

Может быть, чувство близости к незнакомым людям — каждого хотелось обнять, — испытанное мной позже, когда я вышел из дому и напился водки, к которой не привык, и опьянел (об этом случае, чтобы не повторяться, я расскажу потом), может быть, это чувство возникло потому, что я питал хрупкую надежду найти среди них кого-нибудь, кто, как и я, потерял лицо. Это не означает, конечно, что я испытывал нежность к ближнему — просто я разделял абстрактно понятую идею одиночества — все, кто прикасается к тебе, — враги, и потому не следовало ожидать, что окружающие меня люди,

точно персонажи, выведенные в романе, от счастья видеть меня будут со щенячьей радостью скакать по серому электрическому одеялу доброжелательности...

Но для меня сейчас было ужасным открытием, что рядом со мной за бетонными стенами, как узники, заключены люди той же судьбы. Если прислушаться, отчетливо доносятся стоны из соседних камер. Когда настает ночь, как мрачные грозовые облака, вскипают бесчисленные вздохи, бормотание, всхлипывания — вся тюрьма наполняется проклятиями: «Не я один, не я один, не я один...»

Днем, если судьба благоприятствует, они распределяют время между утренней физзарядкой и приемом ванны, а когда представляется случай тайком поделиться своей судьбой, они обмениваются взглядами, жестами, перешептываются... «Не я один, не я один, не я один...»

Если сложить все эти голоса, то окажется, что эта тюрьма действительно колоссальная. И вполне естественно. Преступления, в которых обвиняются ее узники: виновен в том, что утеряно лицо, виновен в том, что перерезана тропинка, связывающая с другими людьми, виновен в том, что утеряно понимание горестей и радостей других людей, виновен в том, что утеряны страх и радость обнаружения неизвестного в других людях, виновен в том, что забыт долг творить для других, виновен в том, что утеряна музыка, которую слушали вместе, — все эти преступления выявляют суть современных человеческих отношений, и, значит, весь наш мир — огромная тюрьма. Но все равно в мое положение узника это не внесло никаких изменений. Кроме того, остальные люди утеряли свое духовное лицо, а я — и физическое тоже, и поэтому в степени нашей тюремной изоляции существует, естественно, разница. Но все равно я не мог отказаться от надежды. В отличие от погребенного заживо в моем положении было нечто позволявшее питать надежду. Может быть, потому, что

ущербность неполноценного человека — без маски он не может петь, не может скрестить оружие с врагом, не может стать распутником, не может видеть снов — вина не только моя, она стала общей темой ведущихся повсеместно разговоров. Я в этом убежден.

Ну а ты что об этом думаешь? Если я рассуждаю логично, ты тоже не составляешь исключения и, думаю, вынуждена будешь согласиться со мной. Разумеется, согласишься... В противном случае ты не должна была сбрасывать мою руку со своей юбки и загонять меня в положение раненой обезьянки, не должна была молча наблюдать, как я попадаю в ловушку, представленную маской, не должна была доводить меня до такого отчаяния, что мне не оставалось ничего другого, как написать эти записки. Ты сама доказала, что твое лицо, принадлежащее к энергичному, гармоническому типу, было не чем иным, как маской. Значит, в сущности, мы с тобой не отличаемся друг от друга. Ответственность несу не я один. В результате — эти записки. Я не мог уйти, не рассказав о себе. С этим-то ты наверняка согласишься.

Поэтому прошу тебя — не смейся над моими записками. Писать — не значит просто подставить вместо фактов ряды букв, писать — значит предпринять рискованное путешествие. Я не хожу по одной и той же определенной дороге, как почтальон. Есть и опасность, есть и открытия, есть и удовлетворение. Однажды я почувствовал, что стоит жить хотя бы ради того, чтобы писать, и подумал даже, что хотел бы вот так писать и писать без конца. Но я смог вовремя остановить себя. Мне, кажется, удалось избежать того, чтобы показаться смешным: безобразное чудовище делает подарки недостижимой для него девушке. Предполагаемые три дня я растянул на четыре, а потом на пять, но я это делал не просто для того, чтобы выиграть время. Если бы ты прочла мои записки, восстановление тропинки стало

бы, несомненно, нашим общим делом. Думаешь, это простая бравада? Напрасно, я терпеть не могу излишнего оптимизма и не самонадеян до глупости. Но я понимал, что мы друзья, причиняющие друг другу боль, и надеялся поэтому на взаимное сочувствие, особенно ждал — не поддержишь ли ты меня? Ладно, давай без колебаний погасим свет. Когда гасят свет, маскарад кончается. В темноте, когда нет ни лиц, ни масок, я хочу, чтобы мы еще раз как следует удостоверились друг в друге. Я бы хотел поверить в новую мелодию, которая доносится до меня из этой тьмы.

* * *

Сойдя с электрички, я сразу же нырнул в пивной бар. Я редко испытывал такое чувство благодарности к запотевшей поверхности кружки с пивом. Может быть, оттого, что маска не давала коже лица дышать, горло пересохло. Не отрываясь, точно насос, проглотил поллитра.

Алкоголь, которого я давно не употреблял, подействовал быстрее, чем обычно.

Цвет маски, конечно, не изменился. Вместо этого пиявки закопошились, стали зудеть. Не обращая на это внимания, я выпил одну за другой вторую, третью кружку, и зуд стал утихать. Поддавшись настроению, я добавил еще бутылочку сакэ.

И тогда раздражение, которое я испытывал раньше, неожиданно исчезло, его заменила необычная чванливость, агрессивность. Маска, казалось, тоже начала пьянеть.

Лица, лица, лица, лица... Вытер глаза, влажные от слез, а не от пота, и сквозь табачный дым и шум стал демонстративно, со злобой рассматривать бесчисленные лица, битком набившие зал... Ну, что хочешь сказать? Говори!.. Не будешь говорить?.. Нечего сказать. Да одно то, что ты несешь вздор, запивая его водкой, доказывает, что ты с почтением относишься

к маске, что она нужна тебе позарез... Ругая своих начальников, хвастаясь, какой важный человек знакомый знакомого твоего знакомого, ты распалялся изо всех сил, стараясь стать иным, не таким, как твое настоящее лицо... Все равно бездарный способ опьянения... Настоящее лицо никогда бы не могло напиться, как напилась маска... Если же говорить, что настоящее лицо напилось, то, значит, просто оно стало пьяным настоящим лицом... Напейся оно до бесчувствия — будет лишь очень похоже на маску, но никогда не превратится в маску... Пожелай я стереть свое имя, работу, семью и даже гражданство — достаточно принять смертельную дозу яда... С маской же все иначе... Способ опьянения у нее гениальный... Не прибегая ни к капле алкоголя, она может стать совершенно ни на кого не похожим человеком... Вот как я сейчас! Я? Нет, это маска... Забыв о только что заключенном соглашении о перемирии, маска снова позволяет себе черт знает что... Но я и сам напился вроде не хуже маски, и мне совсем не хотелось так уж ругать ее. Смогу ли я в таком случае взять на себя ответственность за завтрашний план?.. В голосе, спрашивающем это, не было настойчивости, и я не посчитался с давним требованием маски предоставить ей автономию.

Маска становилась все толще и толще. В конце концов она превратилась в крепость, окружившую меня бетоном, и, закованный в эти бетонные доспехи, я выбрался на ночную улицу, чувствуя себя как тяжело экипированный охотник. Сквозь амбразуры этой крепости улицы виделись мне прибежищем бездомных кошек-уродов. Они бродили, собираясь в стаи, недоверчиво принимались, пытаясь отыскать свои оторванные хвосты, уши, лапы. Я спрятался за маску, не имевшую ни имени, ни общественного положения, ни возраста, и почувствовал себя победителем, опьяненный безопасностью, которую сам себе гарантировал. Если свобода окружавших меня людей была свободой матового стекла, то моя —

свобода абсолютно прозрачного стекла. Мгновенно вскипело желание: непреодолимо захотелось тут же воспользоваться этой свободой... Да, видимо, цель существования — трата свободы. Человек часто поступает так, будто цель жизни — накопить свободу, но не есть ли это иллюзия, проистекающая от хронического недостатка свободы? Как раз потому, что люди ставят перед собой такую цель, они начинают рассуждать о конце Вселенной, и одно из двух: либо превращаются в скряг, либо становятся религиозными фанатиками... Это верно, даже завтрашний план сам по себе не может быть целью. Соблазнив тебя, я хочу тем самым расширить сферу действия моего паспорта, и, следовательно, план нужно рассматривать как некое средство. Во всяком случае, важно, что я предприму сейчас. Сейчас нужно, не жалея, использовать все возможности маски.

Постскриптум. Все это, конечно, софизмы, пропитанные алкоголем. Я только что поверил тебе свою любовь, и, пока слова эти еще звучат, я не хочу требовать от тебя, чтобы ты согласилась с моими нахальными доводами, бесстыдно оправдывающими нашу тайную связь. Я и сам не должен соглашаться с ними. И поскольку не должен, то подготовил прощальное обращение к маске. Но вот что меня немного беспокоит: я не могу отделаться от мысли, что даже в трезвом состоянии оперировал теми же доводами, считая их совершенно естественными...

«Цель — не результат исследования; процесс исследования — вот что есть цель»... Да, эти слова как нечто само собой разумеющееся скажет любой исследователь... Хотя на первый взгляд может показаться, что они никак не связаны с моими утверждениями, но, если вдуматься, они говорят о том же. Процесс исследования в конечном счете не что иное, как трата свободы на нечто материальное. В противовес этому результат исследования, выраженный в ценностях, способствует накоплению свободы. Под этими словами подразумевается, видимо,

предостережение от тенденции смешивать цель и средство, придавать слишком большое значение результату. Я считал, что это самая что ни на есть трезвая логика, но, если сопоставить все, не покажутся ли мои построения теми же самыми софизмами подвыпившей маски? Многое меня не удовлетворяло. Может быть, стремясь отказаться от маски, я на самом деле просто не знал, как с ней справиться? Или, может быть, свобода подобна сильнодействующему лекарству: в малых дозах — лечит, если же дозу увеличить — вредит. А каково твоё мнение? Если я во что бы то ни стало должен подчиниться требованиям маски, тогда моя теория, что маска — тюрьма, о чем я так трудно и долго писал, да что там теория, все мои записки — плод ошибочных представлений. У меня даже в мыслях нет, что ты согласишься с моими рассуждениями, призванными оправдать нашу тайную связь.

* * *

Итак, на что употребить эту чрезмерную свободу?..

Если бы кто-нибудь спокойно понаблюдал за моим алчным взглядом, то, я думаю, сурово нахмурился бы. Но спасибо, маска была никем и поэтому, как бы о ней ни думали, относилась к этому безболезненно. Как уютно это чувство освобождения, которого не нужно стыдиться, в котором не нужно оправдываться. Освобождение от совести с головой погрузило меня в кипевшую пеной музыку.

Заметки на полях. Да, нужно специально написать о том, как я воспринимал эту музыку. Неоновая реклама, иллюминация, зарево огней в ночном небе, то вырастающие, то уменьшающиеся женские ножки в чулках, запущенный сад, труп кошки в помойной яме, замусоленные окурки и так далее, и так далее, всего не перечислишь — каждый из этих образов превратился в определенную ноту, зазвучал, создал музыку. Из-за одной этой



музыки я хотел верить, что реально существует время, наступление которого я предвкушал...

Постскриптум. Приведенные «заметки на полях», разумеется, предшествуют по времени предыдущему «постскрипту» и писались, как ты понимаешь, сразу же после основного текста. Мне сейчас трудно вспомнить, где звучала эта музыка. Но не хватает решимости вычеркнуть эти заметки, вот я и оставил их.

Хотя алиби маски было полным, а обещанная ею свобода — неисчерпаемой, довольствоваться свободой, нужной лишь для того, чтобы удовлетворять свои желания, как это бывает с человеком, не имевшим ни гроша и вдруг получившим кучу денег и не знающим, что с ними делать, — это ли не отвратительно? Ты совсем недавно убедились в этом. Опьянение от алкоголя усилилось опьянением от чувства свободы, все мое тело покрылось буграми желаний, я стал похож на старое дерево в на-ростах. В довершение оказавшуюся у меня в руках свободу, за которую я заплатил годами жизни, положением, работой, можно было сравнить с моей прежней свободой, как сочившееся кровью сырое мясо с невыразительным словом «мясо». Только смотреть и молчать — ничего мне это не даст. Моя маска не удовлетворилась этим — она широко, будто это пасть морского черта, распахнулась и стала хищно поджидать добычу.

Но, к сожалению, я не знал, на какую добычу стоило бы тратить свободу. Может быть, слишком уж долго меня приучали и приучили наконец экономить свободу. Желания мои были мизерными, но все равно я оказался покрыт ими, точно гноиниками, и я, как это ни смешно, должен был с помощью логических выкладок заниматься калькуляцией своих желаний.

Я не мог похвастать особенно необычными желаниями. Во всяком случае, алиби гарантировано, и мне было абсолютно безразлично, какими бы бессовестными или порочными они ни были. Или, может быть, лучше сказать так: поскольку я

вкусил чувство освобождения от настоящего лица, мне захотелось поступать вопреки здравому смыслу, нарушать закон. И тогда к моим услугам как по заказу оказались — возможно, стимулом послужил духовой пистолет — поступки, к которым прибегают лишь бандиты: шантаж, вымогательство, грабеж. Конечно, если бы я хоть их мог осуществить успешно, для меня это было бы большой победой. Будь вскрыта истинная сущность моих поступков, их таинственность, несомненно, явилась бы первоклассной газетной сенсацией. Того, кто серьезно хочет попробовать, насильно удерживать не собираюсь. Думаю, было бы полезно объяснить людям без масок или, лучше сказать, с псевдомасками истинную сущность абстрактных человеческих отношений — во всяком случае, я бы хоть отомстил за своих пиявок.

Я далек от того, чтобы лицемерить, но почему-то к такого рода порокам у меня не лежит душа. Причина чрезвычайно проста. Во-первых, у меня не было особой необходимости превратиться в настоящую маску — забинтованное лицо вполне меня устраивало. Другая причина: то же вымогательство, тот же шантаж представляли собой не столько цель, сколько средство добычи денег, чтобы заплатить за свободу. К тому же 80 тысяч иен, оставшиеся от командировки, приятно согревали карман. На сегодняшний вечер и завтрашний день хватит. Это немного, но о том, как добыть денег, подумую, когда они мне понадобятся.

Но что же, наконец, представляет собой цель в чистом виде, без примеси средства? Интересно, что почти все нарушающие закон поступки, какие только я мог припомнить, были связаны с незаконной передачей права собственности, то есть с деньгами. Приведу пример — азартные игры, которые называют сравнительно чистой концентрацией страсти... спросить психолога — он назовет это жадой избавления, жадой заменить хроническое напряжение мгновенной его

разрядкой... но если это действительно так, то совершенно безразлично, назвать ли это тратой свободы или избавлением... если же из этого мгновенного напряжения исключить прилив и отлив денег, не станет ли оно пресным? Сам факт, что одна азартная игра создает предпосылки для другой и цепь их, будь это возможно, продляется до бесконечности и в конце концов превращается в привычку, доказывает, что азартная игра представляет собой амплитуду колебания между целью и средством. Такие типичные преступления, как мошенничество, воровство, грабеж, подлог, немыслимы, если в них не содержится средство. Даже люди, на первый взгляд игнорирующие закон и поступающие как им заблагорассудится, на самом деле живут в несвободном мире, полном несовершенства. Не иллюзорна ли цель в чистом виде?

Были у меня и желания, продиктованные другими стремлениями. Например, пригрозив институтской охране унести из сейфов интересные меня материалы или, выломав запертую на ключ дверь административного отдела, украсть таблицы произведенных опытов и документы финансовых ревизий — практические желания, столь характерные для меня. Это были, конечно, смехотворные фантазии, подходящие скорее для детского многосерийного телевизионного фильма и абсолютно бесполезные, если представить себе такой стимул, как недовольство компанией, предоставившей институту лишь номинальную независимость. Но все равно они оставались средством, да к тому же вряд ли могли сыграть роль, которую я отводил маске. Вот если я добьюсь, чтобы маска в совершенстве владела тем, что доступно только ей, и приспособлюсь к этой жизни...

Заметки на полях. Ясно, конечно, если не возникнут особые препятствия, я должен буду вечно вести двойную жизнь: в маске и со своим настоящим лицом. Тогда, может быть, стоило бы еще раз призадуматься...

Среди многочисленных преступлений есть всего лишь одно, таящее в себе исключительные возможности. Это поджог. В поджогах, естественно, тоже есть элементы, явно представляющие собой средство накопления свободы: получение страховки, уничтожение улик после воровства, честолобивые замыслы пожарного. А разве почти все иные поджоги, возникающие не из-за такой расчетливой злонамеренности, не вызваны в конце концов стремлением вернуть замороженную или отнятую свободу? Но есть поджоги, в чистом виде не представляющие никакой ценности, служащие всего лишь удовлетворению непосредственной прихоти... когда бушующее пламя лижет стены, обвивает столбы, прорывает потолок и вдруг взмывает к облакам и, глядя презрительно на стадо мечущихся людей, превращает в пепел кусок истории, только что несомненно существовавшей, — поджоги без всяких примесей, когда трагические разрушения утоляют духовный голод... По-видимому, подобные случаи тоже могут иметь место. Я, конечно, не думаю, что поджог — нормальное желание. В народе таких людей называют поджигателями — демонами поджога, значит, понимают, что их действия выходят за рамки общепринятых. Но, поскольку маска была маской, никак не связанной с общепринятым, то, если гарантировалась трата свободы, вопрос о нормальности или ненормальности не стоял.

...Тем не менее у меня самого не было никакой потребности заниматься поджогами, так для чего же мне все эти рассуждения? Бродя по укромным переулкам, едва не касаясь плечом соблазнительных вывесок, я пытался вообразить сцены, будто из-под этого навеса или из той щели в стене вдруг вырывается пламя, но это нисколько не волновало меня. Думаю, меня это не особенно пугало. Попробовала бы ты хоть раз надеть маску — сразу бы все поняла. Стремление подавить действия, не достойные человека, как это ни удивительно, представляется ничтожным, на него нельзя полагаться. Так трусливый ребенок,

прикрыв ладонями лицо, спокойно смотрит между пальцами фильм, в котором орудуют чудовища. Чем сильнее накрашена женщина, тем легче ее соблазнить. Речь идет не только о сексуальном соблазне, статистикой совершенно точно это подтверждается и в отношении профессиональных воров. Ах, порядок, ах, обычаи, закон! — сколько шума вокруг, а ведь в конце концов это готовая рассыпаться песчаная крепость, удерживаемая тонким слоем кожи — настоящим лицом.

...Да так оно и было — меня это не пугало. Сейчас бессмысленно отрицать, что у меня отсутствует совесть, — кому это нужно. Ведь сама маска — плод моего бесстыдства. Нет действия, хотя законом оно и не запрещено, игнорирующего договоренность между людьми больше, чем надеть на себя маску, которую не заставили осознать, что она маска. Я могу представить себе психологию поджигателя, правда, сам я не поджигатель. Однако меня немного беспокоило, что с таким трудом обнаруженная единственная цель в чистом виде оказалась, к сожалению, не тем, на что я рассчитывал. Ничего не поделаешь — ведь другого подходящего плана у меня не было, это уж точно. Во всяком случае, лучше такой план, чем никакого. Но все же я не думаю, что все эти желания, покрывшие меня, точно гнойники, можно классифицировать как средство достижения цели. Сколько бы я ни повторял, что меня слишком уж приучили экономить свободу — и в этом причина всех бед, — все это меня весьма печалило. Так или иначе, поджог я оставлю на будущее...

Постой-ка, написал это и обратил внимание, что пропустил очень важный момент, не знаю, умышленно или случайно. Если уж я говорил о незаконных действиях, то, конечно, должен был с самого начала упомянуть еще об одном демоне — о бандите, демоне большой дороги. Если поджигателю разрешают присоединиться к тем, кто имеет цель в чистом виде, то, думаю, не будет ничего плохого в том, чтобы включить в эту



компанию и бандита. Не должно быть ничего плохого. Ведь то, что он делает, не имеет того внешнего эффекта, как действия поджигателя, но стоит заглянуть поглубже — не может быть разрушительного действия ужаснее, чем убийство... Все равно, мог ли я забыть об убийстве — примере столь ярком? Нет, наоборот, может быть, именно потому, что пример был столь яркий, я постарался о нем забыть. Уж не потому ли, что я не расположен к поджогам и с самого начала отступился, выбросил из головы действия, требующие гораздо более разрушительных побуждений, — для меня даже вопроса такого не существовало.

Экстравертный агрессивный тип... Моя маска, считающая себя охотником, услышав «разрушительные побуждения», подалась вперед. Мне претит рассказывать об этом, но было именно так — ничего не поделаешь. Может быть, я и повторяюсь, но совсем не из трусости. Я отрицаю трусость совсем не потому, что считаю отрицание трусости обязательным. По правде говоря, мне неприятно даже само употребление этих «демон поджога», «демон большой дороги» из-за одного того, что в них входит слово «демон». Нечто подобное тысячевольтному электрическому току, возбуждавшее в то время маску, не имело ничего общего с разрушительным инстинктом... напоминало что-то вязкое и прилипчивое, никак не могу подобрать подходящее выражение, но, в общем, прямо противоположное разрушению.

Пожалуй, было бы преувеличением утверждать, что во мне полностью отсутствовали разрушительные инстинкты. Я хотел содрать с твоего лица кожу, чтобы ты испытала те же страдания, что и я, я мечтал рассеять в воздухе ядовитый газ, парализующий зрительные нервы, чтобы сделать слепыми всех людей на свете, — вот какие побуждения охватывали меня не раз и не два. Действительно, в этих записках я, помнится, не однажды злобствовал так. Но еще более

неожиданным, если подумать, представляется то, что такое желание выместить на ком-то свою злобу владело мной еще до появления маски, а когда маска была готова, то я все же не мог не почувствовать, что кое-что изменилось, хотя протест и продолжал существовать. В самом деле, видимо, что-то изменилось. И именно потому, что изменилось, маска захотела потратить свою свободу совсем на другое. Не на нечто негативное — произвести разрушения и заставить маску расхлебывать последствия преступления... постой, что же, наконец, я хочу сказать?... Желаю ли я такой классической гармонии, как любовь, как дружба, как взаимопонимание? Или, может быть, хочу поесть сладковатой, липкой, приятно-теплой «воздушной ваты», которую по праздникам продают на улицах?

В гневе, как ребенок, который не может получить то, что он хочет, я зашел в первое попавшееся кафе и стал лить на твердый, как кулак, ком желаний, поднявшийся из глубины горла, холодную воду вперемешку с мороженым. Хотел что-то сделать, но не знал что... если так будет продолжаться, то я либо откажусь от всего, либо через силу буду делать то, чего не хочу. Когда ничего не делаешь, подкрадывается раскаяние... отвратительное ощущение, точно промочил ноги... лицо под маской горело, как в парной бане, кажется, из носа пошла кровь. Нужно по-настоящему что-то предпринять... я прекрасно понимаю весь комизм своего положения: сам превратился в аналитика своего психического состояния и должен классифицировать свои желания, анализировать их, просеивать, определять истинную сущность комка этих желаний и давать ему название.

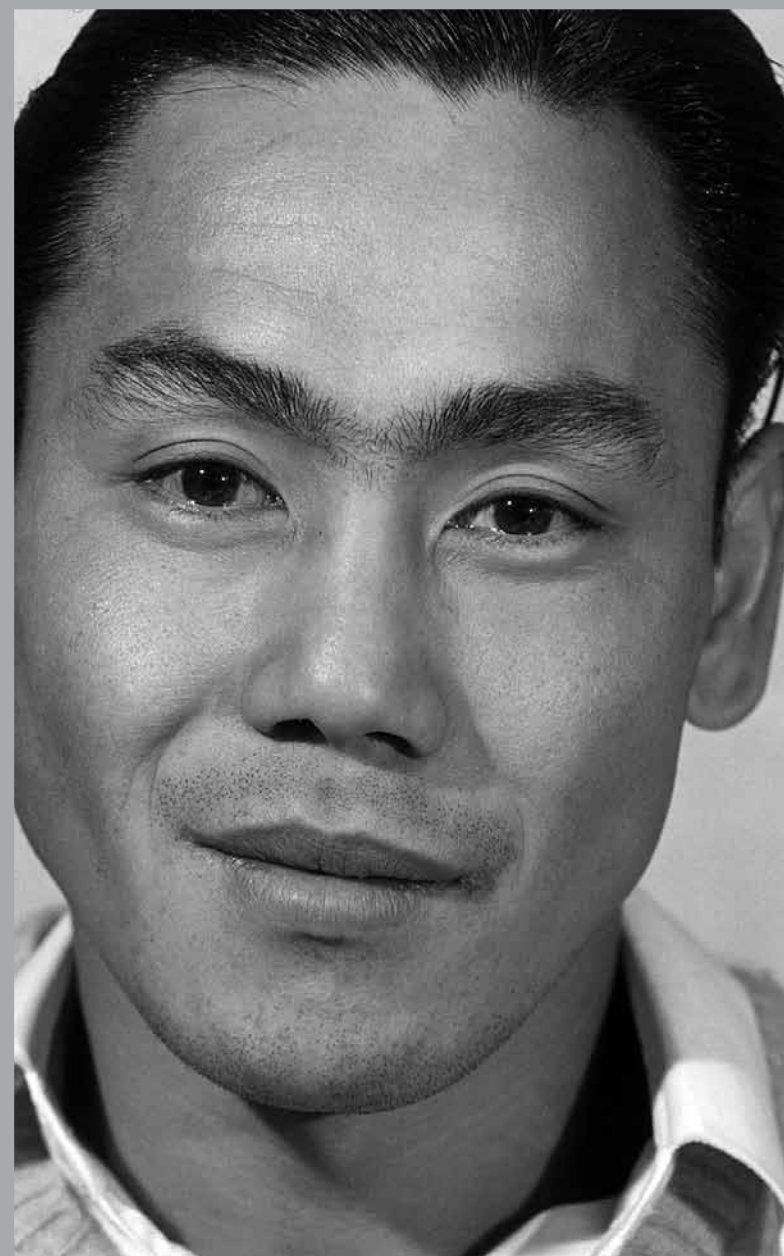
* * *

Если нужно, мне все равно — могу начать с вывода, к которому я пришел. Это было половое влечение. Смейся, на-

верно? Вывод в самом деле, какими бы красивыми оговорками он ни сопровождался, достаточно банален. Но я многое понимал, и мне он не представлялся таким уж неожиданным. Только вот банальность была на уровне введения в алгебру и принималась без доказательств — с этим уж я никак не мог согласиться. Самолюбие может, как это ни странно, спокойно соседствовать с бесстыдством.

Итак, третья тетрадь тоже подходит к концу. Ничего не делаешь, придется ограничиться ходом эксперимента, принятого маской. Но хоть это и покажется скучным, лучше всего, я думаю, рассказать лишь о тех доводах, согласно которым трата свободы в чистом виде была фактически половым влечением. Трата свободы, какой бы чистой она ни была, сама по себе не создает ценностей. (Если говорить о ценностях — это скорее производство свободы.) Я не собираюсь утверждать, что мое логическое построение безупречно, но на следующий день все мои действия направлялись этим половым влечением, и поскольку я надеюсь на твой справедливый суд, то, думаю, должен быть честен с самим собой.

Если только не быть намеренно злобным, то не так уж трудно понять, почему маска отвернулась от поджогов и от убийств, понять ее состояние. Прежде всего маска как таковая представляла собой разрушение существующих в мире обычаев. Простой здравый смысл не поможет ответить на вопрос, сколь большим разрушением является поджог или убийство. Чтобы это стало ясным, лучше всего вообразить, что произойдет с общественным мнением, если начнется массовое производство масок, так же искусно выполненных, как и та, которую я ношу, и широкое их распространение. Маски, несомненно, приобретут потрясающую популярность, мой завод не угонится за спросом, даже если будет работать круглосуточно, все расширяя производство. Некоторые люди неожиданно исчезнут. Другие расщепятся на двух,



на трех. Удостоверения личности станут бесполезными, опознавательные фотографии в нескольких ракурсах потеряют всякий смысл, фотографии, которыми обмениваются жених и невеста, можно будет порвать и выбросить. Знакомые и незнакомые перепутаются, сама идея алиби будет уничтожена. Нельзя будет верить другим, не будет оснований и не доверять другим, придется жить в состоянии невесомости, в новом измерении человеческих отношений, будто смотришься в ничего не отражающее зеркало.

Нет, нужно, наверно, быть готовым к еще худшему. Все начнут менять одну маску за другой, пытаясь бежать от страха быть невидимым, из-за того, что стал еще прозрачнее, чем невидимый другой человек. И когда привычка непрерывно гнаться за все новыми и новыми масками станет обыденной, такое слово, как «индивидуум», окажется настолько непристойным, что его можно будет увидеть лишь на стенах общественных уборных, а сосуды, в которые заключены индивидуумы, их упаковка — «семья», «народ», «права», «обязанности» — превратятся в мертвые слова, непонятные без подробного комментария.

Сможет ли в конце концов человечество выдержать такую резкую смену измерений и, пребывая в состоянии невесомости, найти приемлемые новые взаимоотношения, создать новые обычаи? Я, конечно, не собираюсь утверждать, что не сможет. Исключительная приспособляемость людей, их колоссальная способность к перевоплощению уже доказана историей, наполненной войнами и революциями. Но до этого... до того, как маске будет разрешено такое безудержное распространение... окажутся ли люди достаточно снисходительными, чтобы не прибегнуть к инстинкту самозащиты — к созданию отрядов по борьбе с эпидемией, — вот в чем вопрос, как мне кажется. Какой бы привлекательной ни была маска, представляя собой потребность индивиду-

ма, существующие в обществе обычаи воздвигнут на ее пути неприступные баррикады и продемонстрируют решимость к сопротивлению. Например, в учреждениях, в фирмах, в полиции, в научно-исследовательских институтах при исполнении служебных обязанностей использование маски будет запрещено. Можно также предположить, что еще более активно будут требовать сохранения авторского права на лицо, развернут движение против свободного изготовления масок популярные актеры. Возьмем более близкий нам пример: муж и жена вместо того, чтобы поклясться в вечной любви, должны будут обещать друг другу не иметь тайных масок. При торговых сделках может родиться новый обряд: перед началом переговоров ощупывать друг другу лицо. На собеседованиях при приеме на работу можно будет наблюдать странный обычай: вонзить в лицо иголку и демонстрировать выступившую кровь. Ну а потом вполне можно представить себе и такой случай: в суде будет рассматриваться вопрос, законно ли поступил полицейский или превысил власть, дотронувшись во время следствия до лица допрашиваемого, а ученый опубликует по этому поводу обширную статью.

И вот уже в газете под рубрикой «Беседы о вашей судьбе» изо дня в день публикуются слезливые письма девиц, которые вышли замуж, обманутые маской. (О своих масках они не упомянут.) Но и ответы будут все как один маловразумительные и ни к чему не обязывающие: «Достойна всяческого порицания неискренность, выразившаяся в том, что в период помолвки он ни разу не показал своего настоящего лица. Но в то же время из ваших слов видно, что вы еще не полностью освободились от взгляда на жизнь с позиций настоящего лица. Маска не может обмануть и не может быть обманутой. А что, если вам надеть сейчас новую маску, превратиться в другого человека и начать новую жизнь? Не цепляясь за вчерашний день и не задумываясь о завтрашнем — только так вы

добьетесь успеха в жизни в наш век масок...» В конце концов, сколько бы ни было таких обманов, сколько бы ни было разговоров о них, в какую бы проблему они ни вылились — все это никогда не перевесит удовольствия обманывать. На этом этапе, хоть он и будет чреват противоречиями, привлекательность маски останется непоколебимой.

Но возникнут, конечно, и кое-какие отрицательные явления. Популярность детективных романов постепенно сойдет на нет; семейный роман, описывающий двойственность, тройственность человеческого характера, и тот в какой-то момент начнет приходить в упадок, а уж если количество купленных впрок разных масок превысит пять штук на человека, запутанность сюжета превзойдет предел терпения читателей; не исключено, что роман вообще потеряет право на существование, разве что будет удовлетворять потребности любителей исторических романов. Дело не ограничится романами: фильмы и пьесы, по замыслу представляющие собой демонстрацию масок, лишившись возможности создать определенный образ главного героя, превратятся в некий абстрактный код и не смогут привлечь интереса публики. Большая часть фабрикантов косметики разорится, один за другим закроются косметические кабинеты, неизбежно сократятся больше чем на двадцать процентов доходы рекламных агентств. Все писательские ассоциации поднимут вопль — маска разрушает личность; косметологи и дерматологи будут, несомненно, с превеликим упорством доказывать, что маска вредно влияет на кожу.

Весьма сомнительно, конечно, что подобные вещи смогут иметь больший эффект, чем брошюры общества трезвости. Ведь акционерное общество по производству масок превратится к тому времени в огромный монополистический концерн, имеющий по всей стране сеть пунктов по приему заказов, производственные предприятия, магазины, и заткнуть

рот горстке недовольных ему будет легче, чем спеленать младенца.

Но главные проблемы возникнут позже. Маска получит такое распространение, что все пресытятся, период, когда она была чем-то любопытным и необычным, закончится — маска станет обыденным явлением. И когда тонкий аромат преступления и порока, казавшийся пряной приправой, помогающей еще острее ощутить вкус освобождения от беспокойных человеческих отношений, превратится в одуряющий запах переквашенных соевых бобов, наступит период, когда всех снова охватит тревога... когда начнут замечать, что эти шалости с переодеванием, которым предавались так весело, совсем не шалости, а нечто схожее с преступлением, которым можно причинить вред себе самому... Ну, например, появятся, видимо, беспатентные изготовители масок, которые будут специализироваться на подделке чужих лиц, и возникнут довольно смешные инциденты: член парламента начнет заниматься мошенничеством с долговыми обязательствами, известный художник будет уличен как закоренелый брачный аферист, мэр города — арестован по подозрению в угоне автомашин, лидер социалистической партии выступит с фашистской речью, директора банка привлекут к ответственности за ограбление банка. И люди, со смехом смотревшие на все это, как на веселое цирковое представление, неожиданно спохватятся, с ужасом увидят, что у них на глазах другие люди, не отличимые от них, шарят в чужих карманах, воруют в магазинах... со всем этим придется столкнуться. И тогда не исключено, что с большим трудом добытое алиби, вместо того чтобы противостоять доказательству вины, будет даже исключено как свидетельство невиновности, его даже начнут ощущать как обузу. Удовольствие от обмана померкнет перед страхом быть обманутым. Потом, когда появится желание смягчить горечь раскаяния, поплывут слухи о том, что,

возможно, из-за того, что цель образования исчезла — совершенно естественно, поскольку утеряна идея личности, которую необходимо формировать, — посещаемость школ резко сократится, начнется массовое бродяжничество, и выяснится, что большинство бродяг — родители этих школьников, и тогда вдруг вспыхнут волнения и паника, и все будут проклинать маску-соблазнительницу. Тут же флюгероподобные авторы редакционных статей начнут, наверно, предлагать учреждение системы регистрации масок, но, к сожалению, маску и систему регистрации абсолютно невозможно совместить, так же, например, как бессмысленна тюрьма, не имеющая запоров. Зарегистрированная маска уже не может быть маской. Общественное мнение коренным образом изменится, люди выбросят маски и потребуют от правительства отмены масок. Это движение примет редко наблюдаемую в истории форму союза народа и полиции, и в мгновение ока возникнет закон о запрещении масок.

Но правительство, как всегда, побоится крайностей. Вначале, хотя оно и заявит о контроле, ношение маски будет рассматриваться в лучшем случае как мелкое преступление. Подобная нерешительность, наоборот, подстегнет любопытство некоторых людей и приведет к бурному росту подпольных фабрик и черного рынка — наступят времена хаоса, напоминающие период сухого закона в Америке. И тогда, хотя уже и слишком поздно, станет неизбежным пересмотр закона. Использование масок будет регламентироваться так же строго, как употребление наркотиков: соответствующие власти будут выдавать разрешение только в случае, если установят явно выраженные травмы лица или если врачи пропишут маску для лечения серьезных нервных расстройств. Но и после этого подделка лицензий и жульничество производителей масок не прекратятся, и очень скоро содержащиеся в законе оговорки будут отменены, назначены даже особые

инспекторы масок, и маски превратятся в объект строжайшего контроля. И все равно число преступлений с помощью масок ничуть не уменьшится, и они не только останутся все тем же сенсационным украшением газетных полос, посвященных социальным вопросам, — дойдет до того, что появятся правые организации, члены которых как форму наденут совершенно одинаковые маски и будут устраивать бесчинства, совершая нападения на членов правительства. Суды вынуждены будут признать, что пользование маской, даже сам факт ее хранения приравнивается к преднамеренному убийству, и общественное мнение, не колеблясь, поддержит их.

Постскриптум. Хотя и пьяные фантазии, но фантазии очень интересные. Допустим, что существует организация, состоящая из ста членов. Значит, каждый из них будет иметь один процент подозрений и девяносто девять процентов алиби, и в результате обязательное оправдание: хотя акт насилия совершен, виновного нет. Почему же на первый взгляд кажущееся столь интеллектуальным преступление будет восприниматься как зверски жестокое? Думаю, что из-за абсолютной анонимности этого преступления. Абсолютная анонимность означает принесение в жертву своего имени абсолютной группе. Не есть ли это больше чем интеллектуальная махинация в целях самозащиты — инстинктивное стремление индивидуума, столкнувшегося лицом к лицу со смертью? Точно так же, как при нападении врага самые различные группы — национальные, государственные, профсоюзные, классовые, расовые, религиозные — пытаются прежде всего воздвигнуть алтарь, именуемый верностью. Индивидуум всегда жертва в единоборстве со смертью, а для абсолютной группы смерть всего лишь атрибут. Абсолютная группа сама по себе имеет агрессивный характер. Это легко понять, если в качестве примера абсолютной организации назвать армию, а как пример абсолютной анонимности — солдата. Но если так, то в моих

фантазиях содержалось некоторое противоречие. Почему хотят, чтобы суд, который не может рассматривать военную форму, как таковую, равносильной преднамеренному убийству, занял столь суровую позицию по отношению к правым группам, члены которых носят одинаковые маски? Разве государство считает маску злом, противоречащим порядку? Совсем нет, как это ни парадоксально, само государство — некая огромная маска, и оно противится тому, чтобы внутри него существовало множество отдельных масок. Следовательно, самое безвредное существо на свете — анархист...

Вот почему, если преодолеть лабиринт любопытства, станет ясно, что уже само существование маски разрушительно. И поскольку использование маски приравнивается к преднамеренному убийству, в один ряд могут быть смело поставлены ничуть не уступающие ему поджог и бандитизм. Неудивительно, что у маски, олицетворяющей собой разрушение — хотя фактически она сама брела среди развалин человеческих отношений, разрушенных ее существованием, — у маски не лежала душа к подобным разрушениям. Сколько бы бугров желаний ни вспухало, одного ее существования достаточно, чтобы произвести разрушение.

* * *

По-детски эгоистичные желания маски, которой от роду нет и сорока часов... желания изголодавшегося беглеца, только что вырвавшегося из тюрьмы на волю сквозь скопища пиявок... какую же свободу может иметь эта ненасытная прорва со свежими следами наручников?..

Нет, честно говоря, нельзя утверждать, что ответа вовсе не было. Желания — это не то, что понимают путем рассуждений, их надо чувствовать. Попробую объяснить проще. Это то самое конвульсивное побуждение — желание стать жертвой

расовых предрассудков. Я ясно осознал это в ту минуту, как вышел на улицу. Какая же необходимость была у меня до сих пор влиять, точно оправдываясь? Может быть, рассчитывал, вливая, спастись от стыда? Нет, я, видимо, действительно громоздил одно оправдание на другое, но можно с уверенностью утверждать, что руководил мной совсем не стыд. Руководствовался я лишь одним желанием, на котором, хотел я того или нет, во что бы то ни стало должен был построить наши отношения.

Отношения с тобой были такими, какими они представлялись в самых бесстыдных фантазиях маски. Чего бы я ни захотел почувствовать, пожелать, испытать — все было связано с теми фантазиями, и ядревности, только-только переставший отравлять меня, снова, набрав силу, двинулся по моим жилам навстречу потоку крови. Ничего удивительного, что это заставляло задуматься над завтрашним планом. Даже маска не могла не почувствовать себя скованно, неудобно. Как бы то ни было, свобода маски, хотя она и заключалась главным образом в абстрактных отношениях с другими людьми, была все равно что птица с оторванными крыльями. Маска, которую чуть было не выбросили, сохраняя перемирие, способна была лишь на невнятное бормотание.

Тогда маска стала успокаивать меня — если я буду без конца нервничать, то не только маска, но и сам я превращусь в средство. Пусть лицо у меня — маска, но ведь тело-то по-прежнему мое собственное. Можно закрыть глаза и представить себе, что во всем мире исчез свет... тогда мгновенно маска и я превращаемся в одно целое и нигде нет того, к кому я должен ревновать... если тебя касаюсь я сам, значит, тот, кого касаешься ты, тоже я сам и нужно отбросить всякие колебания...

Заметки на полях. Стоит вдуматься, и доводы покажутся подобранными произвольно. Поскольку я идентичен самому себе, а для другого — абсолютно чужой, значит, я наполовину чужой.

Правда? Мы — желтая раса, но мы не были желтой расой от природы. Впервые мы превратились в желтую расу благодаря тому, что были названы так расой с другим цветом кожи. Игнорировать условность лица и сделать всю остальную часть тела главной в определении личности равносильно обману. Если я собираюсь упорно отстаивать отождествление, отвлекаясь от лица, тогда мне придется без всякого снисхождения взять на себя ответственность за эротические действия маски. Пусть лишь мысленно, но все равно я бессовестно упрекал тебя в измене, и яд ревности бурлил во мне, а как только дело коснулось меня, я стал беспечно разглазговствовать о трате свободы в чистом виде, совсем не думая, что это может ранить тебя. В конце концов, не напоминает ли ревность избалованную кошку, которая, настаивая на своих правах, не признает обязанностей?..

Таким образом, маска, с одной стороны, ругала меня, а с другой — с придурковатым видом, вроде не испытывая никаких чувств, просеивала сквозь самые разные сита все мои желания, стремясь таким путем убедить меня, что оставшиеся не стоят того, чтобы хотеть их. Правда, разновидностей желаний в полном смысле этого слова удивительно мало, и они невероятно просты, и если исключить жажду разрушения, то их можно буквально пересчитать по пальцам. Назову пришедшие на память.

Прежде всего, три основных желания: голод, половое влечение, сон. Затем общие желания: естественные отправления, жажда избавления, наживы, развлечения. Далее специфические: желание совершить самоубийство, потребность отравлять себя — вино, табак, наркотики. Наконец, если толковать желания в широком смысле, может быть, правильно включить в их число жажду славы, потребность работать.

Но большая часть этих желаний просеется сквозь первое сито, именуемое «тратой свободы». В самом деле, как бы ни хотелось спать, сон сам по себе не может быть целью. Он —

всего лишь средство пробуждения. В общем, с какой стороны ни подойти, сон следует причислить к накоплению свободы. По той же причине естественные отправления, жажду наживы, избавления, славы, труда тоже, пожалуй, лучше здесь не рассматривать... Вот только не избежать, наверно, критики за то, что последнее из названных мной желаний — труд — легкомысленно рассматривается как средство в одном ряду с естественными отправлениями. Представим себе, что рождается в результате труда, — труд в самом деле следует сделать господствующим среди желаний. Если бы не была создана вещь, не было бы, очевидно, и истории, не было бы, очевидно, и мира, не появилось бы, несомненно, и такое понятие, как человек. Кроме того, если рассматривать труд как самоотрицание, то есть если труд служит преодолению труда, то одно это позволяет считать его целью. И даже в том случае, когда труд становится самоцелью, это не вызывает неприятного, отталкивающего впечатления, как жажда наживы или славы. И даже в этом случае люди, сочувственно кивая говорят: «Он здорово работает». Можно не опасаться, что его будут корить, порицать. Что ни говори, а люди ведь придумали такие выражения, как «денежная работа», «выгодная работа», «высоко ценимая работа»...

Жаль только, что такое благостное состояние было нетерпимым для маски. Если в какой бы то ни было форме не нарушаются запреты, использование маски теряет всякий смысл. «Свободой только маски» прежде всего должны были быть незаконные действия. (В самом деле, я процентов на шестьдесят был удовлетворен работой в институте... Если бы у меня отняли ее, то, думаю, тосковал бы по ней процентов на девяносто... И все же я прекрасно мог бы обойтись без маски.) Таким образом, хотя труд ради труда и провалился весь сквозь ячейки первого сита, он все же должен задержаться во втором. Предупреждаю, я не собираюсь касаться проблемы

ценностей. Я говорю лишь о сиюминутном желании сбежавшего из тюрьмы, чье алиби гарантировано.

Из оставшихся желаний голод тоже, видимо, попадает во второе сито. Так как бесплатное питание не столько цель, сколько средство, с самого начала не будем его касаться, но где-то я, кажется, слышал о законе, запрещающем наедаться досыта. Запрещение утолять голод не в условиях фронта или тюрьмы — явление довольно редкое. Но если все же попытаться отыскать его, то, пожалуй, удастся обнаружить в людоедстве. Правда, в данном случае речь идет не совсем об утолении голода — значительное место занимает здесь элемент убийства. А убийства, как мы договорились, касаться не будем.

Хотя самоубийство тоже входит в число запрещенных актов, при наличии настоящего лица его все же можно совершить, маска же в конце концов позволила мне избежать участи и «заживо погребенного». И уж если я собирался совершить самоубийство, лучше бы с самого начала ничего не предпринимать. Жажду развлечений тоже не следует брать изолированно: иногда это разновидность избавления, в других случаях — своего рода труд, лишенный объекта, — в общем, мне хотелось бы рассматривать его как сложное образование, состоящее из ряда упоминавшихся уже компонентов. Страсть к отравлению, так же как желание напиться, — не более чем дурное подражание маске, и потому... я действительно пребывал в блаженном состоянии опьянения... и снова касаться этого не стоит.

Итак, желания одно за другим провалились сквозь все сита и остались наконец те самые конвульсии жертвенности.

* * *

Кстати, что ты думаешь о моих рассуждениях? Да, именно о рассуждениях. Я лишь рассуждал о том, что, захоти я в ту



ночь потратить свободу в чистом виде, это было бы не чем иным, как сексуальным преступлением, на самом же деле я так и не совершил ничего хотя бы отдаленно напоминающего преступление. И не потому, что у меня не было к этому никакой склонности, и не потому, что не представилось случая, но, так или иначе, я его не совершил. Вот почему я спрашиваю тебя только об одном — о своих рассуждениях.

На твое сочувствие я не надеюсь. Может быть, даже наверняка, ты заметишь нелепые изъяны в моих рассуждениях. Я уже пережил крах всех этих рассуждений и не могу поэтому не признать, что в них есть недостатки. Но я и в то время не видел их, не могу обнаружить их и сейчас. А может быть... может быть, они вылились в форму подчинения упорным уговорам маски, а я сам себя обманывал, считая их результатом моих собственных желаний.

Поскольку дело касается секса, что-то мешало мне сорвать и выбросить табличку «вход воспрещен», и в то же время с самого начала меня непреодолимо тянуло это сделать. Если вдуматься — ничего удивительного. Я старался по возможности не касаться этого, но дело в том, что, отвергни я сексуальные преступления, мне не удалось бы осуществить и план заставить маску соблазнить тебя. Если бы речь шла о том, чтобы соблазнить тебя один раз, никакой проблемы, видимо, не возникло бы. Но если я хотел сделать отношения между маской и тобой длительными и, таким образом, создать новый мир, то должен был во что бы то ни стало нарушать законы, связанные с сексом. Иначе вряд ли бы я мог вынести двойную жизнь, разъединенный до мозга костей ревностью. И эти долгие, упорные уговоры маски были, конечно, результатом моей сознательной провокации.

Да, забавно — только что с грехом пополам подведя базу под свои рассуждения, я тут же проникся сочувствием к желаниям маски. Кстати, совсем не потому, что я изголодался

по сексу, как если бы это была еда или питье. Нарушить сексуальные запреты — вот на что изо всех сил толкала меня маска. Если бы я не осознавал существование запретов, то очень сомневаюсь, что нарушение их было бы наполнено для меня таким трепетным очарованием. И когда я погрузился в это очарование, ядревности, больше всего мучивший меня, казалось, утратил вдруг свою силу, и я, будто посасывая таблетку противоядия, стал стараться вызвать в себе эротический импульс.

Глазами, полными вожделения, я стал по-новому смотреть на все окружающее, и уходившая вдаль улица представилась мне волшебным замком, сплошь состоящим из табличек «Секс. Вход воспрещен». Будь хоть ограда этого замка прочной — куда ни шло, а то сплошь изъедена червями, с дырами от вывалившихся гвоздей, она, казалось, вот-вот развалится. Ограды, ограды — своим видом они будто готовы отразить вторжение и вызывают этим любопытство людей, снующих по улице, но стоит приблизиться к ним и присмотреться повнимательней, и червоточины, и следы от выпавших гвоздей — все это камуфляж, и тогда пропадает всякое желание подойти еще хоть на шаг. Секс, запрет секса? Что же это, в конце концов, такое? Любой, кто задумается над смыслом камуфляжа, кто задумается над происхождением оград, тут же неизбежно превращается в эротомана. Безусловно, он сам тоже не что иное, как одна из этих оград. Именно поэтому эротоман и должен проливать на свои желания слезы боли и раскаяния. Когда он ломает сексуальные запреты, то одновременно разрушает и свою собственную ограду. Но коль уж задумываешься над существованием оград, пока точно не установишь их происхождение, не успокоишься. Эротоман — тот же честный, глубокий исследователь: убедившись в существовании загадки, он уже не может не разрешить ее, каких бы жертв это ни потребовало.

И вот я, неудачливый исследователь, заглянул в первый попавшийся бар. Никаких особых надежд я не питал. Он привлек мое внимание только потому, что вся его вывеска была покрыта фальшивыми червоточинами и следами гвоздей. Продавали там фальшивую маску — алкоголь. Это место мне как раз подходило.

Как я и предполагал, там оказалось уютно. Фальшивая тьма, преграждающая путь фальшивому свету... фальшивые растения, фальшивые улыбки... неопределенное состояние, точно во сне, — зло не можешь сделать, и добро не можешь совершить... смешанные в нужной пропорции фальшивое добро и фальшивое зло...

Я сел, поры по всему телу начали раскрываться, заказал виски с содовой и тут же стал поглаживать палец сидевшей рядом со мной девушки в темно-синем платье. Нет, это был не я, это была маска. Хотя палец девушки был потным, мне он все равно казался сухим, точно посыпанный крахмалом. Девушка, конечно, позволяла заигрывать с собой. Нет, сказать, что она не сердилась, было бы ложью. Но все мои действия были равносильны бездействию. Мое бездействие было равносильно действию.

Если лгал я, лгала и девушка. Очень скоро она, как мне показалось, начала думать о чем-то другом, но я, разумеется, сделал вид, что ничего не замечаю. Может, сделать эту девушку своей на одну ночь в отместку за пиявки, за тебя, наконец, за свое настоящее лицо.

Нет, не беспокойся — здесь все могло случиться, но ничего не случилось. Лгал я, лгала девушка, а потом, не знаю почему, девушка вдруг смутила меня, сказав, что я, наверно, художник.

«Почему? Чем я похож на художника?»

«Как раз художники любят делать вид, что совсем не похожи на художников».

«Это верно... Ну а грим на лице, для чего он? Чтобы показать что-то или, наоборот, скрыть?»

«И то и другое...» Кончиками ногтей девушка скребла камешек, который держала в руке. «Но ведь во всем этом нет искренности, правда?»

«Искренности?...» Внутри у меня что-то оборвалось, точно вдруг открылся секрет фокуса. «А-а, дерьмо это!»

Девушка брезгливо сморщила свой коротенький носик.

«Отвратительно. Все понятно, но зачем так грубо...»

Верно! Любая настоящая вещь была здесь блестящей подделкой, любая поддельная вещь котиновалась как настоящая. Это было как будто условленное место, где развлекаются, рисуя на запретных заборах дыры, чувствуя, что вот-вот захватит вожделение... Если я еще хоть чуть опьянею, то одно сознание, что на мне маска, станет опасным.

Бедро девушки под моей ладонью, точно пресытившись, казалось, начало зевать — самое время потихоньку убраться отсюда. В конце концов ничего не произошло, но все равно. Я прикоснулся рукой к запретной ограде и убедился в ее прочности — тоже неплохо. Хочешь не хочешь, завтра я должен повести отчаянный штурм твоей ограды...

Все, что произошло потом, лишено для меня перспективы, будто я смотрю на эти события в подзорную трубу. Но я, помню, не дошел до такой глупости, чтобы, поддавшись опьянению, сорвать с себя маску, и водителю такси назвал не свой настоящий адрес, а убежища. Как бы тесно ни соприкасались мое лицо и маска, какой бы прочный клейкий состав я ни употребил, уничтожить пропасть между ними, видимо, не так-то просто. Всю ночь между короткими пробуждениями я видел сны. В этих снах ты как будто о чем-то упрасивала меня.

Кажется, предостерегала от физической близости, а может быть, я вообразил это уже позже. Один раз я видел во сне тюрьму.

* * *

На следующее утро — ужасное похмелье, этого и следовало ожидать. Все лицо вспухло и нестерпимо болело. Наверно, возвратившись домой, я не проделал с лицом всего необходимого, и из-за клейкого состава оно покрылось сыпью. После того как я умылся, а потом освободил желудок, наступило некоторое облегчение. Я проделал все это до десяти часов. А выйти из дому лучше всего после трех, и я решил полежать.

Как невыносимы последние часы ожидания перед заветной минутой, не побоюсь сказать, перед мгновением, ради которого на карту поставлены усилия целого года. Я метался по постели в поисках прохладного места и никак не мог заснуть. Нужно же было напиться, как последнему идиоту. В чем, собственно, я нашел удовольствие, с чего вдруг начал резвиться?.. Мне кажется, я должен что-то вспомнить... надев маску и считая, что стал прозрачным, я брожу по улицам... ограда... запрет... да, я начал становиться развратником... тот самый человек, который, помимо заведования лабораторией в институте высокомолекулярной химии, был абсолютно бесцветным, пресным, безусловно безобидным... ну что ж, ради того, чтобы преодолеть преграду, у меня был лишь один путь — превратиться в развратника...

Стараясь воскресить в памяти впечатления прошлой ночи, я всеми силами пытался избавиться от остатков опьянения, гнездившегося где-то глубоко в черепе. Однако эротические ощущения, такие отчетливые в прошлую ночь, никак не возвращались. Может быть, потому, что я без маски? Конечно, поэтому. Стоит надеть маску, как во мне оживает нарушитель закона. В любом, самом безобидном человеке, должно быть, всегда скрыт преступник, способный реагировать на маску.

Я не собираюсь доходить до такой крайности, чтобы утверждать, будто все актеры имеют преступные наклонности.



Я знаю одного начальника важной канцелярии, который проявляет повышенный интерес к костюмированным шествиям во время спортивных праздников, организуемых компанией, и демонстрирует в них незаурядный талант, — на самом деле редкий оптимист, вполне довольный своим положением... Ну а если бы они узнали, что *здесь* праведная повседневность ничуть не безопаснее *тамошнего* мира преступлений, остались бы они тогда в стороне от преступления?.. Сомневаюсь... Ежедневно ставить будильник на определенное время, заказывать себе печатку, визитные карточки, откладывать деньги, снимать размер воротничка, коллекционировать автографы, страховать жизнь или недвижимость, писать поздравительные открытки, наклеивать фотографию на удостоверение личности... трудно

поверить, что в мире, где рискуешь потеряться, если забудешь сделать хоть что-нибудь из этого, что в этом мире люди живут и им ни разу не захотелось, даже в голову не пришло стать прозрачными...

Но все же на какой-то миг я, видимо, заснул. Наверно, поднялся ветер, и скрип ставень разбудил меня. Головная боль и тошнота как будто утихли, но чувствовал я себя еще неважно.

Хотел принять ванну, но, как назло, вода не шла. Видимо, слабый напор, и вода не может подняться даже до второго этажа. Махнул рукой и решил отправиться в баню. После недолгих колебаний — что выбрать: маску или бинты — решил пойти в маске. Я сгорал от стыда, стоило только вспомнить, какое впечатление на окружающих производят бинты, и еще хотелось испытать маску, в самых разных условиях. (Когда я надеваю маску, ко мне сразу же возвращается уверенность в себе.) Шаря по карманам пиджака в поисках бумажника, я коснулся чего-то твердого. Это были духовой пистолет и золотистый йо-йо. На случай, если встречу с дочкой управляющего, я завернул йо-йо в полотенце вместе с мылом и вышел из дому.

К сожалению, девочку я не встретил. Не из-за какого-то особого предчувствия, но мне не захотелось идти в ближайшую баню, и я направился на соседнюю улицу, до которой была одна автобусная остановка. Баня недавно открылась, посетителей было мало, вода в бассейне чистая. Я погрузился в воду и, чтобы остатки опьянения окончательно улетучились, решил терпеливо сносить жару, и тут заметил в противоположном углу человека, который сидел в воде, не сняв черной рубахи. Нет, это, оказывается, не рубаха, а татуировка. Может быть, из-за того, что так падал свет, не знаю, но казалось, что он натянул на себя рыбью кожу.

Вначале я старался не смотреть, но он все больше притягивал мое внимание, и вскоре я уже не мог оторвать от него

глаз. Меня привлек не рисунок, поразила сам факт татуировки, которому я никак не мог найти объяснения — оно вертелось на кончике языка, как чье-то забытое имя.

Может быть, потому, что я чувствовал кровную связь между татуировкой и маской? В самом деле, маска и татуировка имеют поразительно много общего: и та, и другая — разновидности искусственной кожи. Общим для них служит стремление уничтожить настоящую кожу и заменить ее чем-то иным. Но есть, конечно, и различия. Маска, как можно видеть и по иероглифам, лишь временное лицо, а татуировка полностью ассимилируется, становится частью кожи. Кроме того, маска представляет алиби, а татуировка, наоборот, выделяет, выставляет напоказ. В этом смысле она, пожалуй, ближе не маске, а бинтам. Нет, если говорить о привлечении внимания, то она ничуть не уступает моим пиявкам.

Все равно никак не могу взять в толк, почему люди доходят до подобной несообразности, чтобы привлекать к себе внимание. Сам этот человек вряд ли сможет ответить... и именно потому, что не сможет ответить, для него имеет смысл привлекать внимание... Уроды, как правило, любят загадки и часто делают своей профессией загадывание бессмысленных загадок и выманивание денег у людей, которые не могут их отгадать... В татуировке действительно скрыт вопрос, заставляющий отыскивать ответ.

Доказательством может служить то, что я сам изо всех сил старался найти ответ. Я пытался, например, подглядеть изнутри свое состояние, если бы мне пришлось сделать себе татуировку. И первое, что я почувствовал, — глаза других людей, впивающиеся в меня, точно колючки. Я мог ясно представить себе это, потому что уже испытал, что представляет собой скопище пиявок. Потом небо начнет постепенно удаляться... вокруг разольется яркий полдень, и только на то место, где стою я, опустится абсолютная тьма... да, да, татуировка —

это клеймо каторжника... клеймо преступления, и поэтому даже лучи света перестанут касаться меня... Но почему-то я совершенно не чувствовал себя загнанным, не испытывал и угрызений совести... и вполне естественно... ведь сам же я выжег на своем теле клеймо преступления и по своей же воле похоронил себя в глазах общества... и теперь уже никто меня не пожалеет...

Когда мужчина вышел из воды, изображение буддийского божества, засыпанного цветами вишни, стало извиваться, источая коричневатый пот, и я, чувствуя себя соучастником преступления, ощутил, что его отрешенная поза действует на меня освежающе. Верно, кровная связь между маской и татуировкой выражается не в такой форме — она состоит в том, где жить, на какой стороне границы, проведенной по настоящему лицу. Поскольку есть люди, которые могут жить, снося татуировку, то вполне возможно сносить и маску.

Однако у выхода из бани татуированный мужчина глупейшим образом стал придирается ко мне. Когда рубаха с длинными рукавами скрыла татуировку, он показался моложе, меньше ростом и не таким внушительным, но все равно носил на своем теле угрозу и был великим мастером запугивания.

Хриплым голосом мужчина обвинил меня в том, что я невежливо смотрел на него, и потребовал извинения. Судя по его словам, это его очень задело. Лучше бы мне извиниться, как он требовал, но беда не приходит одна — из-за того, что я долго был в горячей воде, под маской у меня кипело, точно варился суп, я буквально терял сознание.

Не задумываясь особенно над смыслом своих слов, я спросил:

«Но разве татуировка не для того и существует, чтобы ее показывать?»

Не успел я договорить, как рука мужчины взлетела вверх.

Но мой инстинкт защиты маски не уступал ему в быстроте. То, что первая атака провалилась, еще больше распалило мужчину. Он неожиданно схватил меня и начал грубо трясти, пытаясь улучшить момент, чтобы ударить в лицо. Наконец он прижал меня к дощатой стене, и то ли его рука, то ли моя (не знаю точно, руки наши переплелись), в общем, чья-то рука скользнула снизу вверх по моему подбородку, и в то же мгновение маска оказалась содранной.

Я был повержен, точно на глазах у людей с меня вдруг стащили штаны. Потрясение противника было ничуть не меньшим. Глухим, робким голосом, так не вязавшимся с его наружностью, он пробормотал что-то невнятное и с негодующим видом, будто это он пострадавший, быстро ушел. В полубоморочном состоянии я отер пот и снова надел маску. Собрались, наверно, зеваки, но у меня не хватило мужества оглядеться. Будь это на сцене, над нами бы как следует посмеялись. Теперь, когда буду выходить на улицу, ни за что не оставлю духовой пистолет дома.

Постскриптум. Интересно, как представлялась моя трагикомедия татуированному человеку и зевакам — свидетелям этой сцены? Сколько бы они ни смеялись, обыкновенным смехом это не могло кончиться. Случай на всю жизнь сохранится, должно быть, в их памяти. Да, но в каком виде?.. Застрянет в сердце, как осколок снаряда?.. Или ударит в глаза и исказит облик окружающих?.. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что впредь они уже не будут пялить глаза на лица других людей. Они станут для них прозрачными, как привидения, а весь мир будет в прогалинах, как картина на стекле, нарисованная жидкой краской. Сам мир начнет казаться каким-то невообразимым, как маска, людей захватит чувство несказанного одиночества. Поэтому мне нечего чувствовать себя виновным перед этими людьми. То, что они увидели, было скорее правдой. Раньше была видна только маска, а сама правда — не видна.

И вот эту, более глубокую правду они смогли лицезреть. Какой бы жалкой ни казалась правда постороннему взгляду, она всегда несет в себе вознаграждение.

Однажды, лет двадцать назад, я увидел труп ребенка. Он лежал навзничь за школой в густой траве. Я случайно наткнулся на него, когда искал бейсбольный мяч. Труп был раздут, как резиновый шар, и весь покрыт красными пятнами. Мне показалось, что рот у него шевелится, но когда я присмотрелся, то увидел, что это копошатся бесчисленные черви, уже уничтожившие губы. Меня сковал страх, и потом несколько дней кусок не шел в горло. В то время это произвело на меня мучительно-страшное впечатление, но с годами — труп, должно быть, выросл вместе со мной — сохранилась лишь окутанная тихой печалью легкая краснота на гладкой, точно из воска, коже. А сейчас я уже не стараюсь избегать воспоминаний о трупе. Наоборот, даже полюбил их. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом трупе, у меня возникает ощущение, что мы друзья. Он заставляет меня вспомнить, что, кроме пластика, существует еще мир, которого можно коснуться рукой. Он навсегда останется со мной как символ другого мира.

Нет, эти оправдания предназначены не только для совсем чужих людей. Теперь все мои тревоги будут касаться и тебя. Я хочу, чтобы ты поверила моим словам, даже если тебе и покажется, что они оставляют слишком глубокие раны. Да это и не раны, а чуть более отчетливые, чем хотелось бы, воспоминания о том, что я испытал, когда ты заглянула мне под маску. Я уверен, придет время, и ты будешь вспоминать об этом с нежностью, как я о трупе.

* * *

Я немного задержался — нужно было заняться ссадинами и заменить клейкий состав. Правда, по дороге я сделал

крюк, чтобы специально для маски купить все необходимое: зажигалку, записную книжку, бумажник, а потом направился в намеченное место — ровно в четыре часа я был на автобусной остановке. Здесь я собирался дожидаться твоего возвращения с лекций по прикладному искусству, которые ты посещала по четвергам. Приближалось время вечерней суеты, шум этого оживленного места поглотил все пространство своей перенасыщенной плотностью, и я почему-то почувствовал удивительное спокойствие, будто шел по лесу, где начали опадать листья. Видимо, прежнее потрясение еще осталось, и оно изнутри подавляло все мои пять чувств. Стоило закрыть глаза, как закружились в водовороте, точно рой moskitov, бесчисленные звезды, излучавшие яркий свет. Наверно, поднялось давление. Действительно, потрясение было глубоким. Но это не так уж плохо. Унижение, подействовав как стимулятор, толкало на нарушение закона.

Я решил подождать у банка. С пригорка, где находился банк, было лучше видно, а благодаря тому, что рядом со мной стояло много других ожидающих, я не бросался в глаза. Нечего было опасаться, что ты заметишь меня раньше, чем я тебя. Лекции кончаются в четыре часа, и даже если ты пропустишь один автобус, все равно доедешь минут за десять.

Никогда не думал, что твои лекции смогут мне так пригодиться. Если бы меня спросили, я бы сказал, что сам факт этого неустанного многолетнего хождения на такие совершенно ненужные лекции служит прекрасным доказательством неустойчивости женского существования. Весьма символично, что ты выбрала изготовление пуговиц и занимаешься этим с увлечением. Какое же великое множество пуговиц, больших и маленьких, ты уже выточила, вырезала, выкрасила, отполировала! Ты делала пуговицы не для того, чтобы с их помощью что-то застегивать, — ты бесконечно мастерила необходимые для практического использования вещи

в целях абсолютно непрактических. Нет, я не хочу обвинять тебя. Ведь я действительно ни разу этому не противился. Если ты по-настоящему горячо увлечена — от души благословляю это невинное занятие...

...Но в событиях, происшедших позже, ты была одним из главных действующих лиц, и поэтому я не стану излагать их час за часом. Что нужно, так это вывернуть наизнанку мое сердце и выставить на свет спрятавшееся там бесстыдное лицо паразита. Ты приехала третьим автобусом и прошла мимо меня. Я двинулся следом. Со спины ты выглядела удивительно гибкой, удивительно изящной, и меня охватила робость.

Я догнал тебя у светофора на перекрестке у вокзала. За несколько минут, которые нужны, чтобы дойти до вокзала, я должен любыми средствами привлечь твое внимание. Не следует идти напролом, но и окольный путь тоже не подходит. Протягивая, будто только что случайно подобрал, припрятанную заранее кожаную пуговицу, которую ты сама сделала, я обратился к тебе с уже подготовленными словами:

— Это не вы потеряли?

Не скрывая удивления, ты, стараясь выяснить, почему это случилось, подняла сумку, стала осматривать дно, проверять застёжки и, всем своим видом показывая, что не можешь найти объяснения, доверчиво бросила на меня быстрый взгляд. Раз уж я заговорил, нельзя было упускать возможности, в которую поверил, и я бросился напролом.

— Может быть, из шляпы?

— Из шляпы?

— Ловкость рук — и из шляпы может появиться кролик.

Но ты даже не улыбнулась. Больше того, взглядом, как хирургическими щипцами, плотно зажала мне рот. Это был пристальный взгляд, точно ты забылась, взгляд, в котором ты, вероятно, не отдавала себе отчета. Если ты будешь так смотреть еще несколько секунд, то увидишь меня насквозь — я момен-

тально понял это и отступил. Но этого не могло случиться. Успех маски уже был подтвержден в самых различных ситуациях. Нечего было опасаться, что у тебя появятся подозрения, — ты ведь не сорвешь маску силой, как тот татуированный, не коснешься ее губами (разницу в температуре скрыть невозможно). К тому же я сознательно говорил голосом более низким, чем обычно, но даже если бы я этого и не делал, из-за того, что на мои губы были наложены еще и искусственные, губные звуки совершенно видоизменились.

Может быть, я чрезмерно волновался; ты сразу же отвела взгляд, и на лицо вернулось обычное рассеянное выражение. Мой эротизм, натолкнувшись на твой пристальный взгляд, поджал хвост, и если бы ты так и ушла, то, может быть, я и нашел бы в себе силы отказаться от задуманного плана, понимая, что это самое лучшее для нас обоих. День был ясный, солнечный, и маска не могла проявить всех своих возможностей, ее чудесная сила увяла. Но и ты на мгновение заколебалась. А уличный поток, извивавшийся вокруг нас, точно прожорливое первобытное чудовище, впитывал просачивающиеся мысли, стоило им только возникнуть. Выяснить, почему возмутилось магнитное поле, возникшее между нами благодаря твоему минутному колебанию, было некогда, и я использовал это замешательство и двинул второй эшелон заготовленных заранее слов.

Заметки на полях. Выражение «возмущение магнитного поля» очень верно. В общем, я ведь предчувствовал важность этой минуты. Если бы речь шла только о предчувствии, нечем было бы гордиться, нечего объяснять, но, даже не будь предчувствия, если бы я опустил эти строки — содрогаюсь при одной мысли об этом, — я был бы приговорен к осмеянию — все мои действия и поступки стали бы предметом насмешки, и эти записки из записок маски превратились бы в обыкновенные записки клоуна. Клоун — это тоже неплохо, но просто я не хочу стать клоуном, который не осознает, кто он.

Ты, наверно, помнишь? Я как ни в чем не бывало, тоном, будто мне уже надоело это выяснять, спросил, где конечная остановка такого-то автобуса. Не знаю, обратила ли ты внимание, но я выбрал ту остановку не потому, что мной руководила вздорная мысль убить время, нет, это была ловко подстроенная ловушка с дальним прицелом.

Прежде всего речь шла о единственной остановке на этой линии автобуса, находившейся у самого вокзала и в то же время расположенной в неудобном тихом месте, о котором мало кто знал. Затем она была на противоположной стороне вокзала, и, если не знать, что есть подземный переход, пришлось бы идти круглым путем по пешеходному мосту. И еще, переход невероятно запутанный и невозможно в двух словах объяснить, как связано с тем или иным местом множество его входов и выходов. Ну и, наконец, если воспользоваться этим переходом, расстояние до платформы, с которой ты должна ехать, несколько не больше, чем если идти через вокзал. И ты, конечно, знала эту остановку.

Я весь напрягся, ожидая ответа. Тело мое стало точно каменным от страха, что ты разгадаешь мои тайные намерения, и, не будь на мне маски, даже если бы ты предложила меня проводить, не уверен, смог ли бы я идти рядом с тобой. Сомневаюсь даже, удалось ли мне как следует скрыть прерывистое дыхание. Я ждал в таком состоянии, будто меня заключили в хрупкий стеклянный сосуд (стеклянный сосуд тоньше бумаги, чихни — и он разлетится на мелкие осколки). Нельзя отрицать, что я испытывал и нетерпение, но правда и то, что ты не спешила с ответом. Что заставляло тебя колебаться? Я обрадовался тому, что ты в нерешительности. Положение создалось такое, что ты должна была, не колеблясь, принять немедленное решение — или согласиться, или отказаться. И чем больше ты колебалась, тем острее ощущалась неестественность, росла подозрительность. Если ты не хотела,

достаточно было одного твоего «не знаю», но ты продолжала колебаться, и это означало, что ты наполовину согласна. И поскольку ты согласилась — пусть наполовину, — то потеряла таким образом предлог для отказа. Чтобы тебе легче было решиться, может быть, мне стоило бы добавить еще что-нибудь. В это время молодой парень, грубо толкаясь, торопливо протиснулся между нами. Только тогда мы заметили, что мешаем людскому потоку и вокруг нас уже образовался водоворот. С трудом удерживаясь в этом потоке, ты вопросительно взглянула на меня — скользнула по мне глазами, точно небрежно пролистала календарь. Не по душе мне твой взгляд, подумал я, и только собрался раскрыть рот, чтобы хоть немного подстегнуть твою решимость, как ты наконец ответила.

Когда я услышал этот ответ, хотя все шло хорошо и внутренне мы уже почти договорились, почему-то стало грустно, точно меня предали... Если это я — все хорошо, а если это совершенно чужой человек, тогда что? Чуть поколебавшись, ты ответила согласием. И с такой значительностью, будто без колебаний нельзя было соглашаться. В общем, намекала на существование запретной ограды. И то, что ты совершенно сознательно согласилась пройти рядом со мной семь-восемь минут, несколько сот метров, я не мог не воспринять как нечто большее, чем простую любезность. Во всяком случае, это был гораздо более ценный ответный подарок, чем пуговица, которую я подобрал для тебя. Говоря откровенно, ты сознательно возбуждала во мне желание. И поскольку возбуждала сознательно, то и сама...

Нет, все хорошо. Да и что я могу сказать, когда весь мой план был рассчитан именно на такой ход событий. Если бы, разгадав мой замысел, ты отказалась, весь мой труд пошел бы насмарку. Я мог бы, конечно, попытаться снова, в другой день, но если в первый раз удалось представить все как

случайность, вторично не избежать впечатления нарочитости, и твоя настороженность только усилилась бы. Да, все хорошо. Прошлой ночью я до конца осознал, что желание с помощью маски вернуть тебя и с твоей помощью вернуть всех других людей — не безделица, не пустые слова, оно разрушает запретную ограду секса, пропитывает меня бесстыдством. Поскольку я стремился преодолеть запретную ограду и ты, казалось, соглашалась на это, сейчас нечего было особенно суетиться. Твое оправдание, что ты просто не придавала этому значения, никого бы не убедило. Если хочешь разрушить ограду, не пытаясь добиться того, чтобы партнер сам разрушил ее, то нет другого средства, кроме насилия. Но я бы удивился, услышав, что односторонним развратом можно восстановить тропинку. Такой, даже единичный поступок неизбежно вынудит маску бесследно исчезнуть из этого мира. Кроме того, если я собирался удовлетвориться насилием, достаточно было моего настоящего лица, покрытого пиявками, и незачем было прибегать к помощи маски.

Теоретически рассуждения мои были, конечно, правильными. Но рядом с тобой, с твоим живым телом, спускаясь по лестнице в подземный переход, забитый чужими людьми, я был подавлен потрясающей реальностью твоего существования, от растерянности, невыразимого страдания мной овладели гнетущие мысли. Мне нечего будет ответить, если ты упрекнешь меня в бедности воображения, но разве так уж редко встречается воображение, основанное на осязании? Я думал о тебе не как о стеклянной кукле или словесном символе, но я впервые почувствовал осязаемую реальность твоего существования, приблизившись настолько, что мог дотронуться до тебя рукой. Ближайшая к тебе половина моего тела стала чувствительной, как после солнечного ожога, — каждая пора, точно собака, изнывающая от жары, высунув язык, тяжело дышала. Стоило лишь представить себе,



что ты, такая близкая, готова принять совершенно чужого человека, как меня охватывала невыносимая печаль оттого, что я нахожусь в положении обманутого мужа и, мало того, без всякой причины меня вышвырнули вон за негодностью. Да, вчера мои бесстыдные фантазии, в которых я игнорировал тебя, были куда умереннее. Пожалуй, даже насилие благодотворнее этого. Я снова стал вспоминать как совершенно чужое лицо черты маски и начал испытывать кипящую ненависть, отвращение к этому типу лица охотника с бородой, в темных очках и претенциозной одежде. И в то же время я почувствовал, что ты, не отвергшая решительно это лицо, совсем другая, и мне стало еще тоскливей, точно на драгоценном камне я обнаружил капельку яда.

Маска поступала иначе. Она, по-моему, была способна впитывать и превращать в пищу мои страдания; точно у болотного растения, ветви и листья ее желаний становились все мощнее и гуще. Одно то, что ты меня не отвергла, было равносильно словам «я твоя», и я всадил клыки воображения в твой затылок, выглядывавший из светло-коричневой блузки без воротника, как баночка с фруктовым соком. Мне не в чем было оправдываться — для меня ты была тобой, а для маски — всего лишь одной из приглянувшихся женщин... Да, так далеки были друг от друга я и маска — нас разделяла бездонная пропасть. Мы отличались, но ведь это верхний слой лица в несколько миллиметров, все остальное общее, и поэтому ты, возможно, считаешь, что разговоры о пропасти — просто красивые слова, но мне хочется, чтобы ты вспомнила, как устроена грампластинка. Так просто, а сколько десятков тонов может она воспроизвести. Поэтому нет ничего удивительного, что человеческое сердце бьется одновременно в двух противоположных тонах.

Конечно, удивляться нечему. Ведь ты и сама была расщеплена. Я вел двойную жизнь, и ты тоже стала вести двойную

жизнь. Я превратился в чужого человека, надев чужую маску, и ты тоже стала чужим человеком, надев маску самой себя. Чужой человек, надевший маску самого себя... Не особенно приятное сочетание слов... Я заранее рассчитывал встретиться вторично и должен был иметь детально отработанный план, а в результате приходилось, кажется, вторично расставаться. Наверно, в чем-то я допустил непростительный просчет.

Если бы я мог предположить, что дойдет до этого, лучше бы сразу повернуть обратно... нет, еще лучше, не поворачивая обратно, просто спросить у тебя об остановке, а с остальными планами молча распрощаться, но... Так почему же я послушно иду на поводу у маски?.. Не уверен, стоит ли чего-нибудь мое объяснение: моя обманутая любовь была предана и стала ненавистью, желание восстановить тропинку не нашло отклика и превратилось в мстительность, и, раз уж я дошел до этого, получилось так, что, хотя побуждения были у нас противоположные, в своих действиях я начал идти в ногу с маской, стремясь до конца убедиться в твоей неверности... Но подожди немного — мне кажется, что и в начале этих записок я часто употреблял слово «мечь», я все же... Да, употреблял... Тогда главным предлогом для изготовления маски было стремление, обманув тебя с ее помощью, отомстить высокомерию настоящего лица. Потом я стал склоняться к реабилитации других людей, желание соблазнить тебя тоже приобрело рассудочность, созерцательность, потом прибавилось нечто плотское, вспыхнул взрыв страсти, принявший форму ревности, ревность, натолкнувшись на запретную ограду, вызвала любовные судороги, похожие на жажду, я стал эротичным и в конце концов снова превратился в пленника мести.

В последнем приливе мстительности было что-то не удовлетворявшее, беспокоившее меня. Какую месть следовало

избрать, убедившись в твоей неверности? Должен ли я, представив тебе доказательства, выслушивать показания или вынудить тебя к разводу? Ни в коем случае — если я сделаю что-нибудь подобное, то потеряю тебя. Если наши отношения позволят лишь подглядывать за твоей изменой сквозь пролом в запретной ограде, разрушенной тобой и маской, — прекрасно, я готов подглядывать так всю жизнь. Но будет ли осуществлена месть путем такого непрерывного извращения? Ведь, приравливаясь к моей раздвоенности, и ты должна будешь беспредельно сносить ту же самую раздвоенность. Ни любовь, ни ненависть... ни маска, ни настоящее лицо... Видимо, в этой густой серой мгле я обрел временное равновесие.

* * *

Однако в отличие от меня, решившего спокойно отказаться от своего замысла, маска, которая должна была держаться гордо и независимо, наоборот, начала терять самообладание. Одно твоё слово, брошенное невзначай, когда потом, через десять минут, ты сидела в закуской в конце подземного перехода и помешивала ложечкой кофе, лишило маску самоуверенности, точно загнало между двумя зеркалами и вынудило разговаривать саму с собой.

— Мой муж как раз в командировке, поэтому...

Что «поэтому»? Больше ты ничего не сказала, у маски тоже не было желания спрашивать. Здравый смысл подсказывал, что твои слова можно понять так: поэтому, возвратившись домой, я не должна буду готовить обед и ничего не произойдет, если я поем в городе, — то есть ты будто бы оправдывалась в том, что согласилась на мое предложение, так их тоже можно было воспринять. Но в мрачной холодности твоего тона была скорее решительность, точно ты утверждала себя в собственных



глазах, и эффект был такой же, как если бы ты щелкнула по носу самовлюбленную маску... О чем же мы прежде говорили?.. Да, верно, маска вычитанными где-то словами похвалила форму твоих пальцев, потом спросила о ранке на большом пальце правой руки, полученной, когда ты мастерила пуговицы, и после того, как маска убедилась, что твоя рука все равно не избегает ее взглядов, она избрала темой разговора отношения между людьми как алгебраическое уравнение, не включающее данных условий, как имя, профессия, место жительства, и тут же, помнится, стала выведывать твое расположение духа. Маска, которая твердо знала, кому принадлежит руководящая роль в соблазнении тебя, готовая поступить с тобой как ей вздумается, замерла в изумлении, как ребенок, неожиданно обойденный, отброшенный в сторону соперником.

Заметка на полях. Я вспоминаю, что ужасно тогда волновалась, боясь, как бы ты не обнаружила, что за маской прячусь я.

Если вдуматься, то, по существу, нет никаких доказательств, что соблазняла маска, а соблазненной оказалась ты. Все было проделано тобой умно и тонко — не соблазnilась ли ты по собственной воле независимо от уловок маски? Так или иначе, изменить что-либо было уже невозможно, и маске, чтобы воодушевить себя, не оставалось ничего иного, как превратиться в еще более настойчивого обольстителя.

Но она напрасно старалась вести себя как соблазнитель, этого было не нужно — ты уже была соблазненной женщиной. Дело в том, что я завладел тобой полностью. Вот почему все время, пока мы были в закусочной, маска изо всех сил старалась не возвращаться к разговору о твоём «муже». То же относилось и к пиявкам: как бы ни казалось, что этой темы можно касаться спокойно, сколь логично ни доказывать, что это относится к другому человеку, — все равно страшно. Тем не менее, когда ты не выказала никакого желания возвращаться к теме «мужа», я ужасно рассердился, — в общем,

досадная ситуация. Действительно, ты, несомненно, игнорировала «его», следовательно, меня. Более чем неприятное пренебрежение. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что я хотел, чтобы ты коснулась этой темы, — в общем, положение у меня было достаточно трудное. Если бы ты снова заговорила о «нем», это можно было бы использовать, чтобы обуздать маску. Мне как обольстителю оставалось лишь надеяться, что ты будешь по-прежнему моим сообщником. Меня покорила твоя странная манера улыбаться одной нижней губой. Еще больше встревожило то, что ты смотрела сквозь меня куда-то вдаль. Я чувствовал себя виновным в том, что ты отказалась от предложенного пива. Но и не хотел, чтобы ты пила слишком много. Все равно что после погружения в ледяную ванну сразу быть облитым кипятком. Левый глаз, будто разглядывая трофей, нежно смотрел на твои пальцы, крошившие хлеб, — нежные, мягкие пальцы, словно смоченная водой кроличья шкурка, если отвлечься от ранки, полученной, когда делала пуговицы; правый глаз, точно обманутый муж — свидетель прелюбодеяния жены, корчился от боли. Любовный треугольник, где один исполняет две роли. Неэвклидов треугольник, который выглядел бы на чертеже прямой линией: «я», «маска» — мое второе «я» и «ты».

Когда мы поели, время, точно желе, сразу начало застывать вокруг нас. Может быть, из-за тяжести потолка? Непропорционально массивный бетонный столб стоял в центре зала и наводил на мысль о непомерной тяжести того, что он поддерживал. К тому же эта закусочная в подвале не имела окон. Ничто не подтверждало существования двадцатичетырехчасовой единицы солнечного времени. Был лишь искусственный свет, не имеющий периодичности. А сразу же за стенами закусочной по вертикальным пластам, уходящим вглубь, по подземным рекам текло время, исчислявшееся десятками тысяч лет. И твой «муж», который должен погонять наше время,

пока мы так ждем его, никогда не вернется. О время, сгустись, превратись в сосуд, укрывающий только нас двоих! Тогда, так и оставаясь в сосуде, мы пересечем улицу, и место, куда мы придем, станет нашим новым ложем.

Однако в действительности ни я, ни маска не знали твоих подлинных намерений. Не отказываясь — настолько не противясь, что создавалось даже впечатление, будто ждала этого, — ты приняла мой нехитрый маневр: сначала пригласить тебя выпить кофе, а потом пообедать, но... какое-то время маска оптимистически считала, что все идет по плану... такая твоя решительная позиция, точно все кирпичики своего сознания ты уже скрепила раствором, снова повергла маску в страх и отчаяние. Ты не была, конечно, просто неприветливой. Поскольку ты согласилась быть соблазненной, неприветливость доказывала бы, что ты слишком много думала о запретной ограде, и ты, наоборот, стала бы доступнее, но ты была достаточно мягкой, не забывала о деликатной заботливости. Ты не робела, держала себя смело, естественно, свободно. В общем, нисколько не отличалась от той, какой была обычно, ты была ты.

И эта твоя неизменность привела маску в замешательство. Где же, наконец, прячешь ты вязкое, как расплзающаяся тянучка, дыхание человека, ждущего соблазнения, его сверкающие взгляды, горящие внутренним огнем, возбуждение, вызванное ожиданием? Судорожно ухватившись за край круглого обеденного стола, мы напоминали расплющенные цветки одуванчика, зажатые между страницами солнечного времени. И то, что, жадно глотая слюну, я, ухватившись за запретную ограду, ждал мгновения, когда смогу вместе с тобой участвовать в ее разрушении, — разве это было только самодовольным воображением маски? Вот потому-то окончание обеда в то же время было причудливым концом причудливой встречи...



Официант молча, точно отсутствуя, как требовали того правила, убирал со стола. Поверхность воды в стаканах зарябилась — видимо, прошел поезд метро. Маска, проявляя нетерпение, продолжала бессмысленную болтовню, а в промежутки при любом удобном случае старалась вставлять слова, вызывающие сексуальные ассоциации, но ты никак не реагировала — ни положительно, ни отрицательно. Наблюдая краем глаза за растерянностью маски, я ехидно аплодировал и в то же время жалел, что никак не могу уличить тебя в неверности.

Однако это продолжалось минут двадцать, а потом — помнишь, наверно? — маска, выйдя из оцепенения, вытянула ногу, и носок ботинка коснулся твоей щиколотки. У тебя на лице отразилось чуть заметное волнение. Взгляд замер где-то в пространстве. Между бровями залегла складка, губы дрогнули. Но ты снисходительно, со спокойствием, с каким утренний свет постепенно захватывает ночное небо, приняла от маски эти бесплодные усилия. Маску распирал смех. Не имея выхода, смех точно заряжался электричеством и парализовал маску. На этот раз ей как будто удалось подстрелить добычу. В общем, можно не беспокоиться. Сконцентрировавшись на твоих ощущениях, передаваемых через носок ботинка, маска тоже прикусила язык и предалась наслаждению безмолвной беседой.

И в самом деле, вести непринужденную болтовню было опасно. Например, мы удивительно единодушно заговорили о садовых деревьях; у обоих неожиданно возникла тема женщины, не имеющей детей; в аллегориях, образных выражениях я стал произвольно употреблять химические термины — если я буду так неосторожен, появятся горы улик, которые могут предать маску. Мне кажется, человек загаживает жизнь собственными испражнениями чаще, чем собака останавливается у столбов.

Но мне был нанесен жестокий удар. Невозмутимость, с которой ты позволяла соблазнять себя, не укладывалась в

моем сознании, но я прекрасно представлял себе, насколько привлекательным было это для маски, — вот что явилось для меня страшным ударом. И ведь моя нога, касавшаяся твоей щиколотки, была действительно моей ногой, и я это отчетливо сознавал, но если не сосредоточить всех сил, то я получу лишь косвенные, несфокусированные впечатления, точно далекие события, порожденные воображением: коль скоро я отторгнут от лица, то отторгнут и от тела. Я предчувствовал это, но стоило столкнуться с подобным фактом — и меня всего переворачивало от боли. Если такое происходит со мной из-за щиколотки, то смогу ли я сохранить самообладание, когда пойму, что все твое тело доступно прикосновениям? Смогу ли я тогда противиться побуждению сорвать маску? Смогу ли я, при возросшем давлении, сохранять форму нашего сюрреалистического треугольника, и так уже напряженного до предела?..

* * *

С каким трудом, стиснув зубы, терпел я эту пытку в номере дешевой гостиницы. Не сорвав маску, не задушив себя, я скрутил себя грубой соломенной веревкой, затолкал в мешок, оставив только дырки для глаз, и вынужден был смотреть, как ты отдаешься. Вопль бессилия застрял у меня в горле. Слишком просто! Более чем просто! После встречи не прошло и пяти часов — как все просто! Если бы ты хоть для виду сопротивлялась... Ну а сколько часов удовлетворили бы меня? Шесть часов? Семь часов? Восемь часов?.. Глупость какая, комичные рассуждения... распутство твое так и останется распутством, пройдет ли пять часов, пятьдесят или пятьсот.

Но почему же тогда не положил я конец этому порочному треугольнику? Из мести? Возможно. Было и это, были, думаю, и другие мотивы. Если бы просто из мести, то, пожалуй, я по-

ступил бы правильнее всего, тут же сорвав маску. Но я трусил. Больше всего я, конечно, боялся жестоких поступков маски, безжалостно перевернувшей, разбившей всю мою спокойную жизнь, ну и, кроме того, еще страшнее был бы возврат к тем дням затворничества, когда у меня не было лица. Страх питал страх, и я, точно безногая птица, лишенная возможности опуститься на землю, вынужден был все летать и летать. Но это еще не все... Если я действительно не в силах вынести такое — есть другой выход: маска остается живой и убивает тебя... твоя неверность неопровержима, но, к счастью, в маске я имею алиби... неверность — серьезная вина... маска сможет вполне удовлетвориться...

Но я не сделал и этого. Почему? Возможно, потому, что не хотел потерять тебя? Нет, именно не желая потерять тебя, я имел достаточно оснований для убийства. Бессмысленно искать разумность в ревности. Смотри, что происходит: тогда ты упорно отвергала меня, не глядела в мою сторону, а сейчас лежишь, распластавшись под маской! Жаль, что свет был погашен и я не мог увидеть всего собственными глазами, но... твой подбородок, в котором удивительно сожительствова­ли зрелость и незрелость... темная родинка под мышкой... шрам от операции аппендицита... пучок вьющихся волос... Над всем этим надругались, всем завладели. Если бы только это было в моих силах, я бы хотел рассмотреть всю тебя при ярком дневном свете. Ты увидела и отвергла обиталище пиявок, ты увидела и приняла маску и поэтому не вправе была бы возмущаться, что увидели тебя. Но свет мне был ни к чему. Во-первых, я бы не мог снять очки. И главное, на моем теле были тоже различные отметки: шрам на бедре, оставшийся от того раза, когда мы давным-давно вместе ходили на лыжах, и многие другие, о которых я не знал, а ты, скорее всего, знала.

Вместо глаз я мобилизовал все, что может ощущать — колени, руки, ладони, пальцы, язык, нос, уши, — бросил их

в атаку, чтобы завладеть тобой. Не упуская ничего, что служило бы сигналом, исходящим от твоего тела, — ни дыхания, ни вдоха, ни движения суставов, ни сокращения мышц, ни выделений кожи, ни судороги голосовых связок.

И все же мне бы не хотелось превращаться в обыкновенного палача. Из меня были выжаты все соки, я ссыхался и в то же время должен был терпеть эту безнравственность, терпеть эту борьбу. В такой агонии и смерть теряла предполагавшуюся в ней остроту, и убийство выглядело всего лишь небольшим варварством... Что же, по-твоему, заставило меня стерпеть все это? Возможно, это покажется тебе странным — достоинство, которое ты продолжала сохранять, хотя над тобой надругались. Пожалуй, «достоинство» звучит несколько странно. Нет, это совсем не было насилием, не было и односторонним беззаконием маски — ты ни разу, ничем не показала, что отвергаешь ее, и значит, тебя нужно считать скорее соучастницей. А когда соучастник держится с достоинством со своим компаньоном, это выглядит смешно. Правильнее, видимо, сказать, что у тебя был вид уверенной в себе соучастницы. Поэтому, как бы отчаянно ни боролась маска, она не смогла превратиться в развратника, не говоря уж о насильнике. Ты оставалась буквально недоступной. Но факт остается фактом — ты безнравственна и неверна. И факт остается фактом — ревность бурлила во мне, как деготь в котле, как дым, вырывающийся из трубы после дождя, как горячий источник, кипящий вместе с грязью. Но случилось непредвиденное — встав в неприступную позу, ты в конце концов не подчинилась маске, и это поразило меня, потрясло.

Нельзя сказать, чтобы мне удалось полностью постичь, что заставило тебя безо всяких колебаний пойти на прелюбодеяние. Наверно, все же не чувственность. Если бы чувственность, ты должна была бы тогда более откровенно кокетничать. Но ты, точно совершая обряд, с начала и до конца

усердно сохраняла невозмутимость. Я действительно не понимаю. Что происходило в тебе? Я не мог уловить и намека. Плохо еще и то, что выросшее, укоренившееся чувство поражения до самого конца — во всяком случае, до того времени, когда пишутся эти записки, — так и осталось, как несмываемое пятно. Это пожирающее внутренности самоистязание страшнее припадков ревности. Хотя я надел маску специально, чтобы восстановить тропинку и завлечь тебя на нее, ты прошла мимо меня и скрылась вдалеке. И так же, как прежде, когда у меня еще не было маски, я остался один.

Не понимаю я тебя. Едва ли ты согласилась на приглашение только потому, что оно последовало и тебе было безразлично, кто приглашает, едва ли ты играла уличную женщину, но... но нет и доказательств, что это не так. Или, может быть, ты была прирожденной проституткой, а я просто этого не подозревал? Нет, проститутка не может так величественно сыграть порядочную женщину. Если бы ты была проституткой, то, удовлетворяя чужую похоть, не обливала бы человека презрением, не вынуждала к самоистязанию. Кем же ты была? Хотя маска из всех сил старалась разрушить преграду, ты, не коснувшись, проскользнула сквозь нее. Как ветер или как дух...

Я не понимаю тебя. Дальнейшие эксперименты над тобой приведут лишь к одному — к моей собственной гибели.

* * *

Наутро... хотя какое утро, было уже около полудня... мы до самого выхода из гостиницы почти не разговаривали. Из-за того, что я все время просыпался в страхе, что во сне у меня сползет маска, из-за снов, будто я куда-то должен ехать, будто по дороге потерял билет, усталость сковала переносицу, точно туда всадили кол. Благодаря маске я смог, как и ты, не допустить на лицо усталость и стыд. Но по вине той же маски



я не мог ни умыться, ни побриться. Маска, оставшаяся неизменной, туго стянула отекавшее за ночь лицо, выросшая щетина, наткнувшись на препятствие — маску, загнулась и начала вращаться в кожу — состояние ужасное. В общем, маска тоже жалкая штука. Хотелось побыстрее расстаться с тобой и вернуться в убежище.

Когда, закулив последнюю сигарету, мое настоящее лицо, вынужденное все это время играть невыгодную роль, заговорило о том, что могло вызвать у тебя муки совести, ты вдруг нерешительно протянула мне синевато-зеленую пуговицу, и я невольно вздрогнул. Это была не поднятая мной пуговица, а другая, с которой ты возилась тогда, еще полмесяца назад. В то время меня раздражало твоё увлечение, но, увидев эту пуговицу снова, я, кажется, понял тебя. Тонкие серебряные нити, точно вдавленные иглой, переплетались в волшебном беспорядке, прочерчивали толстую основу из лака. Казалось, в ней застыл твой безмолвный крик. Пуговица показалась мне приبلудной кошкой, которую от всей души любит и лелеет старая одинокая женщина. Наивно? Может быть. Но стоило мне подумать, что это страстный протест против «него», ни разу даже не вспомнившего о твоих пуговицах, и поступок твой сразу же показался мне хорошо продуманным... Я собирался обвинять тебя, но вместо этого обвиненным оказался сам — в общем, я научился мастерски сносить поражение. Кто, интересно, сказал глупость, будто женщиной можно завладеть?..

Улица вся блестела на свету, точно хромированная. Реальным был только оставшийся в носу запах твоего пота. Наскоро приведя в порядок лицо, я свалился на кровать и проснулся только на рассвете. Оказалось, что я проспал почти семнадцать часов. Лицо горело, точно по нему прошли рашпилем. Открыв окно и глядя на медленно светлеющее голубизной небо, я начал прикладывать к лицу влажное

полотенце. Постепенно небо стало приобретать цвет пуговицы, которую ты мне дала, а потом цвет вспененного винтом моря, уходящего за кормой. Меня охватила тоска, до боли вцепившись руками в грудь, я невольно завыл... Что за бесплодная чистота! В этой синеве жизнь невозможна. Как хорошо бы задушить вчера и позавчера, чтобы они исчезли. Если проанализировать мой план только с точки зрения формы, то нельзя сказать, что он не принес никакого успеха, но кто собрал с него урожай и какой? Если и был человек, собравший урожай, то им оказалась ты одна, без стеснения сыгравшая роль уличной женщины и, как огромная осязаемая тень, пробравшаяся сквозь маску. Но сейчас здесь осталась лишь синева неба и боль лица... Маска, которая должна была стать победителем, выглядела на столе нелепо, как непристойная картинка, после того как желание удовлетворено. Может, использовать ее как мишень для упражнений в стрельбе из духового пистолета?.. а потом разорвать на мелкие клочки, будто ничего и не было?..

Но в это время синева побледнела, улица начала обретать свое дневное лицо, и тогда мое малодушное нытье отвалилось, как старая болячка, и я был снова безжалостно возвращен к неизбежной действительности — скопищу пиявок. Пусть маска больше не сможет дать мне сны, похожие на праздничный фейерверк, но еще хуже — отказаться от маски и заживо похоронить себя в каменном мешке без единого окна. После вчерашнего я еще колебался, но если бы мне удалось точно найти в нашем треугольнике центр тяжести, то, пожалуй, не было бы уж так невозможно, ловко удерживая равновесие, использовать маску. Какими бы бурными ни были мои временные эмоции, любой план требует некоторого срока для доработки — это несомненно.

Я быстро поел и раньше обычного выскочил из дому. Поскольку я должен был снова оказаться в роли «самого себя»,

возвратившегося из недельной командировки, сегодня после долгого перерыва лицо опять забинтовано. Выходя, я взглянул на свое лицо, отражавшееся в окне, и оторопел. Какой ужас! Я совсем по-новому осознал чувство освобождения, которое давала маска. А что, если прямо сейчас возвратиться домой?.. Такая мысль меня самого подстегнула... Это произведет на тебя впечатление — ощущения прошлой ночи, несомненно, живы еще в твоём теле. Стоит попробовать. Но смогу ли я вынести такое? — вот в чем вопрос. Уверенности, к сожалению, не было. Ощущения прошлой ночи остались и у меня. Я, наверно, терзаю тебя в припадке ярости оттого, что все обнаружилось. Но как я ни страдал, все равно хотелось на некоторое время сохранить треугольник. А нашу встречу, когда я буду «самим собой», давай отложим на то время, когда я встречу с отрезвевшим внешним миром и успокоюсь.

Но действительно ли он отрезвел, этот внешний мир? Ворота института были еще закрыты. Когда я вошел в боковую дверь, сторож, с зубной щеткой во рту, державший в руках цветочный горшок, так испугался, что на мгновение лишился голоса. Он поспешно бросился к вестибюлю, но я остановил его и попросил дать ключ. Запах химикатов был для меня привычный, как разношенные ботинки. Безлюдное здание института напоминало обитель привидений, в которой жило лишь эхо — запахи, звуки шагов. Чтобы восстановить отношения с действительностью, я повесил на дверь табличку со своим именем и быстро переоделся в белый халат. На грифельной доске был записан ход эксперимента, проводившегося ассистентом группы С. Результаты отличные. Только это и пришло мне на ум, и больше к этой мысли я не возвращался. Находившийся в здании человек, который разжигал соперничество и ревность, был одержим жаждой славы, старался обскакать других, чтобы получить зарубежную литературу, ломал голову над проблемой кадров, закатывал истерики по поводу

финансирования экспериментов и вместе с тем усердно работал, находя в этом смысл жизни, был не я, а кто-то другой, очень на меня похожий. Мне представилось, что тот человек, которым был я, то же самое, какими здесь были сейчас запахи, звуки шагов... Это меня смущало. Значит, исходить нужно совсем из другого. В технике существуют свои собственные законы техники, и, каким бы ни было лицо, на них это не окажет влияния. Можно ли, например, утверждать, что химия, физика лишаются смысла, поскольку человеческие отношения всех уровней отсутствуют у водяных блох, медуз, паразитов, свиней, шимпанзе, полевых мышей. Конечно же, нет! Человеческие отношения всего лишь придаток человеческого труда. Иначе не осталось бы ничего другого, как сразу отказаться от паллиативного маскарада и покончить с собой...

Нет, просто чудится... никого нет, и поэтому слишком явственны запахи и звуки шагов. Никого это не беспокоит — все равно как небольшая рана на коже не может помешать работе... Что бы там ни говорили, то, что я здесь делаю, касается только меня. Стану ли я прозрачным, стану ли я безносым, станет ли мое лицо похожим на морду бегемота... пока я могу работать с аппаратурой, пока я могу мыслить, стрелка моего компаса всегда будет направлена на эту работу.

Неожиданно подумал о тебе. Существует мнение, что женщины ориентируют стрелку своего компаса на любовь. Достоверность этого сомнительна, но, кажется, женщина действительно может быть счастлива одной любовью. Ну а ты сейчас счастлива?.. Вдруг мне захотелось позвать тебя своим собственным голосом и услышать в ответ твой голос. Я снял трубку и набрал номер, но после второго гудка повесил ее. Сердце не было готово. Я все еще трусил.

Тут стали собираться сотрудники, и каждый из них приветствовал меня с сочувствием, к которому примешивался некоторый страх, — и к зданию, и ко мне наконец вернулся

человеческий дух. Слишком уж я нервничаю. Ничего особенно хорошего не произошло, но и ничего плохого не случилось. Если бы мне удалось в институте сделать тропинкой к другим людям работу, а недостающее восполнять с помощью маски и привыкнуть к такой двойной жизни, то, соединив их вместе, я бы превратился в идеального человека. Нет, маска не просто заменитель настоящего лица — она дает настоящему лицу фантастические привилегии в преодолении любой запретной ограды, открывает перед ним все двери, и поэтому мне придется вести жизнь не одного человека, а множества людей одновременно. Но все равно, сначала — привыкнуть. Я приноровлюсь — это все равно что в зависимости от места и времени с легкостью менять одежду. Ведь и граммофонная пластинка способна одновременно издавать сколько угодно звуков...

Днем произошел незначительный инцидент. В углу лаборатории собрались в кружок несколько человек, я с безразличным видом стал приближаться к ним, и стоявший в центре молодой ассистент попытался что-то спрятать. Когда я спросил, оказалось, что и прятать-то нечего: это был подписной лист, в котором говорилось о том, как следует разрешить вопрос о возвращении на родину корейцев. Вдобавок, хотя я и не сделал ему замечания, он начал многословно извиняться, а остальные смущенно наблюдали за происходящим.

...Уж не потому ли, что человек, лишенный лица, не имеет права поставить свою подпись в пользу корейцев? Конечно, у ассистента не было злого умысла — просто он, наверно, заметил, что я возбужден, и из жалости ко мне решил держаться на почтительном расстоянии. Если бы у людей никогда не было лица, сомнительно, что могла бы возникнуть проблема расовых различий, будь то у японца, у корейца, у русского, у итальянца или у полинезийца. Все-таки почему же тогда этот молодой человек, такой великодушный, делал подобное различие между мной, лишенным лица, и корейцами, имеющими

другое лицо? Нельзя ли предположить, что когда человек в процессе эволюции ушел от обезьяны, то произошло это не благодаря руке и орудию, как обычно утверждают, а потому, что он сам стал выделять себя по лицу?

Тем не менее, не возмущаясь, я попросил, чтобы мне тоже дали подписать. Все, по-видимому, облегченно вздохнули. Но какой-то неприятный осадок все равно остался. Что заставляло меня делать то, к чему совсем не лежала душа? Невидимая стена, именуемая «лицом», преграждала мне путь. Можно ли говорить о том, что мир отрезвел?..

Вдруг я почувствовал непреодолимую усталость и под каким-то благовидным предлогом раньше обычного ушел домой. Я еще не мог утверждать, что ко мне вернулась уверенность, будто у меня настоящее лицо, но на большие улучшения рассчитывать не приходилось. Во всяком случае, мое лицо забинтовано, и, если я не заговорю, нечего беспокоиться, что ты заметишь мое волнение, да и не я один буду волноваться. Пожалуй, гораздо больше нужно тревожиться о том, чтобы, глядя на твое волнение, притвориться, что не видишь его. Я без конца повторял себе, что даже если замечу, что ты в сильном замешательстве, это не должно взвинтить меня, заставить потерять над собой контроль.

Но, встретив меня после недельной разлуки, ты не выказала и тени стыда — во всем твоём поведении, в каждой черточке лица, точно так же, как и неделю назад, таилась насмешка, и сначала я даже оторопел от такой безучастности. Казалось, будто тебя доставили в самолете-рефрижераторе точно такой, какой ты была до моего отъезда. Возможно, мое существование так мало значило для тебя, что ты не считала нужным тратить силы на то, чтобы хранить свои тайны? Или, может быть, на самом деле ты была дьяволом в образе ангела, нахальное бесстыдство составляло истинную твою сущность? В конце концов я сердито попросил тебя рассказать, что произошло

в мое отсутствие, и ты, ничуть не изменившись в лице, с невинным видом продолжая возиться с моей одеждой, начала болтать, точно ребенок, в одиночестве забавляющийся кубиками, о тревоживших тебя домашних делах: соседи, нарушая инструкции архитектурного управления, стали делать пристройку к своему дому, и у них с властями началась письменная баталия, а у их ребенка — бессонница из-за собачьего лая, ветви деревьев во дворе сильно свешиваются на улицу, может быть, стоит закрывать окно, когда мы включаем телевизор, стиральная машина противно шумит, может, купить новую. Неужели это тот самый человек, который прошлой ночью щедро, точно фонтан, переполнял меня чувством, что передо мной зрелая, настоящая женщина?.. не верится... я так отчаянно борюсь с раздвоением между лицом и маской, начавшимся уже после того, как я был во всеоружии, а ты хладнокровно выдержала раздвоение, которое было для тебя совершенно неожиданным, и у тебя не осталось и тени раскаяния... в чем же дело?.. Как это несправедливо!.. А если сказать тебе, что я все знаю?.. будь у меня при себе та пуговица, я бы сейчас молча сунул ее тебе под нос.

Но мне оставалось одно — молчать как рыба. Открыть тайну маски — значило разоружиться. Нет, если бы мне удалось спустить тебя до одного со мной уровня, тогда бы можно и разоружиться. Но все равно баланс будет не в мою пользу. Даже если я сорву с тебя маску лицемерия, на тебе их тысяча, и одна за другой будут появляться все новые, а у меня маска одна, и под ней — только мое настоящее лицо.

Наш дом, в котором я не был уже неделю, как губка, пропитался привычной повседневностью, и стены, и потолок, и циновки на полу — все казалось неколебимо прочным, но тому, кто познал маску, эта прочность представлялась еще одной запретной оградой, тоже привычной. И так же как существование ограды было скорее условным, чем реальным, мое суще-

ствование без маски стало неуловимо-призрачным; маска же, или тот, еще один мир, к которому я прикоснулся благодаря маске, представлялась мне реально существующей. Не только стены нашего дома казались мне такими, но и ты тоже... Хотя не прошло еще и суток, как я испытал безнадежное чувство поражения, которое можно сравнить только со смертью, но я уже ощущал парализующую меня жажду твоей реальности, открывшейся мне благодаря осязанию. Меня охватила дрожь. Когда крот не касается каких-либо предметов кончиками своих усов, он начинает нервничать; так и я — мне нужно было что-нибудь трогать руками... так чувствует себя наркоман, у которого кончился наркотик, хотя он прекрасно понимает, что это сильнейший яд... вероятно, я уже начал ощущать симптомы запрета...

Дольше я не мог терпеть. Мне было все равно, я хотел одного — скорее приплыть обратно, к твердой земле. Я считал, что это наш дом, а он оказался временным пристанищем, и я подумал даже, что как раз маска — не «временное» лицо, а настоящая твердая земля, излечившая меня от морской болезни. И я решил уйти сразу же после ужина, под тем предлогом, что неожиданно вспомнил об эксперименте, прерванном на время моей командировки, который нужно было закончить как можно быстрее. Я сказал, что это такой эксперимент, который нельзя прерывать, и, может быть, придется заночевать в институте. И хотя такого раньше никогда не случалось, ты сделала вид, что сожалеешь, и ни малейшего сомнения, ни малейшего недовольства не отразилось на твоем лице. Действительно, стоило ли принимать близко к сердцу какой-то предлог, придуманный привидением без лица, чтобы переночевать вне дома.

Не доходя до своего убежища, я, не в силах больше терпеть, позвонил тебе.

— Он... вернулся?

— Да, но вскоре ушел. Сказал, что работа...

— Хорошо, что ты подошла. Если бы он — пришлось бы сразу бросить трубку.

Я говорил беззаботно, что было логическим продолжением моего безрассудства, но ты, чуть помолчав, сказала тонким голоском:

— Жаль его очень...

Эти слова просочились в меня и, как чистый спирт, мгновенно разлились по всему телу. Если вдуматься, это была первая твоя мысль о «нем». Но сейчас мне было не до того. Я утону, если мне сейчас же не бросят бревно ли, железную бочку — все равно, было бы за что ухватиться... Существой он на самом деле, наша тайная встреча была бы чистым безрассудством. Он мог вернуться в любую минуту, по любому делу. И даже если бы не вернулся, вполне мог позвонить по телефону. Ладно бы днем, но как ты оправдаешь уход из дому в такое время? Я думал, что тебе придет на ум именно эта мысль и ты будешь, конечно, колебаться... Но ты сразу же без колебаний согласилась. Интересно, ты тоже, наверно, ничуть не хуже меня барахталась в волнах, высматривая, за что бы ухватиться? Да нет, просто ты такая же бесстыдная. Притворщица, лицемерка, наглая, вертихвостка, развратница, эротоманка — скрипя зубами, я криво усмехнулся, бинты скрывали это, а потом бывшая меня дрожь прекратила скрежет и заморозила улыбку.

Кто же ты, наконец? Кто же ты, прошедшая через все, не противясь, не робея, не ломая преграды, соблазнившая соблазнителя, заставившая развратника заниматься самоистязанием, ты, над которой так и не надругались? И ведь ты ни разу не пыталась спросить маску об имени, фамилии, занятии... будто рассмотрела истинную ее сущность... как бледнеют и свобода маски, и ее алиби перед твоим поведением... если Бог есть, пусть он сделает тебя охотником за масками... во всяком случае, меня ты подстрелила.



* * *

На дорожке у черного хода меня кто-то окликнул. Дочь управляющего. Она требовала йо-йо. Я едва было не ответил, но это продолжалось лишь мгновение, а потом, в ужасе запрокинув голову, я чуть не убежал. Договаривался ведь с девочкой не я, а маска. С трудом сдерживаясь, в смятении, я жестом показал, что не догадываюсь, о чем идет речь, — единственное, что мне оставалось. Нужно было дать понять девочке, будто я думаю, что она просто обозналась.

Но девочка, не обращая никакого внимания на устроенный мной спектакль, повторила свое требование: йо-йо. Может быть, она думала примитивно, что, поскольку «маска» и «бинты» — братья, договор с одним автоматически распространяется и на другого? Нет, это заманчивое объяснение было начисто разбито словами девочки:

— Не беспокойтесь... Ведь мы играем в секреты...

Неужели она меня с самого начала раскусила?! Как же ей это удалось? Где я допустил ошибку? Может быть, она сквозь щель в двери видела, как я надеваю маску?

Но девочка, недоверчиво покачивая головой, без конца повторяла, что не понимает, зачем я делаю вид, что не понимаю. Наверно, моя маска не в состоянии обмануть даже глаза недоразвитой девочки... нет, наоборот, пожалуй, именно потому, что девочка умственно отсталая, она смогла увидеть меня насквозь. Так же как моей маске не удастся провести собаку. Нерасчлняющая интуиция часто оказывается острее аналитического взгляда взрослого человека. Но конечно же, у маски, которая смогла обмануть даже тебя, находившуюся совсем рядом, не может быть такого недостатка.

Нет, значение этого опыта далеко не так просто, как выискивание алиби. Неожиданно я увидел бездонную глубину этой «нерасчлняющей интуиции» и был уже не в силах

сдерживать охватившую меня дрожь. Та же интуиция наводила на мысль, что весь мой опыт, приобретенный в течение этого года, может рассыпаться в прах от одного удара... Ну подумай сама, разве не свидетельствует это о том, что девочку не обманул мой внешний вид — бинты, маска и она разглядела мою сущность? Такие глаза действительно существовали. В глазах этого ребенка мой поступок был, несомненно, шуткой.

И горячие порывы маски, и досада из-за пиявок вдруг представились мне бесконечно ничтожными, и вращавшийся со скрипом треугольник, как карусель, у которой выключили мотор, стал постепенно останавливаться...

Оставив девочку за дверью, я вынес ей йо-йо. Она еще раз тихонько прошептала: «Играем в секреты», а потом подетски, не в силах спрятать улыбку в углах рта, намотала на палец нитку и вприпрыжку побежала вниз. Без всякой причины глаза мои налились слезами. Умыв лицо, я стер мазь, нанес клейкий состав и надел маску, но почему-то она не прилегла плотно к лицу! А, все равно... Я был спокойно-печален, как поверхность застывшего озера под облачным небом, но все время повторял себе, что должен до конца поверить глазам ребенка. У всякого, кто серьезно хочет общаться с другими людьми, есть лишь один выход — сперва вернуться к той самой интуиции...

* * *

В тот вечер, возвратившись после второго свидания с тобой, я наконец решился начать эти записки.

В самый волнующий момент нашей близости я готов был сорвать маску. Невыносимо было видеть, как ты, без тени сомнения, дала соблазнить себя моей маске, которую легко разгадала даже дочь управляющего. К тому же я просто устал. Из средства вернуть тебя маска превращалась в скрытую

кинокамеру, помогающую убедиться в твоём предательстве. Я сделал маску, чтобы возродить себя, но стоило ей появиться, как она вырвалась из рук, то с наслаждением убегая от меня, то злясь за то, что я стою на её пути. И только ты, оказавшись между нами, осталась незадетой. Что было бы, если бы я позволил событиям так развиваться и дальше? «Я» при любом удобном случае пытался бы убить маску, а «маска», оставаясь маской, всеми способами удерживала бы меня от мести. Она бы, например, отговаривала убить тебя...

В конце концов, если я не хотел обострять положение, не оставалось ничего другого, как ликвидировать этот треугольник путём трёхстороннего соглашения, в котором должна участвовать и ты. Вот почему я и начал писать эти записки... Вначале маска презрительно отнеслась к моему решению, но не могла ничего поделать и стала молча насмехаться надо мной... с тех пор прошло почти два месяца. За это время мы встретились с тобой ещё раз десять, и каждый раз меня терзала мысль о надвигающейся разлуке. Это не пустые слова, меня действительно терзала такая мысль. Нередко мной овладевало отчаяние, и я уже совсем было бросил свои записки. Я все надеялся, что произойдёт чудо — проснувшись однажды утром, я обнаружил, что маска плотно прилипла к лицу и превратилась в моё настоящее лицо, я даже пробовал спать в маске. Но чудо не свершалось. И я продолжал писать — другого выхода у меня не было.

В те дни меня больше всего воодушевляло наблюдение за девочкой, которая, спрятавшись от посторонних глаз в укромном уголке у черного хода, тихонько играла со своим йо-йо. Девочка, отягченная огромной бедой и не сознающая, что это беда, — насколько счастливее она нормальных людей, страдающих от своих бед. Может быть, это был инстинкт — она не боялась что-либо потерять. И я, так же как девочка, хотел оказаться способным пережить свои потери.

Случайно в сегодняшней газете я увидел фотографию странной маски. Кажется, маски какого-то дикого племени. Шедшие по всему лицу борозды, будто вдавленные веревкой, образовывали геометрический рисунок; похожий на сороконожку нос, извиваясь посередине лица, доходил чуть ли не до волос; с подбородка свисали какие-то непонятные предметы. Печать была нечеткой, но я как зачарованный неотрывно смотрел на фотографию. Раздвоившись, на фотографии всплыло татуированное лицо дикаря, всплыли прикрытые чадрой лица арабских женщин, и я вспомнил услышанный от кого-то рассказ о женщинах из «Повести о Гэндзи»¹, которые считали, что обнажить лицо перед незнакомцем — то же, что обнажить срам. Да не от кого-то, а от тебя. Это услышала маска в одну из наших встреч. Зачем понадобилось тебе заводить такой разговор? Те женщины были убеждены, что мужчине можно показать лишь волосы, и даже умирали они, прикрыв лицо рукавом кимоно. Пытаясь разгадать твой замысел, я много думал о женщинах, прятавших своё лицо, и неожиданно перед моими глазами развернулись, как свиток, те времена, когда не существовало лиц, — я был потрясен. Значит, ещё в древности лицо не было тем, что выставляют напоказ, и только цивилизация направила на лицо яркий свет, и впервые лицо превратилось в душу человека... а если лицо не просто существовало, а было создано, значит, и я, собираясь изготовить маску, на самом деле никакой маски не сделал. Это моё настоящее лицо, а то, что я считал настоящим лицом, на самом деле оказалось маской... ну ладно, хватит, теперь уж все равно... кажется, и маска собирается как-то поладить со мной, так что, пожалуй, на этом можно и кончить, как ты считаешь?... только потом, если удастся, хотелось бы послушать

¹ Японский роман XII века.

и твое признание... не знаю, куда нас все это заведет, но думаю, нам есть еще о чем поговорить.

Вчера для нашей последней встречи я передал тебе план, как попасть в мое убежище. Условленное время приближается. Не пропустил ли я чего-нибудь? А-а, все равно, времени уже нет. Маска с сожалением расставалась с тобой. Та пуговица принадлежит маске, давай похороним их вместе.

Итак, ты уже все прочла. Ключ лежит под пепельницей у изголовья — я хочу, чтобы ты открыла платяной шкаф. Прямо перед собой ты увидишь резиновые сапоги, а левее — останки маски и пуговицу. Делай с ними что хочешь — представляю это тебе. К твоему приходу я уже буду дома. От всей души надеюсь, что, когда ты вернешься, у тебя будет обычное выражение лица, точно ничего не произошло...

*Записки для себя,
сделанные на последних страницах
серой тетради*

...Я все ждал. Просто продолжал ждать совершенно бесчувственно, как росток в поле, который всю зиму топчут ногами, и ему остается одно — ждать, когда подадут знак и разрешат поднять голову...

Представляя тебя, сидящую в неудобной позе — даже ноги не успела вытянуть — и читающую эти тетради в моем убежище, я превратился в первобытное чудовище с единственным нервом и тихо парил в бесцветных пустых ожиданиях...

Но странно, в моем уме только всплывал твой образ, а след, который оставляют в тебе эти записки, я совсем почему-то не мог уловить. Больше того, даже содержание записок, много



раз перечитанных мной, которые я должен был знать настолько, чтобы, не сходя с места, прочесть наизусть с начала до конца, это содержание, словно пейзаж сквозь грязное стекло, ускользало от меня, и я не мог различить даже нить, благодаря которой ожили бы воспоминания. Мое сердце было бесчувственно-холодно и просолено, как сушеная каракатица. Может быть, потому, что я на все махнул рукой — сколько теперь ни суетись, изменить уже ничего нельзя. Такую же точно опустошенность я испытывал, закончив серию опытов. И чем важнее были опыты, тем глубже была опустошенность.

Результатом нашей рискованной игры и было мое состояние — решай все ты, пусть выпадет любая кость. Я прекрасно понимал, что разоблачение маски больно ранит тебя, тебе станет стыдно. Но и ты своим предательством нанесла мне удар — так что мы квиты, ничья. Все равно у меня нет никаких оснований держаться вызывающе, и я отнюдь не собираюсь попрекать тебя, какой бы ни была твоя реакция на эти записки. Пусть положение еще хуже, чем было до маски, и наши отношения как бы вмерзли в глыбу льда, все равно я готов принять любую твою реакцию на записки — во всяком случае, будет хоть какое-то решение.

Нет, может быть, это нельзя назвать решением в полном смысле слова, но хотя бы каким-то выходом. Горькое раскаяние, досада, чувство поражения, проклятие, самоуничижение... я скомкал все злые мысли, которые охватили меня, и, хорошо ли, плохо ли, вздохнул с облегчением, будто сделал огромное дело. Нельзя, конечно, сказать, что мне не хотелось, чтобы все было по-хорошему, но одно то, что даже в постели я не сорвал маску, а предпочел рассказать тебе обо всем в записках, одно это означало, что я выбросил белый флаг. К чему бы это ни привело, все лучше, чем любовный треугольник — самоотравление ревностью, разрастающейся, точно раковые клетки.

Но все же, если вдуматься, нельзя утверждать, что я не собрал никакого урожая. И хотя на первый взгляд мои старания были напрасны и я ничего не добился, все равно пережитое не прошло для меня бесследно. Во всяком случае, одно то, что я понял — настоящее лицо всего лишь несовершенная маска, — разве это не колоссальное приобретение? Может быть, я был слишком оптимистичен, но это мое понимание превратилось для меня в огромную силу, и мне казалось, что если я обречен навеки быть закованным в глыбу нетающего льда, то и в этой глыбе льда смогу отыскать жизнь и уж постараюсь во второй раз не предпринимать напрасных усилий... Но лучше подумать обо всем этом на покое, после того, как ты вернешься, держа в руках условия капитуляции. Сейчас, во всяком случае, мне оставалось одно — ждать.

Как марионетка с перерезанными ниточками, я бессильно рухнул на пол, мне хотелось одного — уменьшить, насколько возможно, сопротивление потоку времени. Светлый прямо- угольник неба, вырезанный оконной рамой и соседним домом, казался тюремной оградой. Я не отрывал от него глаз, стараясь убедить себя в этом. И мысль, что заключенный не я один, что весь мир — огромная тюрьма, соответствовала моему тогдашнему состоянию. Я продолжал свою мысль: каждый стремится вырваться из этого мира. Однако настоящее лицо, сделавшись ненужным, как хвост человеку, неожиданно обернулось кандалами, и нет никого, кому бы удалось вырваться. Я — другое дело... я единственный, кому удалось, пусть на короткий миг, вкусить жизнь за оградой. Я не вынес ее слишком плотной атмосферы и сразу же вернулся обратно — это верно, но я познал эту жизнь. И если не отрицать жизни за оградой, настоящее лицо — не что иное, как модель несовершенной маски, — не вселяет никакого чувства превосходства. Теперь, когда ты услышала мое признание, думаю, ты не сможешь возразить, во всяком случае против этого.

Однако по мере того, как бетонная стена, закрывшая небо, постепенно теряла цвет и растворялась во мраке, меня начала охватывать непреодолимая злоба — к чему все эти усилия абстрагироваться от того, что время безжалостно движется. До какого места ты дочитала? Нетрудно прикинуть, если знать, сколько в среднем страниц можно прочесть в час. Предположим, в минуту одна страница, значит, шестьдесят страниц... с тех пор прошло четыре часа двадцать минут, следовательно, ты вот-вот должна кончить. Но ты, конечно, отвлекалась, не могла не перечитать некоторые места. Были моменты, когда, стиснув зубы, как во время качки на море, тебе приходилось перебарывать себя. Но все равно, сколько бы ты ни прерывала чтение, тебе потребуется еще не больше часа.

...Тут я без всякой причины вскочил и сразу же подумал, что, в общем, никакой необходимости вставать у меня не было, но желание лечь снова пропало. Я встал, зажег свет и поставил на плиту чайник.

По дороге из кухни я неожиданно почувствовал твой запах. Видимо, это был запах косметики, исходивший от туалетного столика, стоявшего в спальне у самой двери.

Подступила тошнота, как это бывает, когда глубоко в горле смазывают йодом. Наверно, моментальная реакция выползших наружу пиявок. Но я, уже игравший однажды в спектакле масок, имел ли я теперь право брезгливо морщиться от косметики, которую употребляют другие? Нужно быть терпимее. Раз и навсегда я должен подняться над детским предубеждением против косметики и париков. Тогда, следуя методу, каким лечат от отвращения к змеям, я решил сконцентрировать все свое внимание на психологии косметики. Косметика... изготовление лица... оно, естественно, представляет собой отрицание настоящего лица. Отважное усилие — изменив выражение лица, постараться хоть на шаг приблизиться к чужому человеку. Но когда косметика приносит ожидаемый эффект...

могут ли женщины не испытывать тогда ревность к этой косметике? Что-то незаметно... И вот что странно... почему даже самая ревнивая женщина никак не реагирует на чужого человека, захватившего ее лицо? От скудости воображения или из духа самопожертвования?... а может быть, от избытка и самопожертвования, и воображения, не дающего установить разницу между собой и чужим человеком?... Все это было мимо цели и совсем не излечивало от отвращения к косметике. (Сейчас, конечно, все иначе. Сейчас бы я продолжил, думаю, так. Женщины способны на ревность к своей косметике, видимо, потому, что интуитивно убеждаются в падении ценности настоящего лица. Они, забыв о собственности, инстинктивно чувствуют, что ценность настоящего лица — не более чем реликт того времени, когда наследственная собственность была гарантией положения в обществе. Может быть, это доказывает, что они гораздо реалистичнее и разумнее мужчин относятся к авторитету настоящего лица? Правда, те же женщины налагают запрет на косметику, когда это касается детей. Может быть, где-то у них гнездится беспокойство? Но все равно ответственность за это лежит не столько на отсутствии уверенности у женщин, сколько на консерватизме начального образования. Если со школьной скамьи внедрять в сознание учащихся представление о пользе косметики, то, естественно, и мужчины будут воспринимать косметику без сопротивления... Ну ладно, хватит. Сколько бы возможных объяснений я ни давал, в конечном счете это лишь жалкие оправдания осужденного. Во всяком случае, ясно одно — даже маска не в состоянии излечить мое отвращение к косметике.)

Чтобы отвлечься, включил телевизор. Не везет так не везет — показывали иностранную хронику, как раз шла передача о выступлении американских негров. Несчастливого негра в разодранной рубашке волочили белые полицейские, а диктор деловито вещал:

— Расовые беспорядки в Нью-Йорке, вызвавшие столько беспокойства на пороге долгого черного лета, привели к результатам, которые и предсказывались компетентными лицами. Улицы Гарлема наводнило более пятисот полицейских в касках, негров и белых. Приняты предупредительные меры, как летом 1943 года. В ряде церквей одновременно с воскресной службой проводятся митинги протеста. И полицейские, и жители Гарлема смотрят друг на друга с презрением и недоверием...

Мной овладело отвратительное ощущение боли и тоски, точно в зубах застряла острая рыбья кость. Конечно, между мной и негром нет ничего общего, за исключением того, что мы превратились в объект дискриминации. У негра есть товарищи, такие же, как он, я же совершенно одинок. Негритянская проблема может стать серьезной социальной проблемой, а то, что касается меня, остается в рамках, ограниченных мной одним, и ни на шаг не сможет вырваться из них. Но от этих сцен волнений у меня захватило дух, потому что я вдруг представил себе собравшихся вместе несколько тысяч мужчин и женщин, так же, как я, потерявших лицо. Интересно, поднимемся ли мы против предрассудков так же решительно, как негры? Нет, это невозможно. Скорее мы передеремся между собой, так как нам опротивеет безобразие друг друга, или же разбежимся кто куда, чтобы не видеть друг друга. Нет, такое бы еще можно вынести. Но меня, кажется, захватила мысль об этих волнениях. Безо всякой видимой необходимости, воспользовавшись первым попавшимся поводом, полчища нас, чудовищ, пойдут в атаку на лица обыкновенных людей. Из ненависти? Или, может быть, из вполне утилитарного тайного стремления уничтожить нормальное лицо и хотя бы одним человеком пополнить свои ряды? И то, и другое могло, несомненно, послужить достаточно веским стимулом, но над всем преобладало страстное желание простым солдатом

затеряться в водовороте восстания. Ведь именно солдат ведет совершенно анонимное существование. Хотя он и не имеет лица, это не препятствие для выполнения долга, и, таким образом, смысл существования для него обеспечен. Неожиданно окажется, что безликая воинская часть — идеальное формирование. Идеальная боевая часть, которая, не дрогнув, пойдет на разрушение ради разрушения.

В мечтах все могло произойти именно так. Но в действительности я был по-прежнему одинок. Я, не убивший и пичужки, хотя в кармане лежал духовой пистолет. С отвращением выключив телевизор, посмотрел на часы — время, которое я тебе отпустил, истекает...

И тут я окончательно потерял покой. Я прислушивался к каждому звуку, ежеминутно поглядывал на часы — отвратительное чувство, как при наводнении, когда неумолимо прибывает вода. Стой, шаги!.. нет, залаяла соседская собака, видимо, чужой. А сейчас? Опять не то... у тебя шаги не такие тяжелые. Вот подъехала машина, хлопнула дверца, но, к сожалению, в переулке за домом. Мне становилось все тревожнее. Что же наконец произошло? Не случилось ли чего? Может, попала в аварию? Может, преследует какой-нибудь развратник?.. но тогда могла бы по крайней мере позвонить... даже ты, так любящая разврат... не нужно, есть вещи, над которыми нельзя шутить... то, что произошло, покрыто такой нежной, такой тонкой кожей, что ее нельзя касаться словами...

Если я так беспокоюсь, то, может быть, лучше пойти тебе навстречу? Нечего пороть горячку. Выйди я сейчас, и мы разминемся — этим дело и кончится. Даже если ты уже дочитала, тебе могло потребоваться больше времени, чем я предполагал, на то, чтобы переварить прочитанное, чтобы обдумать, как лучше ответить мне. Кроме того, тебе предстояло еще похоронить маску, которую я поручил твоим заботам. Тетради ты оставишь как вещественное доказательство, но все равно,

чтобы без остатка стереть все следы этого дурного сна, ты захотела на мелкие кусочки раскрошить, разорвать маску и пуговицу — и это тоже потребовало, возможно, больше времени, чем я рассчитывал. В общем, теперь все дело во времени. Не исключено, что ты уже на пути к дому. Еще через три минуты ты поднимешься на крыльцо, как обычно, коротко позвонишь два раза... Еще две минуты... Еще минута...

Не вышло. Попробую еще раз сначала. Еще пять минут... еще четыре минуты... еще три минуты... еще две минуты... еще одна минута... Я без конца повторял и повторял это, и уже девять часов, десять часов, стрелки подходят к одиннадцати. Мои нервы напряглись, превратились в стальные трубки, которые звенели, резонируя в такт уличному шуму. Я шепотом задавал себе вопросы. Что же еще могло произойти?.. куда ты могла пойти, кроме дома?.. но ответа никакого не получал... вполне естественно... ответа и не могло быть... если ты правильно поняла мои записки...

Неожиданно я начал ругаться. Ругаясь, судорожно обматывал бинтами лицо, потом, едва прикрыв дверь, выскочил на улицу. Чего я мешкаю! Если так, нужно наконец решиться! Ведь, может быть, уже поздно! Поздно? Что поздно? Я и сам как следует не знал, почему употребил это слово, но предчувствия были мрачными, наполненными трагической атмосферой несчастья, точно меня загнали глубоко в горло чудовища.

...И предчувствия эти оправдались. Было около двенадцати, когда я подошел к дому, где снимал комнату. Свет в комнате не горел, не было никаких признаков, что в ней кто-то есть. Нещадно ругая себя за самоуверенность, с которой я ждал до такого позднего часа, я поднялся по черной лестнице и, ощущая во рту горечь, открыл дверь. Сердце громко стучало, точно билось о тонкую парафиновую бумагу. Убедившись, что из комнаты не доносится ни звука, я зажег свет. Тебя не было.

Твоего трупa тоже. В комнате ничего не изменилось с тех пор, как я покинул ее. На столе аккуратно лежали три тетради и даже записка на листке бумаги, в которой я писал, чтобы ты начинала читать с первой страницы первой тетради, осталась лежать, прижатая бутылочкой чернил. Может быть, ты вообще не появлялась в этой комнате? Я все больше недоумевал... хотя мне было бы легче, если бы ты исчезла, не прочитав, а не скрылась, прочтя. Несчастье все равно произошло. Заглянул в шкаф. Не было никаких признаков, что ты касалась маски и пуговицы.

Хотя, постой... запах... запах, несомненно, твой — к нему примешался легкий запах плесени и пыли. Значит, ты здесь все-таки появлялась. Но то, что все, вплоть до записки, осталось на своих местах, можно воспринять как знак, что ты игнорировала тетради... но тогда почему же ты зашла так далеко?

Случайно взглянув на записку, я вздрогнул. Бумага была та же, на которой писал я, но почерк совсем другой. Это было письмо ко мне, которое ты написала на обороте записки. Видимо, сбежала, прочитав тетради. Итак, произошло самое худшее из того, что я предполагал.

Нет, не нужно так легко употреблять слова «самое худшее». Содержание письма превзошло все мои предположения, ошеломило меня. Страх, растерянность, боль, страдание — все это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал. Как в загадочной картинке, где один штрих превращает блоху в слона, все мои попытки превратились в противоположное тому, на что я рассчитывал. Решимость маски... идеи маски... борьба с настоящим лицом... все мои надежды, которые я пытался осуществить с помощью этих записок, обернулись глупым фарсом. Ужасно. Кто бы мог вообразить, что человек способен так насмеяться над собой, так оплевать самого себя?..

То, мертвое, что лежит в шкафу, — не маска, а ты сам. О твоём маскараде знала не только девочка, игравшая с йо-йо. С самой первой минуты... с той самой минуты, когда ты самодовольно говорил о возмущении магнитного поля, я поняла все. Ты поинтересуешься, как я это поняла, — не спрашивай, пожалуйста, больше ни о чем. Я, конечно, растерялась, была смущена, испугана. Что ни говори, это были дерзкие действия, которых даже невозможно было ожидать от тебя, человека самого заурядного. И поэтому, когда я увидела, как самоуверенно ты ведешь себя, мне показалось, что у меня галлюцинация. Ты прекрасно знал, что я вижу тебя насквозь. И, зная, ты все равно настаивал на том, чтобы мы продолжали этот спектакль. Вначале все представилось мне ужасным, но потом я взяла себя в руки и подумала, что ты делаешь это ради меня. Ты вел себя несколько смущенно, был нежен со мной, мягок, казалось, ты приглашаешь меня на танец. И когда я увидела, как ты изо всех сил стараешься быть серьезным и делаешь вид, будто ты обманут, сердце мое наполнилось благодарностью и мне захотелось послушно пойти за тобой.

Но ты ведь все время заблуждался. Ты пишешь, будто я оттолкнула тебя, — это ложь. Разве не ты сам себя оттолкнул? Состояние, когда хочешь оттолкнуть себя, мне кажется, я понимаю. И поскольку с тобой такое случилось, я почти примирилась с мыслью разделить твои страдания. Вот почему я обрадовалась твоей маске. Даже о том, что случилось, я думала со счастливым чувством. Любовь срывает маски, и поэтому нужно стараться надеть маску для любимого человека. Ведь если не будет маски, не будет и счастья срывать ее. Ты меня понимаешь?

Не можешь не понять. До самой последней минуты у тебя были сомнения: не настоящее ли лицо то, которое ты считал

маской, не маска ли то, что ты считал настоящим лицом? Разве не так? Конечно, так. Любой, кого соблазняют, поддается соблазну, прекрасно это сознавая.

Итак, маска уже не возвратится. Вначале с помощью маски ты хотел вернуть себя, но с какого-то момента ты стал смотреть на нее лишь как на шапку-невидимку, чтобы убежать от себя. И поэтому она стала не маской, а другим твоим настоящим лицом. Правда? Наконец ты предстал в своем истинном облике. Это была не маска, это был ты сам. Только если не скрываешь от другого, что маска есть маска, имеет смысл надеть ее. Возьми косметику женщин, столь не любимую тобой, — никто не пытается скрыть, что это косметика. В общем, плохой была не маска, просто ты плохо знал, как с ней обращаться. Доказательство? Хотя ты и надел маску, все равно ничего не смог сделать. Не смог сделать ни хорошего, ни плохого. Лишь бродил по улицам, а потом написал эти признания, бесконечные, как змея, ухватившая себя за хвост. Было бы обожжено твое лицо или нет, надел бы ты маску или нет — на тебе бы это никак не отразилось. Ты не можешь позвать маску обратно. И поскольку не вернется маска, стоит ли возвращаться и мне?..

Но все равно признания страшные. Мне казалось, будто меня, совершенно здоровую, насильно положили на операционный стол и режут и кромсают сотнями мудреных скальпелей и ножниц неизвестного назначения. Под этим углом зрения прочти еще раз то, что ты написал. И ты обязательно услышишь мои стоны. Если бы у меня было время, я бы объяснила тебе значение каждого моего стога. Но я боюсь, что замешкаюсь и ты успеешь прийти. Ты моллюск. Хотя ты и говоришь, что лицо — тропинка, связывающая людей, но сам ты моллюск, ты точно таможенный чиновник, только и стараешься захлопнуть створки дверей. Ты, такой благородный, не можешь успокоиться, поднимаешь шум, будто я, которую ты изо всех сил удерживал за стеной, перебралась через эту сте-

ну, не уступающую тюремной ограде, и похитила твою жену. И ты, не произнеся ни слова, поспешно заколотил створки маски, как только в поле зрения оказалось мое лицо. Действительно, как ты говоришь, мир наполнен смертью. Но разве сеять смерть не занятие подобных тебе людей, не желающих знать никого, кроме себя?

Тебе нужна не я — тебе нужно зеркало. Любой чужой человек для тебя не более чем зеркало с твоим отражением. Я не хочу возвращаться в эту пустыню зеркал. Мое сердце готово разорваться от твоего издевательства — никогда, никогда в жизни я не примирюсь с ним.

(Дальше идут еще две строчки, зачеркнутые так густо, что прочесть ничего не возможно.)

* * *

...Какой неожиданный удар. Сразу распознав в моей маске маску, ты продолжала притворяться обманутой. Тысячегоние черви стыда поползли по мне, выбирая места, где легко появляется гусиная кожа, — подмышки, спину, бока. Нервы, ощущающие стыд, наверняка находятся у самой поверхности кожи. Я покрылся сыпью позора, вспух, точно утопленник. Пользоваться избитым выражением, что я не хочу быть клоуном, не сознающим себя клоуном, бессмысленно, так как сами эти слова стали словами клоуна. Ведь ты меня видела насквозь. Не похоже ли это на театр, в котором играл всего один актер, считавший себя невидимым, полный веры в лживые заклинания, даже не представляющий, что он весь на виду. Кожу вспахивали мурашки стыда. А в бороздах вспаханной кожи вырастали иглы морского ежа. Еще немного, и я превращусь в колючее животное...

Я стоял покачиваясь, в полной растерянности. А когда увидел, что и тень тоже покачивается, понял, что это не мое вооб-



ражение — я действительно покачиваюсь. Да, я допустил непростительную ошибку. Где-то сел, видимо, не в тот автобус. До какого же места должен я возвратиться, чтобы пересест на нужный мне? Все еще покачиваясь, пытался освежить память, сверяясь с затертой, перепачканной картой.

Поздняя ночь, полная ревности, когда я решил писать эти записки... день соблазнения, когда я впервые заговорил с тобой... утро, когда я решил, что стану развратником... улыбающийся рассвет, когда была закончена маска... хмурый вечер, когда я взялся за изготовление маски... и долгий период бинтов и пиявок, которые привели меня к этому... нужно дальше возвращаться?.. Хотя я и зашел так далеко, но, если сделаю пересадку не там, где нужно, мне придется искать пункт отправления совсем в другой стороне. Неужели и правда во мне всегда была гнилая вода, как ты утверждаешь?..

В общем-то мне незачем покорно принимать твое обвинение. И прежде всего трудно согласиться с мыслью, что семена смерти сеет тот, кто, подобно мне, не желает знать никого, кроме себя. Само выражение «не желает знать никого, кроме себя» представляется мне чрезвычайно метким и интересным, но рассматривать его в более широком смысле, чем следствие, — при любых условиях значит приписывать ему больше, чем оно заслуживает. Не желать знать никого, кроме себя, — всегда следствие, но никак не причина. Дело в том (я писал об этом и в записках), что современному обществу необходимы главным образом абстрактные человеческие отношения, и поэтому даже люди, которые, подобно мне, лишились лица, могут беспрепятственно получать жалованье. В естественных условиях мы находим конкретные человеческие отношения. Окружающие воспринимаются как отбросы, самое большее, на что они способны, — влачить жалкое существование лишь в книгах и в одиноких островках, имеющих семьи. Сколько бы телевизионные спектакли на се-

мейные темы ни пели приторных дифирамбов семье, мир вне семьи, в котором одни лишь враги и распутники, именно этот мир определяет цену того или иного человека, устанавливает ему жалованье, гарантирует его жизненные права. Каждого чужого сопровождает запах яда и смерти, и люди в конце концов начинают страдать чужефобией. Одиночество, конечно, тоже страшно, но еще страшнее быть преданным чужой маске. Мы не хотим играть роль выброшенных из современности болванов, которые подобострастно цепляются за чужие химеры. Бесконечное, монотонное повторение дней кажется полем боя, превратившимся в повседневность. Люди целиком посвящают себя тому, чтобы опустить на лицо железную штору, запереть ее на замок и не дать чужому проникнуть внутрь. А если все идет хорошо, они мечтают о невыполнимом (точно так же, как моя маска) — о том, чтобы убежать от своего лица, хотят даже стать прозрачными. Нет такого чужого человека, о котором можно было сказать, что его узнаешь, если захочешь. В этом смысле ты, убежденная, что словами «не желаю знать никого, кроме себя» можно пришить другого человека, подвержена тяжелому недугу нежелания знать никого, кроме себя, согласна?

Теперь уж, конечно, нечего вдаваться в подобные мелочи. Существенны не рассуждения, не оправдания, а факты. Два твоих замечания поразили меня в самое сердце, смертельно ранили. Первое — это, конечно, жестокое признание, что, разоблачив истинную сущность маски, ты продолжала делать вид, будто мне удалось обмануть тебя. И второе — беспощадная критика за то, что, нагромождая одно оправдание на другое — у меня, мол, алиби, у меня анонимность, у меня цель в чистом виде, я просто ломаю запреты, — на самом деле я не подкрепил свои слова ни одним настоящим действием и только и осилил что эти записки, напоминающие змею, ухватившуюся за собственный хвост.



Моя маска, на которую я возлагал надежды, как на стальной щит, разлетелась на куски легче, чем стекло, — здесь уж нечего возразить. Действительно, я чувствую, что маска была не столько маской, сколько чем-то близким новому, настоящему лицу. И если отстаивать мою теорию, что настоящее лицо — несовершенная копия маски, значит, я, затратив огромный труд, создал фальшивую маску.

Возможно, подумал я, неожиданно вспомнив о маске дикарей, которую я недавно видел в газете. А может быть, она-то и представляет собой настоящую маску? Может быть, справедливо назвать ее маской именно потому, что она не имеет ничего общего с настоящим лицом? Огромные, вылезающие из орбит глаза, огромный клыкастый рот, нос, утыканный блестящими стеклышками, и с двух сторон от его основания — завитки, закручивающиеся по всему лицу в водовороты, вокруг которых, точно в стрелах, торчат длинные птичьи перья. Чем больше я смотрел на нее, тем чудовищней, нереальней она казалась. Но по мере того, как я присматривался, точно собираясь надеть ее на себя, я начинал постепенно читать идею этой маски. Видимо, она являла собой выражение иступленной молитвы — стремление превзойти все человеческое и войти в сонм богов. Какая ужасающая сила воображения! Потрясающая конденсация воли, призванная противостоять запретам природы. Может быть, и мне следовало бы остановиться именно на такой маске, если бы я мог ее сделать. Тогда бы я должен был с самого начала расстаться с чувством, будто таюсь от других...

Ничуть не бывало. Я говорил с такой горячностью, что ты имела все основания издеваться над мудреным скальпелем и ножницами неизвестного назначения. Если хорошо быть чудовищем, то, может быть, нет особой нужды в маске и одних пиявок вполне достаточно? И боги стали другими, и люди стали другими. Люди начали с эпохи изменения лица, прошли

через эпоху, когда лицо прикрывали, как это делали арабские женщины, женщины из «Повести о Гэндзи», и пришли к нынешней эпохе открытого лица. Я не собираюсь утверждать, что такое движение — прогресс. Его можно считать победой людей над богами и в то же время рассматривать как покорность им. Потому-то мы и не знаем, что будет завтра. Не исключено, что завтра неожиданно наступит эпоха отказа от настоящего лица. Но сегодня не век богов, а век людей. И в том, что моя маска имитировала настоящее лицо, были свои причины.

Ну хватит. Причин я привел больше чем достаточно. И если искать оправданий, их можно найти сколько угодно. Но сколько бы я их ни выстраивал в ряд, все равно мне не опровергнуть те два факта, на которые ты указала. Тем более что против твоего второго замечания, что моя маска, в конце концов, не смогла ничего сделать и занималась лишь оправданиями, возразить нечего, наоборот, я сам без конца доказываю это. Хватит позорить себя. Если бы я только выставил себя на посмешище, потерпел крах, куда ни шло, но все мои мучения оказались напрасными — вот это более чем грустно и так стыдно, что я не в силах даже оправдываться. Все настолько явно, что можно прийти в отчаяние. Безупречное алиби, безграничная свобода — и все равно никакого результата. К тому же, оставив этот подробный письменный отчет, я собственными руками уничтожил свое алиби, и теперь уж ничего не поделаешь. Не похож ли я на отвратительного импотента, способного лишь на красивые слова о половом влечении...

Да, единственное, о чем стоит еще написать, — это о кинофильме. По-моему, это произошло примерно в начале февраля. В записках я совершенно не касался этого фильма, и не столько потому, что он не имел ко мне никакого отношения, сколько потому, что слишком касался меня... Я невольно избегал говорить о нем, чувствуя, что он сводит на нет всю мою

трудную работу по созданию маски. Но теперь я уже дошел до предела, и суеверия ни к чему. Или, может быть, оттого, что положение изменилось, я теперь воспринимаю его по-другому. Действительно, то, что я увидел, не было простой жестокостью. Фильм был несколько необычным и не имел особого успеха, но название его ты, наверно, помнишь: «Одна сторона любви».

* * *

Застывший пейзаж. На фоне его, спотыкаясь, бредет тоненькая девушка в простеньком, но опрятном платье, ее профиль прозрачен, как у привидения. Она идет по экрану справа налево, поэтому видна только левая половина ее лица. На заднем плане железобетонное здание, и девушка идет, почти касаясь этого здания невидимым зрителю правым плечом. Она как будто стыдится людей, и это очень гармонирует с ее скорбным профилем и еще больше усиливает жалкое впечатление, которое она производит.

На той стороне улицы трое парней хулиганского вида, облокотившись на рельс, ограждающий тротуар от мостовой, поджидают жертву. Один из них, заметив девушку, свистнул. Но девушка на это не реагирует, точно лишена органов, воспринимающих внешние раздражения. Другой из компании, подстрекаемый свистом товарища, поднявшись, приближается к ней. Привычным движением он, сквернословя, грубо хватая сзади девушку за левую руку, пытается притянуть ее к себе. Девушка, будто готовая к этому, останавливается и медленно поворачивается в сторону парня... и открывшаяся правая сторона ее лица оказывается безжалостно искромсанной келоидными рубцами и совершенно обезображенной. (Подробного объяснения не было, но потом в фильме часто повторяется слово «Хиросима», видимо, девушка — жертва облучения.) Парень замирает, не в силах вымолвить ни слова,

а девушка, отвернувшись и снова обретя лицо прекрасного призрака, уходит, будто ничего не случилось...

Потом девушка проходит несколько улиц, отчаянно борясь с собой каждый раз, когда оказывается на открытом месте, ничем не защищенном справа, или на перекрестке, который должна пересечь (я так близко принимал это к сердцу, что буквально вскакивал со своего места), и наконец подходит к баракам, окруженным колючей проволокой.

Странные строения. Будто мы неожиданно вернулись на двадцать лет назад — по внутреннему двору бродят солдаты, одетые в форму старой армии. Одни с отсутствующим видом, будто восстали из могил, отдают приказы и сами их выполняют, другие маршируют, через каждые три шага становятся во фронт и отдают честь. Среди них наибольшее впечатление производит старый солдат, без конца повторяющий рескрипт императора, обращенный к солдатам. Слова стерлись и потеряли смысл — сохранился лишь общий контур и тон.

Это психиатрическая больница для бывших военных. Больные не знают о военном поражении и живут прошлым, оставаясь во времени, остановившемся для них двадцать лет назад. Походка девушки, проходившей мимо солдат, становится до неузнаваемости легкой и спокойной. Она ни с кем не разговаривает, но между ней и больными ощущается взаимное доверие и близость, как между друзьями, хотя сейчас им и очень некогда. А девушка, в то время как санитар за что-то благодарит ее, начинает стирать белье, пристроившись в уголке барака. Эту благотворительную работу она избрала сама и делала ее раз в неделю. Когда девушка поднимает голову, в промежутке между строениями виднеется освещенное солнцем пространство, где дети беззаботно играют в мяч.

Потом сцена меняется. Теперь мы видим девушку у нее дома. Дом ее — маленькая мастерская на окраине, где штам-

пуют из жести игрушки, — прозаический, унылый дом. Но когда зритель видит то справа, то слева раскрасневшееся лицо девушки, с неприятным обликом дома происходит странная перемена и даже стоящие в ряд незамысловатые ручные прессы начинают жалобно стонать. И пока с раздражающей скрупулезностью воспроизводятся эти детали повседневной жизни, возникает тревога за будущее девушки, которое никогда не наступит, за прекрасную половину ее лица, которое никогда не оценят. В то же время ясно, что такое сочувствие раздражает девушку, неприятно ей. Поэтому не будет ничего неожиданного, если в один прекрасный день она в порыве отчаяния обольет кислотой нетронутую половину лица и сделает ее такой же, как обезображенная. Правда, если она и сделает так — все равно это не выход. Но никто не вправе обвинять девушку в том, что ей в голову не пришел какой-то другой выход.

И еще один день. Девушка, повернувшись к брату, неожиданно говорит:

— Война. Что-то она долго не начинается.

Однако в тоне девушки не слышится ни нотки враждебности к другим людям. Она говорит это совсем не потому, что жаждет отомстить тем, кто не искалечен войной. Просто питает наивную надежду, что если начнется война, то сразу же произойдет переоценка ценностей, интересы людей сосредоточатся не столько на лице, сколько на желудке, не столько на внешней форме, сколько на жизни. Брат, казалось, понимает смысл вопроса и бросает в ответ безразличным тоном:

— Уж порядочно... Но на завтра даже погоду точно не могут предсказать.

— Да, если бы так просто было узнать, что случится завтра, то гадалки остались бы без хлеба.

— Конечно. Возьми войну — только после того, как она начнется, узнаешь, что она началась.

— И верно. Если заранее знать, что ушибешься, никто бы не ушибался...

То, что о войне говорилось так, в безразличном тоне, будто от кого-то ждали письма, было горько, создавало невыносимую атмосферу.

Но на улицах нет ничего, что предвещало бы восстановление в правах желудка и жизни. Кинокамера ради девушки мечется по улицам, но единственное, что ей удастся подметить, — это непомерная алчность, безжалостное растрачивание жизни. Бездонное море выхлопных газов... бесчисленные стройки... ревущие дымовые трубы грязных, пропыленных заводов... мчащиеся пожарные автомобили... отчаянная толчея в увеселительных заведениях и на распродажах... непрерывные звонки в полицейском участке... бесконечные вопли телевизионной рекламы.

В конце концов девушка понимает, что больше она не в силах ждать. Что дольше ждать нельзя. Тогда она, никогда ни о чем не просившая, с мольбой обращается к брату. Она просит его поехать с ней куда-нибудь далеко-далеко (хоть раз в жизни). Брат сразу же замечает, что она делает упор на слове «жизнь» больший, чем на слове «раз», но он не чувствует себя вправе и дальше обрекать сестру на одиночество, и он, кивнув, соглашается, ведь любить — значит разделять горе.

И вот через несколько недель брат и сестра уезжают. Погруженная во мрак комната в провинциальной гостинице, обращенная к морю. Сестра, изо всех сил стараясь, чтобы изуродованная сторона лица оставалась в тени и брату была видна лишь прекрасная половина, завязывает волосы лентой, она необычайно оживлена, радостна. Она говорит, что море бесчувственно. Брат отвечает, что это неверно, что море прекрасный рассказчик. Но они расходятся только в этом. В остальном же, даже в самых мелочах, они в полном согласии, точно возлюбленные, каждое слово приобретает для них двойной смысл.

Взяв у брата сигарету, девушка пытается курить. Их возбуждение переходит в приятную усталость, и они ложатся рядом на постели. Через окно, которое они оставили открытым, чтобы можно было увидеть луну, сестра наблюдает, как одна за другой падают золотые капли, заливающие границу между морем и небом. Она обращается к брату, но тот не отвечает.

Наблюдая, как поднимается луна, похожая на спину золотого кита, девушка все ждет чего-то, но тут же, вспомнив, что они поехали к морю, чтобы прекратить ожидание, кладет руку на плечо брата, трясет его, стараясь разбудить, и шепчет:

— Ты меня не поцелуешь?

Брат слишком растерян, чтобы и дальше притворяться спящим. Приоткрыв глаза и глядя на прозрачный, точно фарфор, профиль сестры, он не в силах обругать ее, но и не может, конечно, выполнить такую просьбу. Однако сестра не сдаётся.

— Завтра ведь может быть война... — умоляя, задышавшись, заклиная, шепчет она, все приближая и приближая губы к его губам.

Так отчаянное разрушение запрета порождает безумное неполное сгорание между двумя молотками, бьющими не в такт — между злостью и желанием. Любовь и отвращение... нежность и желание убить... согласие и отказ... ласки и побои — все ускоряющееся падение, играющее непримиримыми страстями, падение, отрезающее путь назад... Если назвать это бесстыдством, то разве хоть кто-нибудь из их поколения может избежать того, чтобы не быть втянутым в подобное бесстыдство?

Небо посветлело, приближается рассвет. Девушка, прислушиваясь к дыханию спящего брата, тихонько поднимается и начинает одеваться. У изголовья брата она кладет заранее приготовленные два конверта и крадучись выходит из комнаты. Как только дверь за ней затворилась, брат, который, казалось, спал, открывает глаза. С полуоткрытых губ срывается

глухой стон, по щекам текут слезы. Он встает с постели, подходит к окну и, со скрипом сжав зубы, осторожно смотрит, чуть высунувшись над подоконником. Он видит, как девушка, точно белая птица, стремительно бежит к мрачно вздымающемуся морю. Волна раз за разом отбрасывает белую птицу, но, наконец поборов ее, девушка, то исчезая, то показываясь вновь, плывет в открытое море.

Брату становится невозможно стоять на коленях на жестком полу, вдали всплывает линия красных фонарей, и это на миг отвлекает его внимание, а когда он снова смотрит туда, где раньше белой точкой плыла сестра, уже ничего не видно.

* * *

Все твердо убеждены, что сказка о гадком утенке обязательно заканчивается лебединой песней. Вот тут-то и возникает оппортунизм. Хорошо самому испытать то, что испытывает лебедь. Какую бы песню ни пели тебе другие — это смерть, полное поражение. Мне это отвратительно. Увольте. Если я умру, никто не подумает обо мне, как о лебеде, и, значит, я могу рассчитывать на победу... Когда я посмотрел этот фильм, он вызвал лишь раздражение, но сейчас другое дело. Я не могу не завидовать той девушке.

Она по крайней мере действовала. С каким огромным мужеством разрушила она, казалось бы, непреодолимую запретную ограду. Ну а то, что она умерла, — так ведь это же по своей собственной воле, и насколько это лучше, чем бездействовать. Вот почему эта девушка заставила совершенно постороннего человека испытать горькое чувство раскаяния, ощутить себя чуть ли не соучастником преступления.

Ладно, я тоже дам маске еще один шанс, к счастью, она еще существует. Мне все безразлично, поэтому нужен такой поступок, который бы разрушил нынешнее положение и спас

мои попытки от небытия. Одежда, в которую я переодевался, и духовой пистолет лежали на своих местах. Стоило мне размотать бинты и надеть маску, как тут же в моем психологическом спектре произошли изменения. Например, ощущение настоящего лица, что мне уже сорок лет, превратилось в ощущение, что мне еще только сорок лет. Посмотрев в зеркало, я испытал радость, будто встретился со старым другом. С мушиным жужжанием маска стала снова заряжаться характерными для нее опьянением и самоуверенностью, о которых я совсем забыл. Не нужно делать поспешных выводов. Маска не была права, но и не ошибалась. Нельзя найти ответа, который бы подходил ко всем случаям жизни.

Точно скованный, я вышел на ночную улицу. Было так поздно, что уже исчезли прохожие, небо, взлохмаченное, точно больная собака, нависло над самыми крышами. Сырой ветер, от которого запершило в горле, предвещал дождь. В ближайшей телефонной будке я стал перелистывать телефонную книгу, пытаюсь найти, где бы ты могла укрываться. Дом твоих родителей, дом твоей школьной подруги, дом твоей двоюродной сестры.

Но все три попытки окончились ничем. По туманным ответам — хочешь верь, хочешь не верь — трудно было понять правду. Я в какой-то степени был готов к этому и не особенно пал духом. Может быть, поехать домой? До последней электрички есть еще немного времени, а если не успею, можно взять такси.

Постепенно во мне нарастает злоба. Я понимаю твое возмущение, но это ведь, так сказать, вопрос самолюбия и гордости — клоун заставил тебя сойтись с ним. Я не собираюсь относиться к твоей гордости как к ненужному аппендиксу, но я могу лишь пожалть плечами — стоит ли она того, чтобы из-за нее вручать ноту о разрыве отношений. Хочу спросить: какую сторону лица сестры целовал брат в этом фильме? Вряд



ли ты сможешь ответить. Ведь ты не помогла мне, как помог брат своей сестре. Хотя ты и признавала необходимость маски, тебе она была послушна, не способна нарушить запрет.. Ну а теперь берегись. Теперь тебя преследует маска — дикий зверь. Поскольку разоблачена истинная ее сущность, она превратилась в маску уже не слабую, когда она была ослеплена ревностью, а в маску, способную преступить любой закон. Ты сама вырыла себе могилу. Никогда еще написанное мной не приносило подобных плодов.

Неожиданно я услышал острое постукивание женских каблуков. Остается одна маска — я исчезаю. В мгновение, не раздумывая ни минуты, я спрятался за углом, спустил предохранитель пистолета и затаил дыхание. Для чего я все это делал? Может быть, это просто спектакль, чтобы испытать себя, а может быть, я и в самом деле что-то замыслил? Я не могу ответить себе на этот вопрос до того, как женщина окажется на расстоянии выстрела, до самого последнего, решающего мгновения.

Но давай подумаем. Сделав это, смогу ли я превратиться в лебедя? Смогу ли заставить людей почувствовать себя соучастниками преступления? А нужно ли это? Ясно одно — я могу лишь стать распутником, брошенным на произвол судьбы. Мое преступление будет смехотворным, и поэтому меня оправдают — вот и все. Между кинофильмом и действительностью существует, видимо, разница. Все равно, ничего не поделаешь — чтобы победить настоящее лицо, другого пути нет. Я знаю, конечно, вина не одной маски, дело скорее во мне самом... но то, что заключено во мне, заключено не только во мне одном — это нечто общее, что есть во всех других людях, и поэтому я не должен всю эту проблему взвалить лишь на свои плечи... обвинить меня одного не удастся... я ненавижу людей... я не намерен признавать необходимость оправдываться перед кем бы то ни было!

Шаги все ближе...

Больше никогда писать не смогу. Писать следует, видимо, только тогда, когда ничего не случается.



Список иллюстраций

С. 6. Портрет Кобо Абэ.

С. 21, 39, 93, 148-149, 181, 210-211, 218-219, 224-225, 237, 240-241, 245, 248-249, 264-265, 275, 282-283, 289, 293, 301, 305, 309, 313, 325, 327, 333, 341, 349, 381, 405, 425, 429, 453, 457, 491, 511, 517, 532-533.

Адамс Ансель (1902—1984). Фотографии. 1943.

С. 32-33, 70-71, 203. ЭНИАК. Фотографии.
1940-е годы.

С. 51, 253, 273, 321, 385, 391, 419, 431, 439, 469.

Тоёхара Куничика (1835—1900).

С. 61, 161, 173, 193, 221. Иллюстрации к изданию
«Четвертого ледникового периода».
Токио, 1974.

С. 81, 363, 409, 447, 501, 529, 543. **Утагава Тоёкуни**
(1786—1865).

С. 97. ЭДВАК. Фотография. 1940-е годы.

С. 106-107, 228-229, 233, 260-261. «Лица Японии».
The National Geographic Magazine. 1945, № 6.

С. 129, 257, 397, 401, 475. «Маски современной Японии».
The National Geographic Magazine. 1945, № 5.

С. 133, 138-139. *Лаборатории*. Фотографии.
Середина XX века.

С. 187. Неизвестный японский художник. XIX век.

С. 269. *Студия Кобо Абэ*. Фотография.

С. 487, 495. **Утагава Куниаки** (1835—1888).

Белая тетрадь	364
Серая тетрадь	421
Список иллюстраций	546

Содержание

Об авторе	7
-----------------	---

Четвертый ледниковый период. Перевод А. Стругацкого

Прелюдия	9
Часть первая.	
Программная карта номер один	11
Часть вторая.	
Программная карта номер два	126
Интерлюдия	214
Часть третья.	
Облик грядущего	243

Чужое лицо. Перевод В. Гривнина

Черная тетрадь	277
----------------------	-----

Кобо Абэ
Четвертый ледниковый период
Чужое лицо

Подписано в печать 08.08.2008

Гарнитура Arno Pro

Бумага Alterna Design

Издательский дом «Дейч»

www.deichbooks.com

Отпечатано в типографии

Print&Art Faksimile, Austria

Тираж 99 экз.

Переплетные работы выполнены

г-ми Алоизом Гутманом

и Манфредом Яндлом

Издательский дом «Дейч» благодарит за сотрудничество

Всероссийскую государственную библиотеку

иностранной литературы имени М. И. Рудомино,

Российскую государственную библиотеку по искусству

ББК 84 (5Япо)-445

УДК 821.521

А 17

ISBN 978-5-98691-044-4

